О. де БАЛЬЗАК

Шагреневая кожа



Шагреневая кожа
Оноре де Бальзак

Аннотация
Оноре де Бальзак. Шагреневая кожа
I. ТАЛИСМАН
II. ЖЕНЩИНА БЕЗ СЕРДЦА
III. АГОНИЯ
ЭПИЛОГ

Аннотация

Можно ли выиграть, если заключаешь сделку с дьяволом? Этот вопрос никогда не оставлял равнодушными как писателей, так и читателей. Если ты молод, влюблен и честолюбив, но знаешь, что все твои мечты обречены из-за отсутствия денег, то можно ли устоять перед искушением расплатиться сроком собственной жизни за исполнение желаний?

Оноре де Бальзак
Шагреневая кожа

Господину Савари[1], члену Академии наук

[1] Примечания: 1
Савари Феликс — французский астроном и математик, друг Бальзака.

I. ТАЛИСМАН

В конце октября 1829 года один молодой человек вошел в Пале-Руаяль, как раз к тому времени, когда открываются игорные дома, согласно закону, охраняющему права страсти, подлежащей обложению по самой своей сущности. Не колеблясь, он поднялся по лестнице притона, на котором значился номер «36».

— Не угодно ли вам отдать шляпу? — сурово крикнул ему мертвенно бледный старикашка, который примостился где-то в тени за барьером, а тут вдруг поднялся и выставил напоказ мерзкую свою физиономию.

Когда вы входите в игорный дом, то закон прежде всего отнимает у вас шляпу. Быть может, это своего рода евангельская притча, предупреждение, ниспосланное небом, или, скорее, особый вид адского договора, требующего от нас некоего залога? Быть может, хотят заставить вас относиться с почтением к тем, кто вас обыграет? Быть может, полиция, проникающая во все общественные клоаки, желает узнать фамилию вашего шляпника или же вашу собственную,

если вы написали ее на подкладке шляпы? А может быть, наконец, намереваются снять мерку с вашего черепа, чтобы потом составить поучительные статистические таблицы умственных способностей игроков? На этот счет администрация хранит полное молчание. Но имейте в виду, что, как только вы делаете первый шаг по направлению к зеленому полю, шляпа вам уже не принадлежит, точно так же, как и сами вы себе не принадлежите: вы во власти игры и вы сами, и ваше богатство, и ваша шляпа, и трость, и плащ. А при выходе игра возвращает вам то, что вы сдали на хранение, — то есть убийственной, овеществленной эпиграммой докажет вам, что кое-что она вам все-таки оставляет. Впрочем, если у вас новый головной убор, тогда урок, смысл которого в том, что игроку следует завести особый костюм, станет вам в копеечку.

Недоумение, изобразившееся на лице молодого человека при получении номерка в обмен на шляпу, поля которой, по счастью, были слегка потерты, указывало на его неопытность; старикашка, вероятно с юных лет погрязший в кипучих наслаждениях азарта, окинул его тусклым, безучастным взглядом, в котором философ различил бы убожество больницы, скитания банкротов,

вереницу утопленников, бессрочную каторгу, ссылку на Гуасакоалько[2].

Испитое и бескровное его лицо, свидетельствовавшее о том, что питается он теперь исключительно желатинными супами Дарсе[3], являло собой бледный образ страсти, упрощенной до предела. Глубокие морщины говорили о постоянных мучениях; должно быть, весь свой скудный заработок он проигрывал в день получки. Подобно тем клячам, на которых уже не действуют удары бича, он не вздрогнул бы ни при каких обстоятельствах, он оставался бесчувственным к глухим стонам проигравшихся, к их немым проклятиям, к их отупелым взглядам. То было воплощение игры. Если бы молодой человек пригляделся к этому унылому церберу, быть может, он подумал бы: «Ничего, кроме колоды карт, нет в его сердце! „ Но он не послушался этого олицетворенного совета, поставленного здесь, разумеется, самим провидением, подобно тому, как оно же сообщает нечто отвратительное прихожей лю-

[2] Примечания: 2

Гуасакоалько — река в Мексике; на берегу ее во время Реставрации (1814-1830) находилась колония французских ссыльных.

[3] Примечания: 3

Дарсе Жан (1725-1801) — французский химик, разработавший способ извлечения из костей желатина для использования его как дешевого продукта питания в благотворительных учреждениях.

бого притона. Он решительными шагами вошел в залу, где звон золота околдовывал и ослеплял душу, объятую алчностью. Вероятно, молодого человека толкала сюда самая логичная из всех красноречивых фраз Жан-Жака Руссо, печальный смысл которой, думается, таков: «Да, я допускаю, что человек может пойти играть, но лишь тогда, когда между собою и смертью он видит лишь свое последнее экю“.

По вечерам поэзия игорных домов пошловата, но ей обеспечен успех, так же как и кровавой драме. Залы полнятся зрителями и игроками, неимущими старичками, что приплелись сюда погреться, лицами, взволнованными оргией, которая началась с вина и вот-вот закончится в Сене. Страсть здесь представлена в изобилии, но все же чрезмерное количество актеров мешает вам смотреть демону игры прямо в лицо. По вечерам это настоящий концерт, причем орет вся труппа и каждый инструмент оркестра выводит свою фразу. Вы увидите здесь множество почтенных людей, которые пришли сюда за развлечениями и оплачивают их так же, как одни платят за интересный спектакль или за лакомство, а другие, купив по дешевке где-нибудь в мансарде продажные ласки, расплачиваются

за них потом целых три месяца жгучими сожалениями. Но поймете ли вы, до какой степени одержим азартом человек, нетерпеливо ожидающий открытия притона? Между игроком вечерним и утренним такая же разница, как между беспечным супругом и любовником, томящимся под окном своей красавицы.

Только утром вы встретите в игорном доме трепетную страсть и нужду во всей ее страшной наготе. Вот когда вы можете полюбоваться на настоящего игрока, на игрока, который не ел, не спал, не жил, не думал, — так жестоко истерзан он бичом неудач, уносивших постоянно удваиваемые его ставки, так он исстрадался, измученный зудом нетерпения: когда же, наконец, выпадет «трант э карант»[4]? В этот проклятый час вы заметите глаза, спокойствие которых пугает, заметите лица, которые вас ужасают, взгляды, которые как будто приподнимают карты и пожирают их.

Итак, игорные дома прекрасны только при начале игры. В Испании есть бой быков. В Риме были гладиаторы, а Париж гордится своим Пале-Руаялем, где раззадоривающая рулетка дает вам насладиться захватывающей картиной, в

[4] Примечания: 4

«Трант э карант» (тридцать и сорок) — число очков в одноименной карточной игре.

которой кровь течет потоками и не грозит, однако, замочить ноги зрителей, сидящих а партере. Постарайтесь бросить беглый взгляд на эту арену, войдите!.. Что за убожество! На стенах, оклеенных обоями, засаленными в рост человека, нет ничего, что могло бы освежить душу. Нет даже гвоздя, который облегчил бы самоубийство. Паркет обшаркан, запачкан. Середину зала занимает овальный стол. Он покрыт сукном, истертым золотыми монетами, а вокруг тесно стоят стулья — самые простые стулья с плетеными соломенными сиденьями, и это ясно изобличает странное безразличие к роскоши у людей, которые приходят сюда на свою погибель, ради богатства и роскоши. Подобные противоречия обнаруживаются в человеке всякий раз, когда в душе с силой борются страсти.

Влюбленный хочет нарядить свою возлюбленную в шелка, облечь ее в мягкие ткани Востока, а чаще всего обладает ею на убогой постели. Честолюбец, мечтая о высшей власти, пресмыкается в грязи раболепства. Торговец дышит сырым, нездоровым воздухом в своей лавчонке, чтобы воздвигнуть обширный особняк, откуда его сын, наследник скороспелого богатства, будет изгнан, проиграв тяжбу против родного брата. Да, нако-

нец, существует ли что-нибудь менее приятное, чем дом наслаждений? Страшное дело! Вечно борясь с самим собой, теряя надежды перед лицом нагрянувших бед и спасаясь от бед надеждами на будущее, человек во всех своих поступках проявляет свойственные ему непоследовательность и слабость. Здесь, на земле, ничто не осуществляется полностью, кроме несчастья.

Когда молодой человек вошел в залу, там было уже несколько игроков. Три плешивых старика, развалясь, сидели вокруг зеленого поля; их лица, похожие на гипсовые маски, бесстрастные, как у дипломатов, изобличали души пресыщенные, сердца, давно уже разучившиеся трепетать даже в том случае, если ставится на карту неприкосновенное имение жены. Молодой черноволосый итальянец, с оливковым цветом лица, спокойно облокотился на край стола и, казалось, прислушивался к тем тайным предчувствиям, которые кричат игроку роковые слова: «Да! — Нет!»От этого южного лица веяло золотом и огнем.

Семь или восемь зрителей стояли, выстроившись в ряд, как на галерке, и ожидали представления, которое им сулила прихоть судьбы, лица актеров, передвижение денег и лопаточек. Эти праздные люди были молчаливы, неподвижны,

внимательны, как толпа, собравшаяся на Гревской площади, когда палач отрубает кому-нибудь голову. Высокий худой господин в потертом фраке держал в одной руке записную книжку, а в другой — булавку, намереваясь отмечать, сколько раз выпадет красное и черное. То был один из современных Танталов, живущих в стороне от наслаждений своего века, один из скупцов, играющих на воображаемую ставку, нечто вроде рассудительного сумасшедшего, который в дни бедствий тешит себя несбыточной мечтою, который обращается с пороком и опасностью так же, как молодые священники — с причастием, когда служат раннюю обедню. Напротив игрока поместились пройдохи, изучившие все шансы игры, похожие на бывалых каторжников, которых не испугаешь галерами, явившиеся сюда, чтобы рискнуть тремя ставками и в случае выигрыша, составлявшего единственную статью их дохода, сейчас же уйти. Два старых лакея равнодушно ходили взад и вперед, скрестив руки, и по временам поглядывали из окон в сад, точно для того, чтобы вместо вывески показать прохожим плоские свои лица. Кассир и банкомет только что бросили на понтеров тусклый, убийственный взгляд и сдавленным голосом произнесли: «Ставьте! «,

когда молодой человек отворил дверь. Молчание стало словно еще глубже, головы с любопытством повернулись к новому посетителю. Неслыханное дело! При появлении незнакомца отупевшие старики, окаменелые лакеи, зрители, даже фанатик-итальянец — решительно все испытали какое-то ужасное чувство. Надо быть очень несчастным, чтобы возбудить жалость, очень слабым, чтобы вызвать симпатию, очень мрачным с виду, чтобы дрогнули сердца в этой зале, где скорбь всегда молчалива, где горе весело и отчаяние благопристойно. Так вот именно все эти свойства и породили то новое ощущение, которое расшевелило оледеневшие души, когда вошел молодой человек. Но разве палачи не роняли порою слез на белокурые девичьи головы, которые они должны были отсечь по сигналу, данному Революцией?

С первого же взгляда игроки прочли на лице новичка какую-то страшную тайну; в его тонких чертах сквозила грустная мысль, выражение юного лица свидетельствовало о тщетных усилиях, о тысяче обманутых надежд! Мрачная бесстрастность самоубийцы легла на его чело матовой и болезненной бледностью, в углах рта легкими складками обрисовалась горькая

улыбка, и все лицо выражало такую покорность, что на него было больно смотреть. Некая скрытая гениальность сверкала в глубине этих глаз, затуманенных, быть может, усталостью от наслаждений. Не разгул ли отметил нечистым своим клеймом это благородное лицо, прежде чистое и сияющее, а теперь уже помятое? Доктора, вероятно, приписали бы этот лихорадочный румянец и темные круги под глазами пороку сердца или грудной болезни, тогда как поэты пожелали бы увидеть в этих знаках приметы самозабвенного служения науке, следы бессонных ночей, проведенных при свете рабочей лампы. Но страсть более смертоносная, чем болезнь, и болезнь более безжалостная, чем умственный труд и гениальность, искажали черты этого молодого лица, сокращали эти подвижные мускулы, утомляли сердце, которого едва лишь коснулись оргии, труд и болезнь. Когда на каторге появляется знаменитый преступник, заключенные встречают его почтительно, — так и в этом притоне демоны в образе человеческом, испытанные в страданиях, приветствовали неслыханную скорбь, глубокую рану которой измерял их взор; по величию молчаливой иронии незнакомца, по нищенской изысканности его одежды они признали в нем

одного из своих владык.

На молодом человеке был отличный фрак, но галстук слишком вплотную прилегал к жилету, так что едва ли под ним имелось белье. Его руки, изящные, как у женщины, были сомнительной чистоты, — ведь он уже два дня ходил без перчаток. Если банкомет и даже лакеи вздрогнули, так это оттого, что очарование невинности еще цвело в хрупком и стройном его теле, в волосах, белокурых и редких, вьющихся от природы. Судя по чертам лица, ему было лет двадцать пять, а порочность его казалась случайной. Свежесть юности еще сопротивлялась опустошениям неутоленного сладострастия. Во всем его существе боролись мрак и свет, небытие и жизнь, и, может быть, именно поэтому он производил впечатление чего-то обаятельного и вместе с тем ужасного. Молодой человек появился здесь, словно ангел, лишенный сияния, сбившийся с пути. И все эти заслуженные наставники в порочных и позорных страстях почувствовали к нему сострадание — подобно беззубой старухе, проникшейся жалостью к красавице девушке, которая вступила на путь разврата, — и готовы были крикнуть новичку: «Уйдите отсюда!»А он прошел прямо к столу, остановился, не задумы-

ваясь, бросил на сукно золотую монету, и она покатилась на черное: потом, как все сильные люди, презирающие скряжническую нерешительность, он взглянул на банкомета вызывающе и вместе с тем спокойно. Ход этот возбудил такой интерес, что старики ставки не сделали; однако итальянец с фанатизмом страсти ухватился за увлекавшую его мысль и поставил все свое золото против ставки незнакомца. Кассир забыл произнести обычные фразы, которые с течением времени превратились у него в хриплый и невнятный крик: «Ставьте!»— «Ставка принята!»— «Больше не принимаю!»Банкомет снял карты, и, казалось, даже он, автомат, безучастный к проигрышу и выигрышу, устроитель этих мрачных увеселений, желал новичку успеха. Зрители все как один готовы были видеть развязку драмы в судьбе этой золотой монеты, последнюю сцену благородной жизни; их глаза, прикованные к роковым листкам картона, горели, но, несмотря на все внимание, с которым они следили то за молодым человеком, то за картами, они не могли заметить и признака волнения на его холодном и покорном лице.

— Красная; черная, пасс, — официальным тоном объявил банкомет.

Что-то вроде глухого хрипа вырвалось из груди итальянца, когда он увидел, как один за другим падают на сукно сложенные банковые билеты, которые ему бросал кассир. А молодой человек только тогда постиг свою гибель, когда лопаточка протянулась за его последним наполеондором. Слоновая кость тихо стукнулась о монету, и золотой с быстротою стрелы докатился до кучки золота, лежавшего перед кассой. Незнакомец медленно опустил веки, губы его побелели, но он тут же открыл глаза снова; точно кораллы заалели его губы, он стал похож на англичанина, для которого в жизни не существует тайн, и исчез, не пожелав вымаливать себе сочувствие тем душераздирающим взглядом, который часто бросают на зрителей игроки, впавшие в отчаяние. Сколько событий произошло на протяжении одной секунды, и как иногда много значит один удар игральных костей!

— Это был, конечно, последний его заряд, — сказал, улыбнувшись, крупье после минутного молчания и, держа золотую монету двумя пальцами, показал ее присутствующим, — Шальная голова! Он, чего доброго, бросится в реку, — отозвался один из завсегдатаев, оглядев игроков, которые все были знакомы между собой.

— Да уж! — воскликнул лакей, беря щепотку табаку.

— Вот нам бы последовать примеру этого господина! — сказал старик своим товарищам, показывая на итальянца.

Все оглянулись на счастливого игрока, который дрожащими руками пересчитывал банковые билеты.

— Какой-то голос, — сказал он, — шептал мне на ухо: «Расчетливая игра одержит верх над отчаянием молодого человека».

— Разве это игрок? — вставил кассир. — Игрок разделил бы свои деньги на три ставки, чтобы увеличить шансы.

Проигравшийся незнакомец, уходя, позабыл о шляпе, но старый сторожевой пес, заметивший жалкое ее состояние, молча подал ему это отрепье; молодой человек машинально возвратил номерок и спустился по лестнице, насвистывая «Di tanti palpiti» («Что за трепет» (итал.) — слова арии из оперы Россини к «Танкред») так тихо, что сам едва мог расслышать эту чудесную мелодию.

Вскоре он очутился под аркадами Пале-Руаяля, прошел до улицы Сент-Оноре и, свернув в сад Тюильри, нерешительным шагом пересек его. Он шел точно в пустыне; его толкали встреч-

ные, но он их не видел; сквозь уличный шум он слышал один только голос — голос смерти; он оцепенел, погрузившись в раздумье, похожее на то, в какое впадают преступники, когда их везут от Дворца правосудия на Гревскую площадь, к эшафоту, красному от крови, что лилась на него с 1793 года.

Есть что-то великое и ужасное в самоубийстве. Для большинства людей падение не страшно, как для детей, которые падают с такой малой высоты, что не ушибаются, но когда разбился великий человек, то это значит, что он упал с большой высоты, что он поднялся до небес и узрел некий недоступный рай.

Беспощадными должны быть те ураганы, что заставляют просить душевного покоя у пистолетного дула. Сколько молодых талантов, загнанных в мансарду, затерянных среди миллиона живых существ, чахнет и гибнет перед лицом скучающей, уставшей от золота толпы, потому что нет у них друга, нет близ них женщины-утешительницы! Стоит только над этим призадуматься — и самоубийство предстанет перед нами во всем своем гигантском значении. Один бог знает, сколько замыслов, сколько недописанных поэтических произведений, сколько отчаяния

и сдавленных криков, бесплодных попыток и недоношенных шедевров теснится между самовольною смертью и животворной надеждой, когда-то призвавшей молодого человека в Париж! Всякое самоубийство-это возвышенная поэма меланхолии. Всплывет ли в океане литературы книга, которая по своей волнующей силе могла бы соперничать с такою газетной заметкой:

«Вчера, в четыре часа дня, молодая женщина бросилась в Сену с моста Искусств»?

Перед этим парижским лаконизмом все бледнеет — драмы, романы, даже старинное заглавие: «Плач славного короля Карнаванского, заточенного в темницу своими детьми», — единственный фрагмент затерянной книги, над которым плакал Стерн, сам бросивший жену и детей…

Незнакомца осаждали тысячи подобных мыслей, обрывками проносясь в его голове, подобно тому, как разорванные знамена развеваются во время битвы. На краткий миг он сбрасывал с себя бремя дум и воспоминаний, останавливаясь перед цветами, головки которых слабо колыхал среди зелени ветер; затем, ощутив в себе трепет жизни, все еще боровшейся с тягостною мыслью о самоубийстве, он поднимал глаза к небу, но нависшие серые тучи, тоскливые завывания

ветра и промозглая осенняя сырость внушали ему желание умереть. Он подошел к Королевскому мосту, думая о последних прихотях своих предшественников. Он улыбнулся, вспомнив, что лорд Каслриф, прежде чем перерезать себе горло, удовлетворил низменнейшую из наших потребностей и что академик Оже, идя на смерть, стал искать табакерку, чтобы взять понюшку. Он пытался разобраться в этих странностях, вопрошал сам себя, как вдруг, прижавшись к парапету моста, чтобы дать дорогу рыночному носильщику, который все же запачкал рукав его фрака чем-то белым, он сам себя поймал на том, что тщательно стряхивает пыль. Дойдя до середины моста, он мрачно посмотрел на воду.

— Не такая погода, чтобы топиться, — с усмешкой сказала ему одетая в лохмотья старуха. — Сена грязная, холодная!..

Он ответил ей простодушной улыбкой, выражавшей всю безумную его решимость, но внезапно вздрогнул, увидав вдали, на Тюильрийской пристани, барак с вывеской, на которой огромными буквами было написано: СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ. Перед мысленным его взором вдруг предстал г-н Деше во всеоружии своей филантропии, приводя в движение добродетельные

весла, коими разбивают головы утопленникам, если они, на свою беду, покажутся из воды; он видел, как г-н Деше собирал вокруг себя зевак; выискивал доктора, готовил окуриванье; он читал соболезнования, составленные журналистами в промежутках между веселой пирушкой и встречей с улыбчивой танцовщицей; он слышал, как звенят экю, отсчитываемые префектом полиции лодочникам в награду за его труп. Мертвый, он стоит пятьдесят франков, но живой — он всего лишь талантливый человек, у которого нет ни покровителей, ни друзей, ни соломенного тюфяка, ни навеса, чтобы укрыться от дождя, — настоящий социальный нуль, бесполезный государству, которое, впрочем, и не заботилось о нем нисколько. Смерть среди бела дня показалась ему отвратительной, он решил умереть ночью, чтобы оставить обществу, презревшему величие его души, неопознанный труп. И вот с видом беспечного гуляки, которому нужно убить время, он пошел дальше по направлению к набережной Вольтера. Когда он спустился по ступенькам, которыми оканчивается мост, на углу набережной его внимание привлекли старые книги, разложенные на парапете, и он чуть было не приценился к ним. Но тут же посмеялся над

собой, философически засунул руки в жилетные карманы и снова двинулся беззаботной своей походкой, в которой чувствовалось холодное презрение, как вдруг с изумлением услышал поистине фантастическое звяканье монет у себя в кармане. Улыбка надежды озарила его лицо, Скользнув по губам, она облетела все его черты, его лоб, зажгла радостью глаза и потемневшие щеки. Этот проблеск счастья был похож на огоньки, которые пробегают по остаткам сгоревшей бумаги; но его лицо постигла судьба черного пепла — оно опять стало печальным, как только он, быстро вытащив руку из кармана, увидел три монеты по два су.

— Добрый господин, la carita! La carita! Catarina! (Подайте милостыню!

Ради святой Екатерины! (итал.)) Хоть одно су на хлеб!

Мальчишка-трубочист с черным одутловатым лицом, весь в саже, одетый в лохмотья, протянул руку к этому человеку, чтобы выпросить у него последний грош.

Стоявший в двух шагах от маленького савойяра[5] старый нищий, робкий, болезненный,

[5] Примечания: 5

Савояр (савоец) — уроженец Савойи, департамента в Южной Франции.

исстрадавшийся, в жалком тряпье, сказал грубым и глухим голосом:

— Сударь, подайте сколько можете, буду за вас бога молить…

Но когда молодой человек взглянул на старика, тот замолчал и больше уже не просил, — быть может, на мертвенном этом лице он заметил признаки нужды более острой, чем его собственная.

— La carita! La carita!

Незнакомец бросил мелочь мальчишке и старику и сошел с тротуара набережной, чтобы продолжать путь вдоль домов: он больше не мог выносить душераздирающий вид Сены.

— Дай вам бог здоровья, — сказали оба нищих. Подходя к магазину эстампов, этот полумертвец увидел, как из роскошного экипажа выходит молодая женщина. Он залюбовался очаровательной особой, беленькое личико которой красиво окаймлял атлас нарядной шляпы. Его пленил стройный ее стан, грациозные движения. Спускаясь с подножки, она слегка приподняла платье, и видна была ее нога, тонкие контуры которой отлично обрисовывал белый, туго натянутый чулок. Молодая женщина вошла в магазин и занялась покупкой альбомов, коллекций литографий; она заплатила несколько золотых,

они блеснули и звякнули на конторке. Молодой человек, прикинувшись, что рассматривает выставленные у входа гравюры, устремил на прекрасную незнакомку самый пронизывающий взгляд, какой только способен бросить мужчина, и ответом ему был тог беззаботный взор, которым случайно окидывают прохожих. С его стороны то было прощание с любовью, с женщиной! Но этот последний, страстный призыв не был понят, не взволновал сердца легкомысленной женщины, не заставил ее ни покраснеть, ни опустить глаза. Что он для нее значил? Еще один восхищенный взгляд, еще одно возбужденное ею желание, и вечером она самодовольно скажет: «Сегодня я была премиленькой».

Молодой человек отошел к другому окну и не обернулся, когда незнакомка садилась в экипаж. Лошади тронули, и этот последний образ роскоши и изящества померк, как должна была померкнуть и его жизнь. Он пошел вялой походкой вдоль магазинов, без особого интереса рассматривая образцы товаров в витринах. Когда кончились лавки, он стал разглядывать Лувр, Академию, башни Собора богоматери, башни Дворца правосудия, мост Искусств. Все эти сооружения, казалось, принимали унылый вид,

отражая серые тона неба, бледные просветы между туч, которые придавали какой-то гневный облик Парижу, подверженному, подобно хорошенькой женщине, необъяснимо капризным сменам уродства и красоты. Сама природа как будто задумала привести умирающего в состояние скорбного экстаза. Весь во власти тлетворной силы, чье расслабляющее действие находит себе посредника во флюидах, пробегающих по нашим нервам, он чувствовал, что его организм неприметно становится как бы текучим. Муки этой агонии сообщили всему волнообразное движение: людей, здания он видел сквозь туман, где все колыхалось. Ему хотелось избавиться от раздражающего воздействия мира физического, и он направился к лавке древностей, чтобы дать пищу своим чувствам или хотя бы дождаться там ночи, приценяваясь к произведениям искусства. Так, идя на эшафот, преступник старается собраться с духом и, не доверяя своим силам, спрашивает чего-нибудь подкрепляющего; однако сознание близкой смерти на мгновение вернуло молодому человеку самоуверенность герцогини, имеющей двух любовников, и он вошел в лавку редкостей с видом независимым, с той застывшей улыбкой на устах, какая бывает у пьяниц. Да и не был ли

он пьян от жизни или, быть может, от близкой смерти? Вскоре у него опять началось головокружение, и все вдруг показалось ему окрашенным в странные цвета и одушевленным легким движением. Несомненно, это объяснялось не правильным обращением крови, то бурлившей в его жилах, как водопад, то струившейся спокойно и вяло, как тепловатая вода. Он заявил, что желает осмотреть залы и поискать, не найдется ли там каких-нибудь редкостей на его вкус. Молодой рыжеволосый приказчик с полными румяными щеками, в картузе из выдры поручил присмотреть за лавкой старухе крестьянке, своего рода Калибану[6] женского пола, занятой чисткой изразцовой печи, настоящего чуда искусства, порожденного гением Бернара Палисси; затем он сказал незнакомцу небрежным тоном»

— Взгляните, сударь, взгляните! Внизу у нас только вещи заурядные, но потрудитесь подняться наверх, и я покажу вам прекраснейшие мумии из Каира, вазы с инкрустациями, резное черное дерево — подлинный Ренессанс, все только что получено, высшего качества.

Незнакомец находился в таком ужасном состо-

[6] Примечания: 6

Калибан — фантастический персонаж из драмы Шекспира «Буря», получеловек-получудовище, «дух земли».

яния, что болтовня его чичероне, эти глупо-торгашеские фразы были ему противны, как мелочные приставания, которыми умы ограниченные убивают человека гениального; однако, решив нести свой крест до конца, он делах вид, что слушает проводника, и отвечал ему жестами или односложными словами; но постепенно он отвоевал себе право идти молча и безбоязненно отдался последним своим размышлениям, которые были ужасны. Он был поэтом, и душа его случайно нашла себе обильную пищу: ему предстояло еще при жизни увидеть прах двадцати миров.

На первый взгляд залы магазина являли собой беспорядочную картину, в которой теснились все творения, божеские и человеческие. Чучела крокодилов, боа, обезьян улыбались церковным витражам, как бы порывались укусить мраморные бюсты, погнаться за лакированными вещицами, вскарабкаться на люстры. Севрская ваза, на которой г-жа Жакото изобразила Наполеона, находилась рядом со сфинксом, посвященным Сезострису[7].

Начало мира и вчерашние события сочетались здесь причудливо благодушно.

---

[7] Примечания: 7

Сезострис — греческое имя легендарного героя Египта, которого легенда отождествляла с фараоном Рамзесом II (XIII в. до н. э.).

Кухонный вертел лежал на ковчежце для мощей, республиканская сабля — на средневековой пищали. Г-жа Дюбарри с пастели Латура, со звездой на голове, нагая и окруженная облаками, казалось, с жадным любопытством рассматривала индийский чубук и старалась угадать назначение его спиралей, змеившихся по направлению к ней. Орудия смерти — кинжалы, диковинные пистолеты, оружие с секретным затвором — чередовались с предметами житейского обихода: фарфоровыми мисками, саксонскими тарелками, прозрачными китайскими чашками, античными соловками, средневековыми коробочками для сластей. Корабль из слоновой кости на всех парусах плыл по спине неподвижной черепахи.

Пневматическая машина лезла в самый глаз императору Августу, сохранявшему царственное бесстрастие. Несколько портретов французских купеческих старшин и голландских бургомистров, столь же бесчувственных теперь, как и при жизни, возвышались над этим хаосом древности, бросая на него тусклые и холодные взгляды. Все страны, казалось, принесли сюда какой-нибудь обломок своих знаний, образчик своих искусств. То было подобие философской мусорной свалки, где ни в чем не было недостатка — ни в трубке

мира дикаря, ни в зеленой с золотом туфельке из сераля, ни в мавританском ятагане, ни в татарском идоле. Здесь было все, вплоть до солдатского кисета, вплоть до церковной дароносицы, вплоть до плюмажа, некогда украшавшего балдахин какого-то трона. А благодаря множеству причудливых бликов, возникавших из смешения оттенков, из резкого контраста света и тени, эту чудовищную картину оживляли тысячи разнообразнейших световых явлений. Ухо, казалось, слышало прерванные крики, ум улавливал неоконченные драмы, глаз различал не вполне угасшие огни. Вдобавок на все эти предметы набросила свой легкий покров неистребимая пыль, что придавало их углам и разнообразным изгибам необычайно живописный вид.

Эти три залы, где теснились обломки цивилизации и культов, божества, шедевры искусства, памятники былых царств, разгула, здравомыслия и безумия, незнакомец сравнил сперва с многогранным зеркалом, каждая грань которого отображает целый мир. Получив это общее, туманное впечатление, он захотел сосредоточиться на чем-нибудь приятном, но, рассматривая все вокруг, размышляя, мечтая, подпал под власть лихорадки, которую вызвал, быть может, голод,

терзавший ему внутренности. Мысли о судьбе целых народов и отдельных личностей, засвидетельствованной пережившими их трудами человеческих рук, погрузили молодого человека в дремотное оцепенение; желание, которое привело его в эту лавку, исполнилось: он нашел выход из реальной жизни, поднялся по ступенькам в мир идеальный, достиг волшебных дворцов экстаза, где вселенная явилась ему в осколках и отблесках, как некогда перед очами апостола Иоанна на Патмосе пронеслось, пылая, грядущее.

Множество образов, страдальческих, грациозных и страшных, темных и сияющих, отдаленных и близких, встало перед ним толпами, мириадами, поколениями. Окостеневший, таинственный Египет поднялся из песков в виде мумии, обвитой черными пеленами, за ней последовали фараоны, погребавшие целые народы, чтобы построить себе гробницу, и Моисей, и евреи, и пустыня, — он прозревал мир древний и торжественный. Свежая и пленительная мраморная статуя на витой колонне, блистая белизной, говорила ему о сладострастных мифах Греции и Ионии. Ах, кто бы на его месте не улыбнулся, увидев на красном фоне глиняной, тонкой лепки этрусской вазы юную смуглую девушку, пляшущую перед богом При-

апом, которого она радостно приветствовала? А рядом латинская царица нежно ласкала химеру! Всеми причудами императорского Рима веяло здесь, вызывая в воображении ванну, ложе, туалет беспечной, мечтательной Юлии, ожидающей своего Тибулла. Голова Цицерона, обладавшая силой арабских талисманов, приводила на память свободный Рим и раскрывала перед молодым пришельцем страницы Тита Ливия. Он созерцал: «Senatus populusque romanus» (Римский сенат и народ (лат.)); консул, ликторы, тоги, окаймленные пурпуром, борьба на форуме, разгневанный народ — все мелькало перед ним, как туманные видения сна. Наконец, Рим христианский одержал верх над этими образами. Живопись отверзла небеса, и он узрел деву Марию, парящую в золотом облаке среди ангелов, затмевающую свет солнца; она, эта возрожденная Ева, выслушивала жалобы несчастных и кротко им улыбалась. Когда он коснулся мозаики, сложенной из кусочков лавы Везувия и Этны, его душа перенеслась в жаркую и золотистую Италию; он присутствовал на оргиях Борджа, скитался по Абруццским горам, жаждал любви итальянок, проникался страстью к бледным лицам с удлиненными черными глазами. При виде средневекового кин-

жала с узорной рукоятью, которая была изящна, как кружево, и покрыта ржавчиной, похожей на следы крови, он с трепетом угадывал развязку ночного приключения, прерванного холодным клинком мужа. Индия с ее религиями оживала в буддийском идоле, одетом в золото и шелк, с остроконечным головным убором, состоявшим из ромбов и украшенным колокольчиками. Возле этого божка была разостлана циновка, все еще пахнувшая сандалом, красивая, как та баядерка, что некогда возлежала на ней. Китайское чудовище с раскосыми глазами, искривленным ртом и неестественно изогнутым телом волновало душу зрителя фантастическими вымыслами народа, который, устав от красоты, всегда единой, находит несказанное удовольствие в многообразии безобразного. При виде солонки, вышедшей из мастерской Бенвенуто Челлини, он перенесся в прославленные века Ренессанса, когда процветали искусства и распущенность, когда государи развлекались пытками, когда указы, предписывавшие целомудрие простым священникам, исходили от князей церкви, покоившихся в объятиях куртизанок.

Камея привела ему на память победы Алек-

сандра, аркебуза с фитилем — бойни Писарро[8], а навершие шлема — религиозные войны, неистовые, кипучие, жестокие. Потом радостные образы рыцарских времен ключом забили из миланских доспехов с превосходной насечкой и полировкой, а сквозь забрало все еще блестели глаза паладина.

Вокруг был целый океан вещей, измышлений, мод, творений искусства, руин, слагавший для него бесконечную поэму. Формы, краски, мысли — все оживало здесь, но ничего законченного душе не открывалось. Поэт должен был завершить набросок великого живописца, который приготовил огромную палитру и со щедрой небрежностью смешал на ней неисчислимые случайности человеческой жизни. Овладев целым миром, закончив обозрение стран, веков, царств, молодой человек вернулся к индивидуумам. Он стал перевоплощаться в них, овладевал частностями, обособляясь от жизни наций, которая подавляет нас своей огромностью Вон там дремал восковой ребенок, уцелевший от музея

[8] Примечания: 8

Писарро Франциско (1475-1541) — испанский завоеватель Перу; с неслыханной жестокостью проводил колонизацию захваченных земель.

Руйша[9], и это прелестное создание напомнило ему о радостях юных лет. Когда он смотрел на волшебный девичий передник какой-то гаитянки, пылкое его воображение рисовало ему картины простой, естественной жизни, чистую наготу истинного целомудрия, наслаждения лени, столь свойственной человеку, безмятежное существование на берегу прохладного задумчивого ручья, под банановым деревом, которое даром кормит человека сладкой своей манной.

Но внезапно, вдохновленный перламутровыми отливами бесчисленного множества раковин, воодушевленный видом звездчатых кораллов, еще пахнувших морской травой, водорослями и атлантическими бурями, он становился корсаром и облекался в грозную поэзию, запечатленную образом Лары[10].

Затем, восхищаясь изящными миниатюрами, лазоревыми золотыми арабесками, которыми был разукрашен драгоценный рукописный требник, он забывал про морские бури. Ласково

---

[9] Примечания: 9

Музей Руйша. — Руйш, голландский ученый-анатом, создал большую анатомическую коллекцию, которая в 1717 году была куплена Петром I и отправлена в Петербург (Кунсткамера).

[10] Примечания: 10

Лара — герой одноименной поэмы Байрона, тип гордого, властного человека.

убаюкиваемый мирными размышлениями, он стремился вернуться к умственному труду, к науке, мечтал о сытой монашеской жизни, беспечальной и безрадостной, ложился спать в келье и глядел в стрельчатое ее окно на монастырские луга, леса и виноградники. Перед полотном Тенирса он накидывал на себя солдатский кафтан или же лохмотья рабочего; ему хотелось надеть на голову засаленный и прокуренный колпак фламандцев, он хмелел от выпитого пива, играл с ними в карты и улыбался румяной, соблазнительно дебелой крестьянке. Он дрожал от стужи, видя, как падает снег на картине Мьериса, сражался, смотря на битву Сальватора Розы. Он любовался иллинойсским томагавком и чувствовал, как ирокезский нож сдирает с него скальп. Увидев чудесную лютню, он вручал ее владелице замка, упивался сладкозвучным романсом, объяснялся прекрасной даме в любви у готического камина, и вечерние сумерки скрывали ее ответный взгляд. Он ловил все радости, постигал все скорби, овладевал всеми формулами бытия и столь щедро расточал свою жизнь и чувства перед этими призраками природы, перед этими пустыми образами, что стук собственных шагов отдавался в его душе, точно отзвук другого, далекого мира,

подобно тому как шум Парижа доносится на башни Собора богоматери.

Подымаясь по внутренней лестнице, которая вела в залы второго этажа, он заметил, что на каждой ступеньке стоят или висят на стене вотивные щиты[11], доспехи, оружие, дарохранительницы, украшенные скульптурой, деревянные статуи. Преследуемый самыми странными фигурами, чудесными созданиями, возникшими перед ним на грани смерти и жизни, он шел среди очарований грезы. Усомнившись наконец в собственном своем существовании, он сам уподобился этим диковинным предметам, как будто став не вполне умершим и не вполне живым. Когда он вошел в новые залы, начинало смеркаться, но казалось, что свет и не нужен для сверкающих золотом и серебром сокровищ, сваленных там грудами. Самые дорогие причуды расточителей, промотавших миллионы и умерших в мансардах, были представлены на этом обширном торжище человеческих безумств. Чернильница, которая обошлась в сто тысяч франков, а потом была продана за сто су, лежала возле замка с секретом, стоимости которого было бы некогда достаточно

[11] Примечания: 11

Вотивные щиты — щиты, которые древние римляне вешали в храмах в честь победы, одержанной над врагами.

для выкупа короля из плена. Род человеческий являлся здесь во всей пышности своей нищеты, во всей славе своей гигантской мелочности. Стол черного дерева, достойный поклонения художника, резанный по рисункам Жана Гужона, стоивший когда-то нескольких лет работы, был, возможно, приобретен по цене осиновых дров. Драгоценные шкатулки, мебель, сделанная руками фей, — все набито было сюда как попало.

— Да у вас тут миллионы! — воскликнул молодой человек, дойдя до комнаты, завершавшей длинную анфиладу зал, которые художники минувшего века разукрасили золотом и скульптурами.

— Вернее, миллиарды, — заметил таинственный приказчик. — Но это еще что, поднимитесь на четвертый этаж, вот там вы увидите!

Незнакомец последовал за своим проводником, достиг четвертой галереи, и там перед его усталыми глазами поочередно прошли картины Пуссена, изумительная статуя Микеланджело, прелестные пейзажи Клода Лоррена, картина Герарда Доу, подобная странице Стерна, полотна Рембрандта, Мурильо, Веласкеса, мрачные и яркие, как поэма Байрона; далее — античные барельефы, агатовые чаши, великолепные оник-

сы… Словом, то были работы, способные внушить отвращение к труду, нагромождение шедевров, могущее возбудить ненависть к искусствам и убить энтузиазм. Он дошел до «Девы» Рафаэля, но Рафаэль ему надоел, и голова кисти Корреджо, просившая внимания, так и не добилась его. Бесценная античная ваза из порфира, рельефы которой изображали самую причудливую в своей вольности римскую приапею, отрада какой-нибудь Коринны, не вызвала у него ничего, кроме беглой улыбки. Он задыхался под обломками пятидесяти исчезнувших веков, чувствовал себя больным от всех этих человеческих мыслей; он был истерзан роскошью и искусствами, подавлен этими воскресающими формами, которые, как некие чудовища, возникающие у него под ногами по воле злого гения, вызывали его на нескончаемый поединок.

Похожая своими прихотями на современную химию, которая сводит все существующее к газу, не вырабатывает ли человеческая душа ужасные яды, мгновенно сосредоточивая в себе все своя радости, идеи и силы? И не оттого ли гибнет множество людей, что их убивают своего рода духовные кислоты, внезапно отравляющие все их существо?

— Что в этом ящике? — спросил молодой человек, войдя в просторный кабинет — последнее скопище боевой славы, человеческих усилий, причуд, богатств, — и указал рукой на большой четырехугольный ящик красного дерева, подвешенный на серебряной цепи.

— О, ключ от него у хозяина! — с таинственным видом сказал толстый приказчик. — Если вам угодно видеть эту картину, я осмелюсь побеспокоить хозяина.

— Осмелитесь?! — удивился молодой человек. — Разве ваш хозяин какой-нибудь князь?

— Да я, право, не знаю, — отвечал приказчик. Минуту смотрели они друг на друга, оба удивленные в равной мере. Затем, сочтя молчание незнакомца за пожелание, приказчик оставил его одного в кабинете.

Пускались ли вы когда-нибудь в бесконечность пространства и времени, читая геологические сочинения Кювье? Уносимые его гением, парили ли вы над бездонной пропастью минувшего, точно поддерживаемые рукой волшебника? Когда в различных разрезах и различных слоях, в монмартрских каменоломнях и в уральском сланце обнаруживаются ископаемые, чьи останки относятся ко временам допотопным, душа

испытывает страх, ибо перед ней приоткрываются миллиарды лет, миллионы народов, не только исчезнувших из слабой памяти человечества, но забытых даже нерушимым божественным преданием, и лишь прах минувшего, скопившийся на поверхности земного шара, образует почву в два фута глубиною, дающую нам цветы и хлеб. Разве Кювье не величайший поэт нашего века? Лорд Байрон словами воспроизвел волнения души, но бессмертный наш естествоиспытатель[12] воссоздал миры при помощи выбеленных временем костей; подобно Кадму[13], он отстроил города при помощи зубов, он вновь населил тысячи лесов всеми чудищами зоологии благодаря нескольким кускам каменного угля; восстановил поколения гигантов по одной лишь ноге мамонта. Образы встают, растут и в соответствии с исполинским своим ростом меняют вид целых областей. В своих цифрах он поэт; он великолепен, когда к семи приставляет нуль. Не произнося искусствен-

---

[12] Примечания: 12

...бессмертный наш естествоиспытатель... — то есть французский естествоиспытатель Жорж Кювье (1769-1832), который путем сравнительно-анатомического метода восстанавливал ископаемые организмы по отдельным костям, найденным при раскопках.

[13] Примечания: 13

Кадм — легендарный основатель древнегреческого города Фивы; согласно мифу, первые жители этого города выросли из зубов дракона, посеянных Кадмом.

ных магических слов, он воскрешает небытие; он откапывает частицу гипса, замечает на ней отпечаток и восклицает: «Смотрите! „ Мрамор становится вдруг животным, смерть — жизнью, открывается целый мир! После неисчислимых династий гигантских созданий, после рыбьих племен и моллюсковых кланов появляется наконец род человеческий, выродок грандиозного типа, сраженного, быть может, создателем. Воодушевленные мыслью ученого, перед которым воскресает прошлое, эти жалкие люди, рожденные вчера, могут проникнуть в хаос, запеть бесконечный гимн и начертать себе былые судьбы вселенной в виде вспять обращенного Апокалипсиса. Созерцая это жуткое воскрешение, совершаемое голосом одного единственного человека, мы проникаемся жалостью к той крохе, которая нам предоставлена в безыменной бесконечности, общей всем сферам, проникаемся жалостью к этой минуте жизни, которую мы именуем время. Как бы погребенные под обломками стольких вселенных, мы вопрошаем себя: к чему наша слава, наша ненависть, наша любовь? Если нам суждено стать в будущем неосязаемой точкой, стоит ли принимать на себя бремя бытия? И вот, вырванные из почвы нашего времени, мы пе-

рестаем жить, пока не войдет лакей и не скажет: «Графиня приказала передать, что она ждет вас“.

При виде чудес, явивших молодому человеку весь ведомый нам мир, душа его изнемогла, как изнемогает душа у философа, когда он занят научным рассмотрением мира неведомого; сильнее, чем когда бы то ни было, хотелось ему теперь умереть, и он упал в курульное кресло[14], предоставив своим взорам блуждать по фантасмагориям этой панорамы прошлого.

Картины озарились, головы дев ему улыбнулись, статуи приняли обманчивую окраску жизни. Втянутые в пляску тою лихорадочною тревогой, которая, точно хмель, бродила в его больном мозгу, эти произведения под покровом тени ожили, зашевелились и вихрем понеслись перед ним; каждый фарфоровый уродец строил ему гримасу, у людей, изображенных на картинах, веки опустились, чтобы дать отдохнуть глазам. Все эти фигуры вздрогнули, вскочили, сошли со своих мест — кто грузно, кто легко, кто грациозно, кто неуклюже, в зависимости от своего нрава, свойства и строения. То был

[14] Примечания: 14

Курульное кресло — кресло, на котором восседали при исполнении своих обязанностей высшие римские магистраты: консулы, преторы и т. д.

некий таинственный шабаш, достойный тех чудес, что видел доктор Фауст на Брокене. Но эти оптические явления, порожденные усталостью, напряжением взгляда или причудливостью сумерек, не могли устрашить незнакомца. Ужасы жизни были не властны над душой, свыкшейся с ужасами смерти. Он скорее даже поощрял своим насмешливым сочувствием нелепые странности этого нравственного гальванизма, чудеса которого соединились с последними мыслями, еще поддерживавшими в незнакомце ощущение бытия. Вокруг него царило столь глубокое молчание, что вскоре он осмелился отдаться сладостным мечтам, образы которых постепенно темнели, магически изменяя свои оттенки по мере угасания дня.

Свет, покидая небо, зажег в борьбе с ночью последний красноватый отблеск; молодой человек поднял голову и увидел слабо освещенный скелет, который с сомнением качнул своим черепом справа налево, как бы говоря:

«Мертвецы тебя еще не ждут». Проведя рукой по лбу, чтобы отогнать сон, молодой человек отчетливо ощутил прохладное дуновение, что-то пушистое коснулось его щеки, и он вздрогнул. Чуть слышным звоном отозвались стекла, и он по-

думал, что эта холодная, пахнувшая могильными тайнами ласка исходила от летучей мыши. Еще одно мгновение при расплывающихся отблесках заката он неясно различал окружавшие его призраки; затем весь этот натюрморт был поглощен сплошным мраком. Ночь — час, назначенный им для смерти, — наступила внезапно. После этого в течение некоторого времени он совершенно не воспринимал ничего земного — потому ли, что погрузился в глубокое раздумье, потому ли, что на него напала сонливость, вызванная утомлением и роем мыслей, раздиравших ему сердце. Вдруг ему почудилось, что некий грозный голос окликнул его, и он вздрогнул, как если бы среди горячечного кошмара его бросили в пропасть» Он закрыл глаза: лучи яркого света ослепляли его; он видел, как где-то во мраке загорелся красноватый круг, в центре которого находился какой-то старичок, стоявший с лампою в руке и направлявший на него свет. Не слышно было, как он вошел; он молчал и не двигался. В его появлении было нечто магическое. Даже самый бесстрашный человек, и тот, наверное, вздрогнул бы со сна при виде этого старичка, вышедшего, казалось, из соседнего саркофага. Необычайный молодой блеск, оживлявший неподвижные гла-

за у этого подобия призрака, исключал мысль о каком-нибудь сверхъестественном явлении; все же в тот краткий промежуток, что отделил сомнамбулическую жизнь от жизни реальной, наш незнакомец оставался в состоянии философского сомнения, предписываемого Декартом, и помимо воли подпал под власть неизъяснимых галлюцинаций, тайны которых либо отвергает наша гордыня, либо тщетно изучает беспомощная наша наука.

Представьте себе сухонького, худенького старичка, облаченного в черный бархатный халат, перехваченный толстым шелковым шнуром. На голове у него была бархатная ермолка, тоже черная, из-под которой с обеих сторон выбивались длинные седые пряди; она облегала череп, резкой линией окаймляя лоб. Халат окутывал тело наподобие просторного савана — видно было только лицо, узкое и бледное. Если бы не костлявая, похожая на палку, обернутую в материю, рука, которую старик вытянул, направляя на молодого человека весь свет лампы, можно было бы подумать, что это лицо повисло в воздухе. Борода с проседью, подстриженная клинышком, скрывала подбородок этого странного существа, придавая ему сходство с теми еврейскими головами,

которыми как натурой пользуются художники, когда хотят изобразить Моисея. Губы были столь бесцветны, столь тонки, что лишь при особом внимании можно было различить линию рта на его белом лице. Высокий морщинистый лоб, щеки, поблекшие и впалые, неумолимая строгость маленьких зеленых глаз, лишенных бровей и ресниц, — все это могло внушить незнакомцу мысль, что вышел из рамы Взвешиватель золота, созданный Герардом Доу. Коварство инквизитора, изобличаемое морщинами, которые бороздили его щеки и лучами расходились у глаз, свидетельствовало о глубоком знании жизни. Казалось, человек этот обладает даром угадывать мысли самых скрытных людей и обмануть его невозможно. Знакомство с нравами всех народов земного шара и вся их мудрость сосредоточивались в его холодной душе, подобно тому, как произведениями целого мира были завалены пыльные залы его лавки. Вы прочли бы на его лице ясное спокойствие всевидящего бога или же горделивую мощь все видевшего человека. Живописец, придав ему соответствующее выражение двумя взмахами кисти, мог бы обратить это лицо в прекрасный образ предвечного отца или же в глумливую маску Мефистофеля, ибо на его лбу

запечатлелась возвышенная мощь, а на устах — зловещая насмешка. Обратив в прах при помощи своей огромной власти все муки человеческие, он, по-видимому, убил и земные радости.

Умирающий вздрогнул, почувствовав, что этот старый гений обитает в сферах, чуждых миру, и живет там один, не радуясь, ибо у него нет больше иллюзий, не скорбя, ибо он уже не ведает наслаждений. Старик стоял неподвижный, непоколебимый, как звезда, окруженная светлою мглой. Его зеленые глаза, исполненные какого-то спокойного лукавства, казалось, освещали мир душевный, так же как его лампа светила в этом таинственном кабинете.

Таково было странное зрелище, захватившее врасплох молодого человека — убаюканного было мыслями о смерти и причудливыми образами — в тот момент, когда он открыл глаза. Если он был ошеломлен, если он поверил в этот призрак не рассуждая, как ребенок нянькиным сказкам, то это заблуждение следует приписать тому покрову, который простерли над его жизнью и рассудком мрачные мысли, раздражение взбудораженных нервов, жестокая драма, сцены которой только что доставили ему мучительное наслаждение, сходное с тем, какое заключено

в опиуме. Это видение было ему в Париже, на набережной Вольтера, в XIX веке — в таком месте и в такое время, когда магия невозможна. Находясь по соседству с тем домом, где скончался бог французского неверия[15], будучи учеником Гей-Люссака[16] и Араго[17], презирая все фокусы, проделываемы власти, незнакомец, очевидно, поддался обаянию поэзии, которому все мы часто поддаемся как бы для того, чтобы избежать горьких истин, приводящих в отчаяние, и бросить вызов всемогуществу божию. Итак, волнуемый необъяснимыми предчувствиями какой-то необычайной власти, он вздрогнул при виде этого света, при виде этого старика; волнение его было похоже на то, какое мы все испытывали перед Наполеоном, какое мы вообще испытываем в присутствии великого человека, блистающего

---

[15] Примечания: 15

...бог французского неверия... — то есть французский писатель, философ-просветитель Вольтер (1694-1778), который вел постоянную борьбу с религиозным мракобесием и изуверством церковников.

[16] Примечания: 16

Гей-Люссак Жозеф-Луи (1778-1850)-французский физик и химик; законы, открытые им, имели большое значение для прогресса этих наук, для развития материалистического миропонимания.

[17] Примечания: 17

Араго Доминик Франсуа (1786-1853)-физик, совершивший ряд важных открытий в области астрономии, оптики, электромагнетизма, метеорологии и т. д.

гением и облеченного славою.

— Вам угодно видеть изображение Иисуса Христа кисти Рафаэля? — учтиво спросил его старик; в звучности его внятного, отчетливого голоса было нечто металлическое.

Он поставил лампу на обломок колонны так, что темный ящик был освещен со всех сторон.

Стоило купцу произнести священные имена Иисуса Христа и Рафаэля, как молодой человек всем своим видом невольно выразил любопытство, чего старик, без сомнения, и ожидал, потому что он тотчас же надавил пружину. Вслед за тем створка красного дерева бесшумно скользнула в выемку, открыв полотно восхищенному взору незнакомца. При виде этого бессмертного творения он забыл все диковины лавки, капризы своего сна, вновь стал человеком, признал в старике земное существо, вполне живое, нисколько не фантастическое, вновь стал жить в мире реальном. Благостная нежность, тихая ясность божественного лика тотчас же подействовали на него. Некое благоухание пролилось с небес, рассеивая те адские муки, которые жгли его до мозга костей. Голова спасителя, казалось, выступала из мрака, переданного черным фоном; ореол лучей сиял вокруг его волос, от которых как будто и

исходил этот свет; его чело, каждая черточка его лица исполнены были красноречивой убедительности, изливавшейся потоками. Алые губы как будто только что произнесли слово жизни, и зритель искал его отзвука в воздухе, допытываясь его священного смысла, вслушивался в тишину, вопрошал о нем грядущее, обретал его в уроках минувшего. Евангелие передавалось спокойной простотой божественных очей, в которых искали себе прибежища смятенные души. Словом, всю католическую религию можно было прочесть в кроткой и прекрасной улыбке, выражавшей, казалось, то изречение, к которому она, эта религия, сводится: «Любите друг друга!»Картина вдохновляла на молитву, учила прощению, заглушала себялюбие, пробуждала все уснувшие добродетели. Обладая преимуществами, свойственными очарованию музыки, это произведение Рафаэля подчиняло вас властным чарам воспоминаний, и торжество было полным — о художнике вы забывали. Впечатление этого чуда еще усиливалось очарованием света: мгновениями казалось, что голова движется вдали, среди облака.

— Я дал за это полотно столько золотых монет, сколько на нем уместилось, — холодно сказал торговец.

— Ну что ж, значит — смерть! — воскликнул молодой человек, пробуждаясь от мечтаний. Слова старика вернули его к роковому жребию, и путем неуловимых выводов он спустился с высот последней надежды, за которую было ухватился, — Aral Недаром ты мне показался подозрительным, — проговорил старик, схватив обе руки молодого человека и, как в тисках, сжимая ему запястья одной рукой.

Незнакомец печально улыбнулся этому недоразумению и сказал кротким голосом:

— Не бойтесь, речь идет о моей смерти, а не о вашей… Почему бы мне не сознаться в невинном обмане? — продолжал он, взглянув на обеспокоенного старика. — До наступления ночи, когда я могу утопиться, не привлекая внимания толпы, я пришел взглянуть на ваши богатства. Кто не простил бы этого последнего наслаждения ученому и поэту?

Недоверчиво слушая мнимого покупателя, торговец окинул пронзительным взглядом его угрюмое лицо. Успокоенный искренним тоном его печальных речей или, быть может, прочитав в его поблекших чертах зловещие знаки его участи, при виде которых незадолго перед тем вздрогнули игроки, он отпустил его руки; однако

подозрительность, свидетельствовавшая о житейском опыте, по меньшей мере столетнем, не совсем его оставила: небрежно протянув руку к поставцу, как будто только для того чтобы на него опереться, он вынул оттуда стилет и сказал:

— Вы, вероятно, года три служите сверх штата в казначействе и все еще не на жалованье?

Незнакомец не мог удержаться от улыбки и отрицательно покачал головой.

— Ваш отец чересчур грубо попрекал вас тем, что вы появились на свет?

А может быть, вы потеряли честь?

— Если бы я согласен был потерять честь, я бы не расставался с жизнью.

— Вас освистали в театре Фюнамбюль? Вы принуждены сочинять куплеты, чтобы заплатить за похороны вашей любовницы? А может быть, вас томит неутоленная страсть к золоту? Или вы желаете победить скуку? Словом, какое заблуждение толкает вас на смерть?

— Не ищите объяснений среди тех будничных причин, которыми объясняется большинство самоубийств. Чтобы избавить себя от обязанности открывать вам неслыханные мучения, которые трудно передать словами, скажу лишь, что я впал в глубочайшую, гнуснейшую, унизительную

нищету. Я не собираюсь вымаливать ни помощи, ни утешений, — добавил он с дикой гордостью, противоречившей его предшествующим словам.

— Хэ-хэ! — Эти два слога, произнесенные стариком вместо ответа, напоминали звук трещотки. Затем он продолжал:

— Не принуждая вас взывать ко мне, не заставляя вас краснеть, не подавая вам ни французского сантима, ни левантского парата, ни сицилийского тарена, ни немецкого геллера, ни русской копейки, ни шотландского фартинга, ни единого сестерция и обола мира древнего, ни единого пиастра нового мира, не предлагая вам ничего ни золотом, ни серебром, ни медью, ни бумажками, ни билетами, я хочу вас сделать богаче, могущественнее, влиятельнее любого конституционного монарха.

Молодой человек подумал, что перед ним старик, впавший в детство; ошеломленный, он не знал, что ответить.

— Оглянитесь, — сказал торговец и, схватив вдруг лампу, направил ее свет на стену, противоположную той, на которой висела картина. — Посмотрите на эту шагреневую кожу, — добавил он.

Молодой человек вскочил с места и с некото-

рым удивлением обнаружил над своим креслом висевший на стене лоскут шагрени, не больше лисьей шкурки; по необъяснимой на первый взгляд причине кожа эта среди глубокого мрака, царившего в лавке, испускала лучи, столь блестящие, что можно было принять ее за маленькую комету. Юноша с недоверием приблизился к тому, что выдавалось за талисман, способный предохранить его от несчастий, и рассмеялся в душе. Однако, движимый вполне законным любопытством, он наклонился, чтобы рассмотреть кожу со всех сторон, и открыл естественную причину ее странного блеска. Черная зернистая поверхность шагрени была так тщательно отполирована и отшлифована, прихотливые прожилки на ней были столь чисты и отчетливы, что, подобно фасеткам граната, каждая выпуклость этой восточной кожи бросала пучок ярких отраженных лучей. Математически точно определив причину этого явления, он изложил ее старику, но тот вместо ответа хитро улыбнулся. Эта улыбка превосходства навела молодого ученого на мысль, что он является жертвой шарлатанства. Он не хотел уносить с собой в могилу лишнюю загадку и, как ребенок, который спешит разгадать секрет своей новой игрушки, быстро перевернул кожу.

— Ага! — воскликнул он. — Тут оттиск печати, которую на Востоке называют Соломоновой.

— Вам она известна? — спросил торговец, два-три раза выпустив из ноздрей воздух и передав этим больше мыслей, чем мог бы высказать самыми выразительными словами.

— Какой простак поверит этой химере? — воскликнул молодой человек, задетый немым и полным ехидного издевательства смехом старика. — Разве вы не знаете, что лишь суеверия Востока приписывают нечто священное мистической форме и лживым знакам этой эмблемы, будто бы наделенной сказочным могуществом? Укорять меня в данном случае в наивности у вас не больше оснований, чем если бы речь шла о сфинксах и грифах, существование которых в мифологическом смысле до некоторой степени допускается.

— Раз вы востоковед, — продолжал старик, — то, может быть, прочтете это изречение?

Он поднес лампу к самому талисману, который изнанкою кверху держал молодой человек, и обратил его внимание на знаки, оттиснутые на клеточной ткани этой чудесной кожи так, точно они своим существованием были обязаны тому животному, которое некогда облекала кожа.

— Должен сознаться, — заметил незнакомец, — я не могу объяснить, каким образом ухитрились так глубоко оттиснуть эти буквы на коже онагра.

И он живо обернулся к столам, заваленным редкостями, как бы ища что-то глазами.

— Что вам нужно? — спросил старик.

— Какой-нибудь инструмент, чтобы надрезать шагрень и выяснить, оттиснуты эти буквы или же вделаны.

Старик подал незнакомцу стилет, — тот взял его и попытался надрезать кожу в том месте, где были начертаны буквы; но когда он снял тонкий слой кожи, буквы вновь появились, столь отчетливые и до того похожие на те, которые были оттиснуты на поверхности, что на мгновение ему показалось, будто кожа и не срезана.

— Левантские мастера владеют секретами, известными только им одним, — сказал он, с каким-то беспокойством взглянув на восточное изречение.

— Да, — отозвался старик, — лучше все валить на людей, чем на бога.

Таинственные слова были расположены в таком порядке, что означало:

Обладая мною, ты будешь обладать
всем, но жизнь твоя будет принадлежать

мне. Так угодно богу. Желай — и желания
твои будут исполнены. Но соразмеряй
свои желания со своей
жизнью. Она — здесь. При
каждом желании я буду
убывать, как твои дни.
Хочешь владеть мною?
Бери. Бог тебя
услышит.
Да будет
так!

— А вы бегло читаете по-санскритски! — сказал старик. — Верно, побывали в Персии или же в Бенгалии?

— Нет, — отвечал молодой человек, с любопытством ощупывая эту символическую и очень странную кожу, совершенно негибкую, даже несколько напоминавшую металлическую пластинку.

Старый антиквар опять поставил лампу на колонну и бросил на молодого человека взгляд, полный холодной иронии и как бы говоривший: «Вот он уже и не думает умирать! «

— Это шутка? Или тайна? — спросил молодой незнакомец.

Старик покачал головой и серьезным тоном

сказал:

— Не знаю, что вам ответить. Грозную силу, даруемую этим талисманом, я предлагал людям более энергичным, нежели вы, но, посмеявшись над загадочным влиянием, какое она должна была бы оказать на их судьбу, никто, однако ж, не захотел рискнуть заключить договор, столь роковым образом предлагаемый неведомой мне властью. Я с ними согласен, — я усомнился, воздержался и…

— И даже не пробовали? — прервал его молодой человек.

— Пробовать! — воскликнул старик. — Если бы вы стояли на Вандомской колонне, попробовали бы вы броситься вниз? Можно ли остановить течение жизни? Делил ли кто-нибудь смерть на доли? Прежде чем войти в этот кабинет, вы приняли решение покончить с собой, но вдруг вас начинает занимать эта тайна и отвлекает от мысли о смерти. Дитя! Разве любой ваш день не предложит вам загадки, более занимательной, чем эта? Послушайте, что я вам скажу. Я видел распутный двор регента[18]. Как вы, я был тогда

[18] Примечания: 18

Я видел распутный двор регента. — Имеется в виду двор Филиппа Орлеанского, бывшего регентом (с 1715 по 1723 г.) в годы несовершеннолетия Людовика XV.

в нищете, я просил милостыню; тем не менее я дожил до ста двух лет и стал миллионером; несчастье одарило меня богатством, невежество научило меня.

Сейчас я вам в кратких словах открою великую тайну человеческой жизни.

Человек истощает себя безотчетными поступками, — из-за них-то и иссякают источники его бытия. Все формы этих двух причин смерти сводятся к двум глаголам желать и мочь. Между этими двумя пределами человеческой деятельности находится иная формула, коей обладают мудрецы, и ей обязан я счастьем моим и долголетием. Желать сжигает нас, а мочь — разрушает, но знать дает нашему слабому организму возможность вечно пребывать в спокойном состоянии. Итак, желание, или хотение, во мне мертво, убито мыслью; действие или могущество свелось к удовлетворению требований моего организма. Коротко говоря, я сосредоточил свою жизнь не в сердце, которое может быть разбито, не в ощущениях, которые притупляются, но в мозгу, который не изнашивается и переживает все. Излишества не коснулись ни моей души, ни тела. Меж тем я обозрел весь мир. Нога моя ступала по высочайшим горам Азии и Америки,

я изучил все человеческие языки, я жил при всяких правительствах. Я ссужал деньги китайцу, взяв в залог труп его отца, я спал в палатке араба, доверившись его слову, я подписывал контракты во всех европейских столицах и без боязни оставлял свое золото в вигваме дикарей; словом, я добился всего, ибо умел всем пренебречь. Моим единственным честолюбием было — видеть.

Видеть — не значит ли это знать?.. А знать, молодой человек, — не значит ли это наслаждаться интуитивно? Не значит ли это открывать самую сущность жизни и глубоко проникать в нее? Что остается от материального обладания?

Только идея. Судите же, как прекрасна должна быть жизнь человека, который, будучи способен запечатлеть в своей мысли все реальности, переносит источники счастья в свою душу и извлекает из них множество идеальных наслаждений, очистив их от всей земной скверны. Мысль — это ключ ко всем сокровищницам, она одаряет вас всеми радостями скупца, но без его забот. И вот я парил над миром, наслаждения мои всегда были радостями духовными. Мои пиршества заключались в созерцании морей, народов, лесов, гор. Я все созерцал, но спокойно, не зная усталости; я никогда ничего не желал, я только ожидал. Я

прогуливался по вселенной, как по собственному саду. То, что люди зовут печалью, любовью, честолюбием, превратностями, огорчениями, — все это для меня лишь мысли, превращаемые мною в мечтания; вместо того чтобы их ощущать, я их выражаю, я их истолковываю; вместо того чтобы позволить им пожирать мою жизнь, я драматизирую их, я их развиваю; я забавляюсь ими, как будто это романы, которые я читаю внутренним своим зрением. Я никогда не утомляю своего организма и потому все еще отличаюсь крепким здоровьем. Так как моя душа унаследовала все не растраченные мною силы, то моя голова богаче моих складов. Вот где, — сказал он, ударяя себя по лбу, — вот где настоящие миллионы! Я провожу свои дни восхитительно: мои глаза умеют видеть былое; я воскрешаю целые страны, картины разных местностей, виды океана, прекрасные образы истории. У меня есть воображаемый сераль, где я обладаю всеми женщинами, которые мне не принадлежали. Часто я снова вижу ваши войны, ваши революции и размышляю о них. О, как же предпочесть лихорадочное, мимолетное восхищение каким-нибудь телом, более или менее цветущим, формами, более или менее округлыми, как же предпочесть круше-

ние всех ваших обманчивых надежд — высокой способности создавать вселенную в своей душе; беспредельному наслаждению двигаться без опутывающих уз времени, без помех пространства; наслаждению — все объять, все видеть, наклониться над краем мира, чтобы вопрошать другие сферы, чтобы внимать богу? Здесь, — громовым голосом воскликнул он, указывая на шагреневую кожу, — мочь и желать соединены! Вот они, ваши социальные идеи, ваши чрезмерные желания, ваша невоздержность, ваши радости, которые убивают, ваши скорби, которые заставляют жить слишком напряженной жизнью, — ведь боль, может быть, есть не что иное, как предельное наслаждение. Кто мог бы определить границу, где сладострастие становится болью и где боль остается еще сладострастием? Разве живейшие лучи мира идеального не ласкают взора, меж тем как самый мягкий сумрак мира физического ранит его беспрестанно? Не от знания ли рождается мудрость? И что есть безумие, как не безмерность желания или же могущества?

— Вот я и хочу жить, не зная меры! — сказал незнакомец, хватая шагреневую кожу.

— Берегитесь, молодой человек! — с невероятной живостью воскликнул старик.

— Я посвятил свою жизнь науке и мысли, но они не способны были даже прокормить меня, — отвечал незнакомец. — Я не хочу быть обманутым ни проповедью, достойной Сведенборга[19], ни вашим восточным амулетом, ни милосердным вашим старанием удержать меня в этом мире, где существование для меня более невозможно. Так вот, — добавил он, судорожно сжимая талисман в руке и глядя на старика, — я хочу царственного, роскошного пира, вакханалии, достойной века, в котором все, говорят, усовершенствовано! Пусть мои собутыльники будут юны, остроумны и свободны от предрассудков, веселы до сумасшествия! Пусть сменяются вина, одно другого крепче, искрометнее, такие, от которых мы будем пьяны три дня! Пусть эта ночь будет украшена пылкими женщинами! Хочу, чтоб исступленный разгул увлек нас на колеснице, запряженной четверкой коней, за пределы мира и сбросил нас на неведомых берегах! Пусть души восходят на небеса или же тонут в грязи, — не знаю, возносятся ли они тогда или падают, мне это все равно. Итак, я приказываю мрачной этой силе слить для меня все радости воедино. Да, мне нужно заключить

[19] Примечания: 19

Сведенборг Эммануэль (1688-1772)-шведский реакционный писатель, автор ряда религиозно-мистических произведений.

все наслаждения земли и неба в одно последнее объятие, а затем умереть. Я желаю античных приапей после пьянства, песен, способных пробудить мертвецов, долгих, бесконечно долгих поцелуев, чтобы звук их пронесся над Парижем, как гул пожара, разбудил бы супругов и внушил бы им жгучий пыл, возвращая молодость всем, даже семидесятилетним!

Тут в ушах молодого безумца, подобно адскому грохоту, раздался смех старика и прервал его столь властно, что он умолк.

— Вы думаете, — сказал торговец, — у меня сейчас расступятся половицы, пропуская роскошно убранные столы и гостей с того света? Нет, нет, безрассудный молодой человек. Вы заключили договор, этим все сказано. Теперь все ваши желания будут исполняться в точности, но за счет вашей жизни. Круг ваших дней, очерченный этой кожей, будет сжиматься соответственно силе и числу ваших желаний, от самого незначительного до самого огромного. Брамин, которому я обязан этим талисманом, объяснил мне некогда, что между судьбою и желанием его владельца установится таинственная связь. Ваше первое желание — желание пошлое, я мог бы его удовлетворить, но позаботиться об этом я предоставляю

событиям вашего нового бытия. Ведь в конце концов вы хотели умереть? Ну что ж, ваше самоубийство только отсрочено.

Удивленный, почти раздраженный тем, что этот странный старик с его полуфилантропическими намерениями, ясно сказавшимися в этой последней насмешке, продолжал глумиться над ним, незнакомец воскликнул:

— Посмотрим, изменится ли моя судьба, пока я буду переходить набережную! Но если вы не смеетесь над несчастным, то в отместку за столь роковую услугу я желаю, чтобы вы влюбились в танцовщицу! Тогда вы поймете радость разгула и, быть может, расточите все блага, которые вы столь философически сберегали.

Он вышел, так и не услыхав тяжкого вздоха старика, миновал все залы и спустился по лестнице в сопровождении толстощекого приказчика, который тщетно пытался посветить ему: незнакомец бежал стремительно, словно вор, застигнутый на месте преступления. Ослепленный каким-то бредом, он даже не заметил невероятной податливости шагреневой кожи, которая стала мягкой, как перчатка, свернулась в его яростно сжимавшихся пальцах и легко поместилась в кармане фрака, куда он сунул ее почти машинально. Вы-

бежав на улицу, он столкнулся с тремя молодыми людьми, которые шли рука об руку.

— Скотина!

— Дурак!

Таковы были изысканные приветствия, коими они обменялись.

— О! Да это Рафаэль!

— Здорово! А мы тебя искали.

— Как, это вы?

Три эти дружественные фразы последовали за бранью, как только свет фонаря, раскачиваемого ветром, упал на изумленные лица молодых людей.

— Милый друг, — сказал Рафаэлю молодой человек, которого он едва не сбил с ног, — ты пойдешь с нами.

— Куда и зачем?

— Ладно, иди, дорогой я тебе расскажу.

Как ни отбивался Рафаэль, друзья его окружили, подхватили под руки и, втиснув его в веселую свою шеренгу, повлекли к мосту Искусств.

— Дорогой мой, — продолжал его приятель, — мы целую неделю тебя разыскиваем. В твоей почтенной гостинице «Сен-Кантен», на которой, кстати сказать, красуется все та же неизменная вывеска, выведенная красными и черными бук-

вами, что и во времена Жан-Жака Руссо, твоя Леонарда[20] сказала нам, что ты уехал за город. Между тем, право же, мы не были похожи на людей, пришедших по денежным делам, — судебных приставов, заимодавцев, понятых и тому подобное. Ну, так вот! Растиньяк видел тебя вчера вечером в Итальянской опере, мы приободрились и из самолюбия решили непременно установить, не провел ли ты ночь где-нибудь на дереве в Елисейских полях, или не отправился ли в ночлежку, где нищие, заплатив два су, спят, прислонившись к натянутым веревкам, или, может быть, тебе повезло, и ты расположился на биваке в какомнибудь будуаре. Мы тебя нигде не встретили — ни в списках заключенных в тюрьме Сент-Пелажи, ни среди арестантов Ла-Форс! Подвергнув научному исследованию министерства, Оперу, дома призрения, кофейни, библиотеки, префектуру, бюро журналистов, рестораны, театральные фойе — словом, все имеющиеся в Париже места, хорошие и дурные, мы оплакивали потерю человека, достаточно одаренного, чтобы с равным основанием оказаться при дворе или в тюрьме. Мы уже поговаривали, не канонизировать ли

[20] Примечания: 20

Леонарда — кухарка, персонаж романа французского писателя Лесажа (1668-1747) «Похождения Жиль Блаза из Сантильяны».

тебя в качестве героя Июльской революции! И, честное слово, мы сожалели о тебе.

Не слушая своих друзей, Рафаэль шел по мосту Искусств и смотрел на Сену, в бурлящих волнах которой отражались огни Парижа. Над этой рекой, куда еще так недавно хотел он броситься, исполнялись предсказания старика — час его смерти по воле рока был отсрочен.

— И мы действительно сожалели о тебе, — продолжал говорить приятель Рафаэля. — Речь идет об одной комбинации, в которую мы включили тебя как человека выдающегося, то есть такого, который умеет не считаться ни с чем.

Фокус, состоящий в том, что конституционный орех исчезает из-под королевского кубка, проделывается нынче, милый друг, с большей торжественностью, чем когда бы то ни было. Позорная монархия, свергнутая народным героизмом, была особой дурного поведения, с которой можно было посмеяться и попировать, но супруга, именующая себя Родиной, сварлива и добродетельна: хочешь, не хочешь, принимай размеренные ее ласки. Ведь ты знаешь, власть перешла из Тюильри к журналистам, а бюджет переехал в другой квартал — из Сен-Жерменско-

го предместья на Шоссе д'Антен[21]. Но вот чего ты, может быть, не знаешь: правительство, то есть банкирская и адвокатская аристократия, сделавшая родину своей специальностью, как некогда священники — монархию, почувствовало необходимость дурачить добрый французский народ новыми словами и старыми идеями, по образцу философов всех школ и ловкачей всех времен. Словом, речь идет о том, чтобы внедрять взгляды королевски-национальные, доказывать, что люди становятся гораздо счастливее, когда платят миллиард двести миллионов и тридцать три сантима родине, имеющей своими представителями господ таких-то я таких-то, чем тогда, когда платят они миллиард сто миллионов и девять сантимов королю, который вместо мы говорит я. Словом, основывается газета, имеющая в своем распоряжении добрых двести-триста тысяч франков, в целях создания оппозиции, способной удовлетворить неудовлетворенных без особого вреда для национального правительства

[21] Примечания: 21

…бюджет переехал… из Сен-Жерменского предместья на Шоссе д'Антен… — то есть бюджетом теперь распоряжается не аристократия, а буржуазия (Сен-Жерменское предместье — аристократический квартал в Париже; Шоссе д'Антен — улица, где жили преимущественно представители крупной буржуазии).

короля-гражданина[22].

И вот, раз мы смеемся и над свободой и над деспотизмом, смеемся над религией и над неверием и раз отечество для нас — это столица, где идеи обмениваются и продаются по столько-то за строку, где каждый день приносит вкусные обеды и многочисленные зрелища, где кишат продажные распутницы, где ужины заканчиваются утром, где любовь, как извозчичьи кареты, отдается напрокат; раз Париж всегда будет самым пленительным из всех отечеств — отечеством радости, свободы, ума, хорошеньких женщин, прохвостов, доброго вина, где жезл правления никогда не будет особенно сильно чувствоваться, потому что мы стоим возле тех, у кого он в руках… мы, истинные приверженцы бога Мефистофеля, подрядились перекрашивать общественное мнение, переодевать актеров, прибивать новые доски к правительственному балагану, подносить лекарство доктринерам, повергать старых республиканцев, подновлять бонапартистов, снабжать провиантом центр, но все это при том условии, чтобы нам было позволено смеяться втихомолку над королями и народами, менять

[22] Примечания: 22

Король-гражданин — прозвище, данное королю Луи-Филиппу кругами французской буржуазии.

по вечерам утреннее свое мнение, вести веселую жизнь на манер Панурга или возлежать more orientali (На восточный лад (лат.)) на мягких подушках. Мы решили вручить тебе бразды правления этого макаронического и шутовского царства, а посему ведем тебя прямо на званый обед, к основателю упомянутой газеты, банкиру, почившему от дел, который, не зная, куда ему девать золото, хочет разменять его на остроумие. Ты будешь принят там как брат, мы провозгласим тебя королем вольнодумцев, которые ничего не боятся и прозорливо угадывают намерения Австрии, Англии или России прежде, чем Россия, Англия или Австрия возымеют какие бы то ни было намерения! Да, мы назначаем тебя верховным повелителем тех умственных сил, которые поставляют миру всяких Мирабо, Талейранов, Питтов, Меттернихов — словом, всех ловких Криспинов[23], играющих друг с другом на судьбы государств, как простые смертные играют в домино на рюмку киршвассера. Мы изобразили тебя самым бесстрашным борцом из всех, кому когда-либо случалось схватиться врукопашную с разгулом, с этим изумительным чудовищем,

[23] Примечания: 23

Криспин — тип пронырливого, хитрого слуги в старых итальянских комедиях, в комедиях Реньяра и Лесажа.

которое жаждут вызвать на поединок все смелые умы; мы утверждали даже, что ему до сих пор еще не удалось тебя победить. Надеюсь, ты нас не подведешь. Тайфер, наш амфитрион, обещал затмить жалкие сатурналии наших крохотных современных Лукуллов. Он достаточно богат, чтобы придать величие пустякам, изящество и очарование — пороку… Слышишь, Рафаэль? — прерывая свою речь, спросил оратор.

— Да, — отвечал молодой человек, дивившийся не столько исполнению своих желаний, сколько тому, как естественно сплетались события.

Поверить в магическое влияние он не мог, но его изумляли случайности человеческой судьбы.

— Однако ты произносишь «да» весьма уныло, точно думаешь о смерти своего дедушки, — обратился к нему другой его спутник.

— Ах! — вздохнул Рафаэль так простодушно, что эти писатели, надежда молодой Франции, рассмеялись. — Я думал вот о чем, друзья мои: мы на пути к тому, чтобы стать плутами большой руки! До сих пор мы творили беззакония, мы бесчинствовали между двумя выпивками, судили о жизни в пьяном виде, оценивали людей и события, переваривая обед. Невинные на деле, мы были дерзки на слова, но теперь, заклейменные

раскаленным железом политики, мы отправляемся на великую каторгу и утратим там наши иллюзии. Ведь и тому, кто верит уже только в дьявола, разрешается оплакивать юношеский рай, время невинности, когда мы набожно открывали рот, дабы добрый священник дал нам вкусить святое теле христово. Ах, дорогие мои друзья, если нам такое удовольствие доставляли первые наши грехи, так это потому, что у нас еще были угрызения совести, которые украшали их, придавали им остроту и смак, — а теперь…

— О, теперь, — вставил первый собеседник, — нам остается…

— Что? — спросил другой.

— Преступление…

— Вот слово, высокое, как виселица, и глубокое, как Сена, — заметил Рафаэль.

— О, ты меня не понял!.. Я говорю о преступлениях политических. Нынче, с самого утра, я стал завидовать только заговорщикам. Не знаю, доживет ли эта моя фантазия до завтра, но мне просто душу воротит от этой бесцветной жизни в условиях нашей цивилизации — жизни однообразной, как рельсы железной дороги, — меня влекут к себе такие несчастья, как те, что испытали французы, отступавшие от Москвы, тревоги

«Красного корсара»[24], жизнь контрабандистов. Раз во Франции нет больше монахов-картезианцев, я жажду по крайней мере Ботани-бэй[25], этого своеобразного лазарета для маленьких лордов Байронов, которые, скомкав жизнь, как салфетку после обеда, обнаруживают, что делать им больше нечего, — разве только разжечь пожар в своей стране, пустить себе пулю в лоб, вступить в республиканский заговор или требовать войны…

— Эмиль, — с жаром начал другой спутник Рафаэля, — честное слово, не будь Июльской революции, я сделался бы священником, жил бы животной жизнью где-нибудь в деревенской глуши и…

— И каждый день читал бы требник?

— Да.

— Хвастун!

— Читаем же мы газеты!

— Недурно для журналиста! Но молчи, ведь толпа вокруг нас — это наши подписчики. Жур-

---

[24] Примечания: 24

«Красный корсар» — роман американского писателя Ф. Купера, вышедший в 1828 году.

[25] Примечания: 25

Ботани-бэй (Ботаническая бухта) — бухта в Австралии; на ее берегах английское правительство в 1787 году основало колонию для ссыльных.

нализм, видишь ли, стал религией современного общества, и тут достигнут прогресс.

— Каким образом?

— Первосвященники нисколько не обязаны верить, да и народ тоже…

Продолжая беседовать, как добрые малые, которые давно уже изучили «De viris illustribus»[26], они подошли к особняку на улице Жубер.

Эмиль был журналист, бездельем стяжавший себе больше славы, нежели другие — удачами. Смелый критик, остроумный и колкий, он обладал всеми достоинствами, какие могли ужиться с его недостатками. Насмешливый и откровенный, он произносил тысячу эпиграмм в глаза другу, а за глаза защищал его бесстрашно и честно. Он смеялся над всем, даже над своим будущим. Вечно сидя без денег, он, как все люди, не лишенные способностей, мог погрязнуть в неописуемой лени и вдруг бросал одно-единственное слово, стоившее целой книги, на зависть тем господам, у которых в целой книге не было ни одного живого слова. Щедрый на обещания, которых никогда не исполнял, он сделал себе из своей удачи и сла-

[26] Примечания: 26

De viris illustribus» («О знаменитых мужах» — лат.) — жизнеописание великих людей древности, составленное римским историком Корнелием Непотом (I в. до н. э.).

вы подушку и преспокойно почивал на лаврах, рискуя таким образом на старости лет проснуться в богадельне. При всем том за друзей он пошел бы на плаху, похвалялся своим цинизмом, а был простодушен, как дитя, работал же только по вдохновению или из-за куска хлеба.

— Тут и нам перепадет, по выражению мэтра Алькофрибаса[27], малая толика с пиршественного стола, — сказал он Рафаэлю, указывая на ящики с цветами, которые украшали лестницу своей зеленью и разливали благоуханье.

— Люблю, когда прихожая хорошо натоплена и убрана богатыми коврами, — заметил Рафаэль. — Это редкость во Франции. Чувствую, что я здесь возрождаюсь.

— А там, наверху, мы выпьем и посмеемся, бедный мой Рафаэль. И еще как! — продолжал Эмиль. — Надеюсь, мы выйдем победителями над всеми этими головами!

И он насмешливым жестом указал на гостей, входя в залу, блиставшую огнями и позолотой; тотчас же их окружили молодые люди, пользовавшиеся в Париже наибольшей известностью. Об одном из них говорили как о новом таланте

---

[27] Примечания: 27

Мэтр Алькофрибас — псевдоним Франсуа Рабле, французского писателя-сатирика XVI века, автора романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

— первая его картина поставила его в один ряд с лучшими живописцами времен Империи. Другой только что отважился выпустить очень яркую книгу, проникнутую своего рода литературным презрением и открывавшую перед современной школой новые пути. Скульптор, суровое лицо которого соответствовало его мужественному гению, беседовал с одним из тех холодных насмешников, которые, смотря по обстоятельствам, или ни в ком не хотят видеть превосходства, или признают его всюду. Остроумнейший из наших карикатуристов, со взглядом лукавым и языком язвительным, ловил эпиграммы, чтобы передать их штрихами карандаша. Молодой и смелый писатель, лучше, чем кто-нибудь другой, схватывающий суть политических идей и шутя, в двух-трех словах, умеющий выразить сущность какого-нибудь плодовитого автора, разговаривал с поэтом, который затмил бы всех своих современников, если бы обладал талантом, равным по силе его ненависти к соперникам. Оба, стараясь избегать и правды и лжи, обращались друг к другу со сладкими, льстивыми словами. Знаменитый музыкант, взяв си бемоль, насмешливо утешал молодого политического деятеля, который недавно низвергся с трибуны, но не при-

чинил себе никакого вреда. Молодые писатели без стиля стояли рядом с молодыми писателями без идей, прозаики, жадные до поэтических красот, — рядом с прозаичными поэтами. Бедный сен-симонист, достаточно наивный для того, чтобы верить в свою доктрину, из чувства милосердия примирял эти несовершенные существа, очевидно желая сделать из них монахов своего ордена. Здесь были, наконец, два-три ученых, созданных для того, чтобы разбавлять атмосферу беседы азотом[28], и несколько водевилистов, готовых в любую минуту сверкнуть эфемерными блестками, которые, подобно искрам алмаза, не светят и не греют. Несколько парадоксалистов, исподтишка посмеиваясь над теми, кто разделял их презрительное или же восторженное отношение к людям и обстоятельствам, уже повели обоюдоострую политику, при помощи которой они вступают в заговор против всех систем, не становясь ни на чью сторону.

Знаток, один из тех, кто ничему не удивляется, кто сморкается во время каватины в Итальянской опере, первым кричит «браво! «, возражает

---

[28] Примечания: 28

…разбавлять атмосферу беседы азотом… — то есть делать беседу вялой, скучной (азот — название химического элемента, по-гречески значит «безжизненный»).

всякому высказавшему свое суждение прежде него, был уже здесь и повторял чужие остроты, выдавая их за свои собственные. У пятерых из собравшихся гостей была будущность, десятку суждено было добиться кое-какой прижизненной славы, а что до остальных, то они могли, как любая посредственность, повторить знаменитую ложь Людовика XVIII: единение и забвение[29].

Амфитрион находился в состоянии озабоченной веселости, естественной для человека, потратившего на пиршество две тысячи экю. Он часто обращал нетерпеливый взор к дверям залы — как бы с призывом к запоздавшим гостям.

Вскоре появился толстый человечек, встреченный лестным гулом приветствий, — это был нотариус, который как раз в это утро завершил сделку по изданию новой газеты. Лакей, одетый в черное, отворил двери просторной столовой, и все двинулись туда без церемоний, чтобы занять предназначенные им места за огромным столом. Перед тем как уйти из гостиной, Рафаэль бросил на нее последний взгляд. Его желание

---

[29] Примечания: 29

...ложь Людовика XVIII; единение и забвение... — лозунг, провозглашенный Людовиком XVIII в начале его царствования (единение всей французской нации и забвение внутренних разногласий), на деле оказался ложью, так как с первых же дней Реставрации противники Бурбонов стали подвергаться жестоким преследованиям.

в самом деле исполнилось в точности. Всюду, куда ни посмотришь, золото и шелк. При свете дорогих канделябров с бесчисленным множеством свечей сверкали мельчайшие детали золоченых фризов, тонкая чеканка бронзы и роскошные краски мебели. Редкостные цветы в художественных жардиньерках, сооруженных из бамбука, изливали сладостное благоухание. Все, вплоть до драпировок, дышало не бьющим в глаза изяществом, во всем было нечто очаровательно-поэтичное, нечто такое, что должно сильно действовать на воображение бедняка.

— Сто тысяч ливров дохода — премилый комментарий к катехизису, они чудесно помогают нам претворять правила морали в жизнь! — со вздохом сказал Рафаэль. — О да, моя добродетель больше не согласна ходить пешком! Для меня теперь порок — это мансарда, потертое платье, серая шляпа зимой и долги швейцару... Ах, пожить бы в такой роскоши год, даже полгода, а потом — умереть! По крайней мере я изведаю, выпью до дна, поглощу тысячу жизней!

— Э, ты принимаешь за счастье карету биржевого маклера! — возразил слушавший его Эмиль. — Богатство скоро наскучит тебе, поверь: ты заметишь, что оно лишает тебя возможности

стать выдающимся человеком. Колебался ли когда-нибудь художник между бедностью богатых и богатством бедняков! Разве таким людям, как мы, не нужна вечная борьба! Итак, приготовь свой желудок, взгляни, — сказал он, жестом указывая на столовую преуспевающего банкира, имевшую величественный, райский, успокоительный вид. — Честное слово, наш амфитрион только ради нас и утруждал себя накоплением денег. Не разновидность ли это губки, пропущенной натуралистами в ряду полипов? Сию губку надлежит потихоньку выжимать, прежде чем ее высосут наследники!

Взгляни, как хорошо выдержан стиль барельефов, украшающих стены! А люстры и картины, — что за роскошь, какой вкус! Если верить завистникам и тем, кто претендует на знание пружин жизни, Тайфер убил во время революции одного немца и еще двух человек, как говорят — своего лучшего друга и мать этого лучшего друга. А ну-ка, попробуй обнаружить преступника в убеленном сединами почтенном Тайфере! На вид он добряк. Посмотри, как искрится серебро, неужели каждый блестящий его луч — это нож в сердце для хозяина дома?.. Оставь, пожалуйста! С таким же успехом можно поверить в Магомета.

Если публика права, значит, тридцать человек с душой и талантом собрались здесь для того, чтобы пожирать внутренности и пить кровь целой семьи… а мы оба, чистые, восторженные молодые люди, станем соучастниками преступления! Мне хочется спросить у нашего банкира, честный ли он человек…

— Не сейчас! — воскликнул Рафаэль. — Подождем, когда он будет мертвецки пьян. Сначала пообедаем.

Два друга со смехом уселись. Сперва каждый гость взглядом, опередившим слово, заплатил дань восхищения роскошной сервировке длинного стола; скатерть сияла белизной, как только что выпавший снег, симметрически возвышались накрахмаленные салфетки, увенчанные золотистыми хлебцами, хрусталь сверкал, как звезды, переливаясь всеми цветами радуги, огни свечей бесконечно скрещивались, блюда под серебряными крышками возбуждали аппетит и любопытство. Слов почти не произносили. Соседи переглядывались. Лакеи разливали мадеру. Затем во всей славе своей появилась первая перемена; она оказала бы честь блаженной памяти Камбасересу, его прославил бы Брийа-Саварен. Вина, бордоские и бургундские, белые и красные,

подавались с королевской щедростью. Эту первую часть пиршества во всех отношениях можно было сравнить с экспозицией классической трагедии. Второе действие оказалось немножко многословным. Все гости основательно выпили, меняя вина по своему вкусу, и когда уносили остатки великолепных блюд, уже начались бурные споры; кое у кого бледные лбы покраснели, у иных носы уже принимали багровый цвет, щеки пылали, глаза блестели. На этой заре опьянения разговор не вышел еще из границ приличия, однако со всех уст мало-помалу стали срываться шутки и остроты; затем злословие тихонько подняло змеиную свою головку и заговорило медоточивым голосом; скрытные натуры внимательно прислушивались в надежде не потерять рассудка. Ко второй перемене умы уже разгорячились. Все ели и говорили, говорили и ели, пили, не остерегаясь обилия возлияний, — до того вина были приятны на вкус и душисты и так заразителен был пример. Чтобы подзадорить гостей, Тайфер велел подать ронские вина жестокой крепости, горячащее токайское, старый ударяющий в голову руссильон. Сорвавшись, точно кони почтовой кареты, поскакавшие от станции, молодые люди, подстегиваемые искорками шампанского, нетерпеливо

ожидавшегося, зато щедро налитого, пустили свой ум галопировать в пустоте тех рассуждении, которым никто не внемлет, принялись рассказывать истории, не находившие себе слушателей, в сотый раз задавали вопросы, так и остававшиеся без ответа. Одна только оргия говорила во весь свой оглушительный голос, состоявший из множества невнятных криков, нараставших, как крещендо у Россини. Затем начались лукавые тосты, бахвальство, дерзости. Все стремились щегольнуть не умственными своими дарованиями, но способностью состязаться с винными бочонками, бочками, чанами. Казалось, у всех было по два голоса. Настал момент, когда господа заговорили все разом, а слуги заулыбались. Когда парадоксы, облеченные сомнительным блеском, и вырядившиеся в шутовской наряд истины стали сталкиваться друг с другом, пробивая себе дорогу сквозь крики, сквозь частные определения суда и окончательные приговоры, сквозь всякий вздор, как в сражении скрещиваются ядра, пули и картечь; этот словесный сумбур, вне всякого сомнения, заинтересовал бы философа странностью высказываемых мыслей, захватил бы политического деятеля причудливостью излагаемых систем общественного устройства.

То была картина и книга одновременно. Философские теории, религии, моральные понятия, различные под разными широтами, правительства — словом, все великие достижения разума человеческого пали под косою, столь же длинною, как коса Времени, и, пожалуй, нельзя было решить, находится ли она в руках опьяневшей мудрости или же опьянения.

Подхваченные своего рода бурей, эти умы, точно волны, бьющиеся об утесы, готовы были, казалось, поколебать все законы, между которыми плавают цивилизации, — и таким образом, сами того не зная, выполняли волю бога, оставившего в природе место добру и злу и хранящего в тайне смысл их непрестанной борьбы. Яростный и шутовской этот спор был настоящим шабашем рассуждении. Между грустными шутками, которые отпускали сейчас дети Революции при рождении газеты, и суждениями, которые высказывали веселые пьяницы при рождении Гаргантюа, была целая пропасть, отделяющая девятнадцатый век от шестнадцатого: тот, смеясь, подготовлял разрушение, наш — смеялся среди развалин.

— Как фамилия вон того молодого человека? — спросил нотариус, указывая на Рафаэля. — Мне

послышалось, его называют Валантеном.

— По-вашему, он просто Валантен? — со смехом воскликнул Эмиль. — Нет, извините, он — Рафаэль де Валантен! Наш герб — на черном поле золотой орел в серебряной короне, с красными когтями и клювом, и превосходный девиз:

«Non cecidh animus!»(«Дух не ослабел!»(лат.)). Мы — не какой-нибудь подкидыш, мы — потомок императора Валента, родоначальника всех Валантинуа, основателя Балансы французской и Валенсии испанской, мы — законный наследник Восточной империи. Если мы позволяем Махмуду царить в Константинополе, так это по нашей доброй воле, а также за недостатком денег и солдат.

Эмиль вилкою изобразил в воздухе корону над головой Рафаэля. Нотариус задумался на минуту, а затем снова начал пить, сделав выразительный жест, которым он, казалось, признавал, что не в его власти причислить к своей клиентуре Валенсию, Балансу, Константинополь, Махмуда, императора Валента и род Валантинуа.

— В разрушении муравейников, именуемых Вавилоном, Тиром, Карфагеном или Венецией, раздавленных ногою прохожего великана, не следует ли видеть предостережение, сделанное человечеству некоей насмешливой силой? — ска-

зал Клод Виньон, этот раб, купленный для того, чтобы изображать собою Боссюэ[30], по десять су за строчку.

— Моисей, Сулла, Людовик Четырнадцатый, Ришелье, Робеспьер и Наполеон, быть может, все они — один и тот же человек, вновь и вновь появляющийся среди различных цивилизаций, как комета на небе, — отозвался некий балланшист[31].

— К чему испытывать провидение? — заметил поставщик баллад Каналис.

— Ну уж, провидение! — прервав его, воскликнул знаток. — Нет ничего на свете более растяжимого.

— Но Людовик Четырнадцатый погубил больше народу при рытье водопроводов для госпожи де Ментенон, чем Конвент ради справедливого распределения податей, ради установления единства законов, ради национализации и равного дележа наследства, — разглагольствовал Массоль, молодой человек, ставший республиканцем

---

[30] Примечания: 30

Боссюэ Жак-Бенинь (1627-1704) — французский епископ, автор ряда исторических и богословских сочинений.

[31] Примечания: 31

Балланшист — последователь французского публициста, философа-мистика Балланша (1776-1847), видевшего путь к прогрессу в осуществлении религиозно-мистических христианских идеалов.

только потому, что перед его фамилией недоставало односложной частицы.

— Кровь для вас дешевле вина, — возразил ему Моро, крупный помещик с берегов Уазы. — Ну, а на этот-то раз вы оставите людям головы на плечах?

— Зачем? Разве основы социального порядка не стоят нескольких жертв?

— Бисиу! Ты слышишь? Сей господин республиканец полагает, что голова вот того помещика сойдет за жертву! — сказал молодой человек своему соседу.

— Люди и события — ничто, — невзирая на икоту, продолжал развивать свою теорию республиканец, — только в политике и в философии есть идеи и принципы.

— Какой ужас! И вам не жалко будет убивать ваших друзей ради одного какого-то «де»?..

— Э, человек, способный на угрызения совести, и есть настоящий преступник, ибо у него есть некоторое представление о добродетели, тогда как Петр Великий или герцог Альба — это системы, а корсар Монбар — это организация.

— А не может ли общество обойтись без ваших «систем» и ваших «организаций»? — спросил Каналис.

— О, разумеется! — воскликнул республиканец.

— Меня тошнит от вашей дурацкой Республики! Нельзя спокойно разрезать каплуна, чтобы не найти в нем аграрного закона.

— Убеждения у тебя превосходные, милый мой Брут, набитый трюфелями! Но ты напоминаешь моего лакея: этот дурак так жестоко одержим манией опрятности, что, позволь я ему чистить мое платье на свой лад, мне пришлось бы ходить голышом.

— Все вы скоты! Вам угодно чистить нацию зубочисткой, — заметил преданный Республике господин. — По-вашему, правосудие опаснее воров.

— Хе, хе! — отозвался адвокат Дерош.

— Как они скучны со своей политикой! — сказал нотариус Кардо. — Закройте дверь. Нет того знания и такой добродетели, которые стоили бы хоть одной капли крови. Попробуй мы всерьез подсчитать ресурсы истины — и она, пожалуй, окажется банкротом.

— Конечно, худой мир лучше доброй ссоры и обходится куда дешевле.

Поэтому все речи, произнесенные с трибуны за сорок лет, я отдал бы за одну форель, за сказку

Перро или за набросок Шарле.

— Вы совершенно правы!.. Передайте-ка мне спаржу… Ибо в конце концов свобода рождает анархию, анархия приводит к деспотизму, а деспотизм возвращает к свободе. Миллионы существ погибли, так и не добившись торжества ни одной из этих систем. Разве это не порочный круг, в котором вечно будет вращаться нравственный мир? Когда человек думает, что он что-либо усовершенствовал, на самом деле он сделал только перестановку.

— Ого! — вскричал водевилист Кюрси. — В таком случае, господа, я поднимаю бокал за Карла Десятого, отца свободы!

— А разве неверно? — сказал Эмиль. — Когда в законах — деспотизм, в нравах — свобода, и наоборот.

— Итак, выпьем за глупость власти, которая дает нам столько власти над глупцами! — предложил банкир.

— Э, милый мой. Наполеон по крайней мере оставил нам славу! — вскричал морской офицер, никогда не плававший дальше Бреста.

— Ах, слава — товар невыгодный. Стоит дорого, сохраняется плохо. Не проявляется ли в ней эгоизм великих людей, так же как в счастье —

эгоизм глупцов?

— Должно быть, вы очень счастливы…

— Кто первый огородил свои владения, тот, вероятно, был слабым человеком, ибо от общества прибыль только людям хилым. Дикарь и мыслитель, находящиеся на разных концах духовного мира, равно страшатся собственности.

— Мило! — вскричал Кардо. — Не будь собственности, как могли бы мы составлять нотариальные акты!

— Вот горошек, божественно вкусный!

— А на следующий день священника нашли мертвым…

— Кто говорит о смерти?.. Не шутите с нею! У меня дядюшка…

— И конечно, вы примирились с неизбежностью его кончины.

— Разумеется…

— Слушайте, господа!.. СПОСОБ УБИТЬ СВОЕГО дядюшку. тсс! (Слушайте, слушайте!) Возьмите сначала дядюшку, толстого и жирного, по крайней мере семидесятилетнего, — это лучший сорт дядюшек. (Всеобщее оживление.) Накормите его под каким-нибудь предлогом паштетом из гусиной печенки…

— Ну, у меня дядя длинный, сухопарый, скупой

и воздержный.

— О, такие дядюшки — чудовища, злоупотребляющие долголетием!

— И вот, — продолжал господин, выступивший с речью о дядюшке, — в то время как он будет предаваться пищеварению, объявите ему о несостоятельности его банкира.

— А если выдержит?

— Дайте ему хорошенькую девочку!

— А если он?.. — сказал другой, делая отрицательный знак.

— Тогда это не дядюшка… Дядюшка — это по существу своему живчик.

— В голосе Малибран пропали две ноты.

— Нет!

— Да!

— Aral Ага! Да и нет — не к этому ли сводятся все рассуждения на религиозные, политические и литературные темы? Человек — шут, танцующий над пропастью!

— Послушать вас, я — дурак?

— Напротив, это потому, что вы меня не слушаете.

— Образование — вздор! Господин Гейнфеттермах насчитывает свыше миллиарда отпечатанных томов, а за всю жизнь нельзя прочесть

больше ста пятидесяти тысяч. Так вот, объясните мне, что значит слово «образование».

Для одних образование состоит в том, чтобы знать, как звали лошадь Александра Македонского или что дога господина Дезаккор звали Беросилло, и не иметь понятия о тех, кто впервые придумал сплавлять лес или же изобрел фарфор. Для других быть образованным — значит выкрасть завещание и прослыть честным, всеми любимым и уважаемым человеком, но отнюдь не в том, чтобы стянуть часы (да еще вторично и при пяти отягчающих вину обстоятельствах), а затем, возбуждая всеобщую ненависть и презрение, отправиться умирать на Гревскую площадь.

— Натан останется?

— Э, его сотрудники — народ неглупый!

— А Каналис?

— Это великий человек, не будем говорить о нем.

— Вы пьяны!

— Немедленное следствие конституции — опошление умов. Искусства, науки, памятники — все изъедено эгоизмом, этой современной проказой. Триста ваших буржуа, сидя на скамьях Палаты, будут думать только о посадке тополей.

Деспотизм, действуя беззаконно, совершает ве-

ликие деяния, но свобода, соблюдая законность, не дает себе труда совершить хотя бы самые малые деяния.

— Ваше взаимное обучение фабрикует двуногие монеты по сто су, — вмешался сторонник абсолютизма. — В народе, нивелированном образованием, личности исчезают.

— Однако не в том ли состоит цель общества, чтобы обеспечить благосостояние каждому? — спросил сен-симонист.

— Будь у вас пятьдесят тысяч ливров дохода, вы и думать не стали бы о народе. Вы охвачены благородным стремлением помочь человечеству?

Отправляйтесь на Мадагаскар: там вы найдете маленький свеженький народец, сенсимонизируйте его, классифицируйте, посадите его в банку, а у нас всякий свободно входит в свою ячейку, как колышек в ямку. Швейцары здесь — швейцары, глупцы — глупцы, и для производства в это звание нет необходимости в коллегиях святых отцов.

— Вы карлист[32]!

— А почему бы и нет? Я люблю деспотизм, он подразумевает известного рода презрение к лю-

---

[32] Примечания: 32

Карлист — приверженец французского короля Карла X, низвергнутого буржуазной революцией 1830 года.

дям. Я не питаю ненависти к королям. Они так забавны!

Царствовать в Палате, в тридцати миллионах миль от солнца, — это что-нибудь да значит!

— Резюмируем в общих чертах ход цивилизации, — говорил ученый, пытаясь вразумить невнимательного скульптора, и пустился в рассуждения о первоначальном развитии человеческого общества и о первобытных народах:

— При возникновении народностей господство было в известном смысле господством материальным, единым, грубым, впоследствии, с образованием крупных объединений, стали утверждаться правительства, прибегая к более или менее ловкому разложению первичной власти. Так, в глубокой древности сила была сосредоточена в руках теократии: жрец действовал и мечом и кадильницей.

Потом стало два высших духовных лица: первосвященник и царь. В настоящее время наше общество, последнее слово цивилизации, распределило власть соответственно числу всех элементов, входящих в сочетание, и мы имеем дело с силами, именуемыми промышленностью, мыслью, деньгами, словесностью. И вот власть, лишившись единства, ведет к распаду общества,

чему единственным препятствием служит выгода. Таким образом, мы опираемся не на религию, не на материальную силу, а на разум. Но равноценна ли книга мечу, а рассуждение — действию? Вот в чем вопрос.

— Разум все убил! — вскричал карлист. — Абсолютная свобода ведет нации к самоубийству; одержав победу, они начинают скучать, словно какой-нибудь англичанин-миллионер.

— Что вы нам скажете нового? Нынче вы высмеяли все виды власти, но это так же пошло, как отрицать бога! Вы больше ни во что не верите. Оттого-то наш век похож на старого султана, погубившего себя распутством! Ваш лорд Байрон, дойдя до последней степени поэтического отчаяния, в конце концов стал воспевать преступления.

— Знаете, что я вам скажу! — заговорил совершенно пьяный Бьяншон. — Большая или меньшая доза фосфора делает человека гением или же злодеем, умницей или же идиотом, добродетельным или же преступным.

— Можно ли так рассуждать о добродетели! — воскликнул де Кюрси. — О добродетели, теме всех театральных пьес, развязке всех драм, основе всех судебных учреждений!

— Молчи, нахал! Твоя добродетель-Ахиллес без пяты, — сказал Бисиу.

— Выпьем!

— Хочешь держать пари, что я выпью бутылку шампанского единым духом?

— Хорош дух! — вскрикнул Бисиу.

— Они перепились, как ломовые, — сказал молодой человек, с серьезным видом поивший свой жилет.

— Да, в наше время искусство правления заключается в том, чтобы предоставить власть общественному мнению.

— Общественному мнению? Да ведь это самая развратная из всех проституток! Послушать вас, господа моралисты и политики, вашим законам мы должны во всем отдавать предпочтение перед природой, а общественному мнению — перед совестью. Да бросьте вы! Все истинно — и все ложно! Если общество дало нам пух для подушек, то это благодеяние уравновешивается подагрой, точно так же как правосудие уравновешивается судебной процедурой, а кашемировые шали порождают насморк.

— Чудовище! — прерывая мизантропа, сказал Эмиль Блонде. — Как можешь ты порочить цивилизацию, когда перед тобой столь восхи-

тительные вина и блюда, а ты сам того и гляди свалишься под стол? Запусти зубы в эту косулю с золочеными копытцами и рогами, но не кусай своей матери...

— Чем же я виноват, если католицизм доходит до того, что в один мешок сует тысячу богов, если Республика кончается всегда каким-нибудь Наполеоном, если границы королевской власти находятся где-то между убийством Генриха Четвертого и казнью Людовика Шестнадцатого, если либерализм становится Лафайетом[33]?

— А вы не обнимались с ним в июле?

— Нет.

— В таком случае молчите, скептик.

— Скептики — люди самые совестливые.

— У них нет совести.

— Что вы говорите! У них по меньшей мере две совести.

— Учесть векселя самого неба — вот идея поистине коммерческая!

Древние религии представляли собою не что

---

[33] Примечания: 33

Лафайет Мари-Жозеф(1757-1834) — французский политический деятель, снискавший популярность как участник освободительной войны американского народа; в 1789 году был избран в Генеральные штаты, но в дальнейшем, напуганный активностью народных масс, сблизился с контрреволюционными кругами и 17 июля 1791 года руководил расстрелом народной демонстрации. В 1830 году способствовал возведению на престол Луи-Филиппа.

иное, как удачное развитие наслаждения физического; мы, нынешние, мы развили душу и надежду — в том и прогресс.

— Ах, друзья мои, чего ждать от века, насыщенного политикой? — сказал Натан. — Каков был конец «Истории короля богемского и семи его замков»[34] — такой чудесной повести!

— Что? — через весь стол крикнул знаток. — Да ведь это набор фраз, высосанных из пальца, сочинение для сумасшедшего дома.

— Дурак!

— Болван!

— Ого!

— Ага!

— Они будут драться.

— Нет.

— До завтра, милостивый государь!

— Хоть сейчас, — сказал Натан.

— Ну, ну! Вы оба — храбрецы.

— Да вы-то не из храбрых! — сказал зачинщик, — Вот только они на ногах не держатся.

— Ах, может быть, мне и на самом деле не устоять! — сказал воинственный Натан, поднимаясь

---

[34] Примечания: 34

«История короля богемского и семи его замков» — произведение французского писателя-романтика первой половины XIX века Шарля Нодье.

нерешительно, как бумажный змей.

Он тупо поглядел на стол, а затем, точно обессиленный своей попыткой встать, рухнул на стул, опустил голову и умолк.

— Вот было бы весело драться из-за произведения, которое я никогда не читал и даже не видал! — обратился знаток к своему соседу.

— Эмиль, береги фрак, твой сосед побледнел, — сказал Бисиу.

— Кант? Еще один шар, надутый воздухом и пущенный на забаву глупцам!

Материализм и спиритуализм — это две отличные ракетки, которыми шарлатаны в мантиях отбивают один и тот же волан. Бог ли во всем, по Спинозе, или же все исходит от бога, по святому Павлу… Дурачье! Отворить или же затворить дверь — разве это не одно и то же движение! Яйцо от курицы, или курица от яйца? (Передайте мне утку!) Вот и вся наука.

— Простофиля! — крикнул ему ученый. — Твой вопрос разрешен фактом.

— Каким?

— Разве профессорские кафедры были придуманы для философии, а не философия для кафедр? Надень очки и ознакомься с бюджетом.

— Воры!

— Дураки!

— Плуты!

— Тупицы!

— Где, кроме Парижа, найдете вы столь живой, столь быстрый обмен мнениями? — воскликнул Бисиу, вдруг перейдя на баритон.

— А ну-ка, Бисиу, изобрази нам какой-нибудь классический фарс!

Какой-нибудь шарж, просим!

— Изобразить вам девятнадцатый век?

— Слушайте!

— Тише!

— Заткните глотки!

— Ты замолчишь, чучело?

— Дайте ему вина, и пусть молчит, мальчишка!

— Ну, Бисиу, начинай!

Художник застегнул свой черный фрак, надел желтые перчатки и, прищурив один глаз, состроил гримасу, изображая Ревю де Де Монд[35], но шум покрывал его голос, так что из его шутовской речи нельзя было уловить ни слова. Если не девятнадцатый век, так по крайней мере журнал ему удалось изобразить: и тот и другой не слыша-

---

[35] Примечания: 35

…изображая «Ревю де Де Монд» — редактор журнала «Ревю де Де Монд» Бюлоз был кривоглаз.

ли собственных слов.

Десерт был сервирован точно по волшебству. Весь стол занял большой прибор золоченой бронзы, вышедший из мастерской Томира. Высокие фигуры, которым знаменитый художник придал формы, почитаемые в Европе идеально красивыми, держали и несли на плечах целые горы клубники, ананасов, свежих фиников, янтарного винограда, золотистых персиков, апельсинов, прибывших на пароходе из Сетубаля, гранатов, плодов из Китая — словом, всяческие сюрпризы роскоши, чудеса кондитерского искусства, деликатесы самые лакомые, лакомства самые соблазнительные. Колорит гастрономических этих картин стал ярче от блеска фарфора, от искрящихся золотом каемок, от изгибов ваз.

Мох, нежный, как пенная бахрома океанской волны, зеленый и легкий, увенчивал фарфоровые копии пейзажей Пуссена. Целого немецкого княжества не хватило бы, чтобы оплатить эту наглую роскошь. Серебро, перламутр, золото, хрусталь в разных видах появлялись еще и еще, но затуманенные взоры гостей, на которых напала пьяная лихорадочная болтливость, почти не замечали этого волшебства, достойного восточной сказки. Десертные вина внесли сюда свои благоухания

и огоньки, свой остро волнующий сок и колдовские пары, порождая нечто вроде умственного миража, могучими путами сковывая ноги, отягеляя руки. Пирамиды плодов были расхищены, голоса грубели, шум возрастал. Слова звучали невнятно, бокалы разбивались вдребезги, дикий хохот взлетал как ракета. Кюрси схватил рог и протрубил сбор. То был как бы сигнал, поданный самим дьяволом. Обезумевшее сборище завыло, засвистало, запело, закричало, заревело, зарычало. Нельзя было не улыбнуться при виде веселых от природы людей, которые вдруг становились мрачны, как развязки в пьесах Кребильона, или же задумчивы, как моряки, путешествующие в карете. Хитрецы выбалтывали свои тайны любопытным, но даже те их не слушали. Меланхолики улыбались, как танцовщицы после пируэта. Клод Виньон стоял, раскачиваясь из стороны в сторону, точно медведь в клетке. Близкие друзья готовы были драться.

Сходство со зверями, физиологами начертанное на человеческих лицах и столь любопытно объясняемое, начинало проглядывать и в движениях и в позах.

Какой-нибудь Биша[36], очутись он здесь, спокойный и трезвый, нашел бы для себя готовую книгу. Хозяин дома, чувствуя, что он опьянел, не решался встать, стараясь сохранить вид приличный и радушный, он только одобрял выходки гостей застывшей на лице гримасой. Его широкое лицо побагровело, стало почти лиловым и страшным, голова принимала участие в общем движении, клонясь, как бриг при боковой качке.

— Вы их убили? — спросил его Эмиль.

— Говорят, смертная казнь будет отменена в честь Июльской революции, — отвечал Тайфер, подняв брови с видом одновременно хитрым и глупым.

— А не снится ли он вам? — допытывался Рафаэль.

— Срок давности уже истек! — сказал утопающий в золоте убийца.

— И на его гробнице, — язвительно вскричал Эмиль, — мраморщик вырежет: «Прохожий, в память о нем пролей слезу». О! — продолжал он. — Сто су заплатил бы я математику, который при помощи алгебраического уравнения доказал бы мне существование ада.

---

[36] Примечания: 36
Биша Франсуа (1771-1802) — французский ученый, врач-физиолог.

Подбросив монету, он крикнул:

— Орел — за бога!

— Не глядите! — сказал Рафаэль, подхватывая монету. — Как знать!

Случай — такой забавник!

— Увы! — продолжал Эмиль шутовским печальным тоном. — Куда ни ступишь, всюду геометрия безбожника или «Отче наш» его святейшества папы.

Впрочем, выпьем! Чокайся! — таков, думается мне, смысл прорицания божественной бутылки в конце «Пантагрюэля».

— Чему же, как не «Отче наш», — возразил Рафаэль, — обязаны мы нашими искусствами, памятниками, может быть, науками, и — еще большее благодеяние! — нашими современными правительствами, где пятьсот умов чудесным образом представляют обширное и плодоносное общество, причем противоположные силы одна другую нейтрализуют, а вся власть предоставлена цивилизации, гигантской королеве, заменившей короля, эту древнюю и ужасную фигуру, своего рода лжесудьбу, которую человек сделал посредником между небом и самим собою? Перед лицом стольких достижений атеизм кажется скелетом, который ничего решительно не порождает. Что

ты на это скажешь?

— Я думаю о потоках крови, пролитых католицизмом, — холодно ответил Эмиль. — Он проник в наши жилы, в наши сердца, — прямо всемирный потоп. Но что делать! Всякий мыслящий человек должен идти под стягом Христа. Только Христос освятил торжество духа над материей, он один открыл нам поэзию мира, служащего посредником между нами и богом.

— Ты думаешь? — спросил Рафаэль, улыбаясь пьяной и какой-то неопределенной улыбкой. — Ладно, чтобы нам себя не компрометировать, провозгласим знаменитый тост: Diis ignotis (Неведомым богам (лат.)).

И они осушили чаши — чаши науки, углекислого газа, благовоний, поэзии и неверия.

— Пожалуйте в гостиную, кофе подан, — объявил дворецкий.

В этот момент почти все гости блуждали в том сладостном преддверии рая, где свет разума гаснет, где тело, освободившись от своего тирана, предается на свободе бешеным радостям. Одни, достигнув апогея опьянения, хмурились, усиленно пытаясь ухватиться за мысль, которая удостоверила бы им собственное их существование; другие, осовевшие оттого, что пища у

них переваривалась с трудом, отвергали всякое движение. Отважные ораторы еще произносили неясные слова, смысл которых ускользал от них самих. Кое-какие припевы еще звучали, точно постукивала машина, по необходимости завершающая свое движение — это бездушное подобие жизни. Суматоха причудливо сочеталась с молчанием. Тем не менее, услыхав голос слуги, который вместо хозяина возвещал новые радости, гости направились в залу, увлекая и поддерживая друг друга, а кое-кого даже неся на руках. На мгновение толпа остановилась в дверях, неподвижная и очарованная. Все наслаждения пира побледнели перед тем возбуждающим зрелищем, которое предлагал амфитрион в утеху самых сладострастных из человеческих чувств. При свете горящих в золотой люстре свечей, вокруг стола, уставленного золоченым серебром, группа женщин внезапно предстала перед остолбеневшими гостями, у которых глаза заискрились, как бриллианты.

Богаты были уборы, но еще богаче — ослепительная женская красота, перед которой меркли все чудеса этого дворца. Страстные взоры дев, пленительных, как феи, сверкали ярче потоков света, зажигавшего отблески на штофных обоях,

на белизне мрамора и красивых выпуклостях бронзы. Сердца пламенели при виде развевающихся локонов и по-разному привлекательных, по-разному характерных поз. Глаза окидывали изумленным взглядом пеструю гирлянду цветов, вперемежку с сапфирами, рубинами и кораллами, цепь черных ожерелий на белоснежных шеях, легкие шарфы, колыхающиеся, как пламя маяка, горделивые тюрбаны, соблазнительно скромные туники… Этот сераль обольщал любые взоры, услаждал любые прихоти. Танцовщица, застывшая в очаровательной позе под волнистыми складками кашемира, казалась обнаженной. Там — прозрачный газ, здесь — переливающийся шелк скрывал или обнаруживал таинственные совершенства.

Узенькие ножки говорили о любви, уста безмолвствовали, свежие и алые. Юные девицы были такой тонкой подделкой под невинных, робких дев, что, казалось, даже прелестные их волосы дышат богомольной чистотою, а сами они — светлые видения, которые вот-вот развеются от одного дуновения. А там красавицы аристократки с надменным выражением лица, но в сущности вялые, в сущности хилые, тонкие, изящные, склоняли головы с таким видом, как

будто еще не все королевские милости были ими распроданы. Англичанка — белый и целомудренный воздушный образ, сошедший с облаков Оссиана[37], походила на ангела печали, на голос совести, бегущей от преступления. Парижанка, вся красота которой в ее неописуемой грации, гордая своим туалетом и умом, во всеоружии всемогущей своей слабости, гибкая и сильная, сирена бессердечная и бесстрастная, но умеющая искусственно создавать все богатство страсти и подделывать все оттенки нежности, — и она была на этом опасном собрании, где блистали также итальянки, с виду беспечные, дышащие счастьем, но никогда не теряющие рассудка, и пышные нормандки с великолепными формами, и черноволосые южанки с прекрасным разрезом глаз. Можно было подумать, что созванные Лебелем версальские красавицы, уже с утра приведя в готовность все свои приманки, явились сюда, словно толпа восточных рабынь, пробужденных голосом купца и готовых на заре исчезнуть. Застыдившись, они смущенно теснились вокруг стола, как пчелы, гудящие в улье. Боязливое их смятение, в котором был и укор и кокетство, —

[37] Примечания: 37

Оссиан — легендарный шотландский певец; под его именем поэт Макферсон издал в 1762 году сборник своих эпических поэм-песен.

все вместе представляло собой не то расчетливый соблазн, не то невольное проявление стыдливости. Быть может, чувство, никогда целиком не обнаруживаемое женщиной, повелевало им кутаться в плащ добродетели, чтобы придать больше очарования и остроты разгулу порока. И вот заговор Тайфера, казалось, был осужден на неудачу.

Необузданные мужчины вначале сразу покорились царственному могуществу, которым облечена женщина. Шепот восхищения пронесся, как нежнейшая музыка. В эту ночь любовь еще не сопутствовала их опьянению; вместо того чтобы предаться урагану страстей, гости, захваченные врасплох в минуту слабости, отдались утехам сладостного экстаза. Художники, послушные голосу поэзии, господствующей над ними всегда, принялись с наслаждением изучать изысканную красоту этих женщин во всех ее тончайших оттенках. Философ, пробужденный мыслью, которую, вероятно, породила выделяемая шампанским углекислота, вздрогнул, подумав о несчастьях, которые привели сюда этих женщин, некогда достойных, быть может, самого чистого поклонения. Каждая из них, вероятно, могла бы поведать кровавую драму. Почти

все они носили в себе адские муки, влачили за собой воспоминание о мужской неверности, о нарушенных обетах, о радостях, отнятых нуждой. Гости учтиво приблизились к ним, завязались разговоры, столь же разнообразные, как и характеры собеседников.

Образовались группы. Можно было подумать, что это гостиная в порядочном доме, где молодые девушки и дамы обычно предлагают гостям после обеда кофе, сахар и ликеры, облегчающие чревоугодникам тяжкий труд переваривания пищи.

Но вот кое-где послышался смех, гул разговоров усиливался, голоса стали громче. Оргия, недавно было укрощенная, грозила вновь пробудиться. Смены тишины и шума чем-то напоминали симфонию Бетховена.

Как только два друга сели на мягкий диван, к ним тотчас подошла высокая девушка, хорошо сложенная, с горделивой осанкой, с чертами лица довольно не правильными, но волнующими, полными страсти, действующими на воображение резкими своими контрастами. Черные пышные волосы, казалось, уже побывавшие в любовных боях, рассыпались легкими сладострастными кольцами по округлым плечам, невольно привлекавшим взгляд. Длинные темные локоны

наполовину закрывали величественную шею, по которой временами скользил свет, обрисовывая тонкие, изумительно красивые контуры. Матовую белизну лица оттеняли яркие, живые тона румянца. Глаза с длинными ресницами метали смелое пламя, искры любви. Алый рот, влажный и полуоткрытый, призывал к поцелую.

Стан у этой девушки был полный, но гибкий, как бы созданный для любви, грудь и плечи пышно развитые, как у красавиц Карраччи[38], тем не менее она производила впечатление проворной и легкой, ее сильное тело заставляло предполагать в ней подвижность пантеры, мужественное изящество форм сулило жгучие радости сладострастия. Хотя эта девушка умела, вероятно, смеяться и дурачиться, ее глаза и улыбка пугали воображение. Она напоминала пророчицу, одержимую демоном, она скорее изумляла, нежели нравилась. То одно, то другое выражение на секунду молнией озаряло подвижное ее лицо.

Пресыщенных людей она, быть может, обворожила бы, но юноша устрашился бы ее.

То была колоссальная статуя, упавшая с фронтона греческого храма, великолепная издали,

---

[38] Примечания: 38
Карраччи Аннибал (1560-1609) — итальянский художник.

но грубоватая при ближайшем рассмотрении. Тем не менее разительной своею красотой она, должно быть, возбуждала бессильных, голосом своим чаровала глухих, своим взглядом оживляла старые кости; вот почему Эмиль находил в ней какое-то сходство то ли с трагедией Шекспира, чудным арабеском, где радость поднимает вой, где в любви есть что-то дикое, где очарование изящества и пламя счастья сменяют кровавое бесчинство гнева; то ли с чудовищем, умеющим и кусать и ласкать, хохотать, как демон, плакать, как ангел, в едином объятии внезапно слить все женские соблазны, за исключением вздохов меланхолии и чарующей девичьей скромности, потом спустя мгновение взреветь, истерзать себя, сломить свою страсть, своего любовника, наконец, погубить самое себя, подобно возмущенному народу. Одетая в платье из красного бархата, она небрежно ступала по цветам, уже оброненным с головы ее подругами, и надменным движением протягивала двум друзьям серебряный поднос. Гордая своей красотой, гордая, быть может, своими пороками, она выставляла напоказ белую руку, ярко обрисовавшуюся на алом бархате. Она была как бы королевой наслаждений, как бы воплощением человеческой радости, той радо-

сти, что расточает сокровища, собранные тремя поколениями, смеется над трупами, издевается над предками, растворяет жемчуг и расплавляет троны, превращает юношей в старцев, а нередко и старцев в юношей, — той радости, которая дозволена только гигантам, уставшим от власти, утомленным мыслью или привыкшим смотреть на войну, как на забаву.

— Как тебя зовут? — спросил Рафаэль.

— Акилина.

— А! Ты из «Спасенной Венеции»[39]! — воскликнул Эмиль — Да, — отвечала она. — Как папа римский, возвысившись над всеми мужчинами, берет себе новое имя, так и я, превзойдя всех женщин, взяла себе новое имя.

— И как ту женщину, чье имя ты носишь, тебя любит благородный и грозный заговорщик, готовый умереть за тебя? — с живостью спросил Эмиль, возбужденный этой видимостью поэзии.

— Меня любил такой человек, — отвечала она. — Но гильотина стала моей соперницей. Поэтому я всегда отделываю свой наряд чем-нибудь красным, чтобы не слишком предаваться радости.

---

[39] Примечания: 39

«Спасенная Венеция» — трагедия английского драматурга Томаса Отвея (1652-1685).

— О, только разрешите ей рассказать историю четырех ларошельских смельчаков[40] — и она никогда не кончит! Молчи, Акилина. У каждой женщины найдется любовник, о котором можно поплакать, только не все имели счастье, как ты, потерять его на эшафоте. Ах, гораздо лучше знать, что мой любовник лежит в могиле на Кламарском кладбище, чем в постели соперницы.

Слова эти произнесла нежным и мелодичным голосом другая женщина, самое очаровательное, прелестное создание, которое когда-либо палочка феи могла извлечь из волшебного яйца. Она подошла неслышными шагами, и друзья увидели изящное личико, тонкую талию, голубые глаза, смотревшие пленительно-скромным взглядом, свежий и чистый лоб. Стыдливая наяда, вышедшая из ручья, не так робка, бела и наивна, как эта молоденькая, на вид шестнадцатилетняя, девушка, которой, казалось, неведома любовь, неведомо зло, которая еще не познала жизненных бурь, которая только что пришла из церкви, где она, вероятно, молила ангелов ходатайствовать перед творцом, чтобы он до

[40] Примечания: 40

Ларошельские смельчаки — Бори, Губен, Помье и Рау — четыре сержанта, служившие в Ла-Рошели; в 1822 году были казнены как участники революционного заговора.

срока призвал ее на небеса. Только в Париже встречаются эти создания с невинным взором, но скрывающие глубочайшую развращенность, утонченную порочность под чистым и нежным, как цветок маргаритки, челом. Обманутые вначале обещаниями небесной отрады, таящимися в тихой прелести этой молодой девушки, Эмиль и Рафаэль принялись ее расспрашивать, взяв кофе, налитый ею в чашки, которые принесла Акилина. Кончилось тем, что в глазах обоих поэтов она стала мрачной аллегорией, отразившей еще один лик человеческой жизни, — она противопоставила суровой и страстной выразительности облика горделивой своей подруги образ холодного, сладострастно жестокого порока, который достаточно легкомыслен, чтобы совершить преступление, и достаточно силен, чтобы посмеяться над ним, — своего рода бессердечного демона, который мстит богатым и нежным душам за то, что они испытывают чувства, недоступные для него, и который всегда готов продать свои любовные ужимки, пролить слезы на похоронах своей жертвы и порадоваться, читая вечерком ее завещание. Поэт мог бы залюбоваться прекрасной Акилиной, решительно все должны были бы бежать от трогательной Евфрасии: одна была

душою порока, другая — пороком без души.

— Желал бы я знать, думаешь ли ты когда-нибудь о будущем? — сказал Эмиль прелестному этому созданию.

— О будущем? — повторила она, смеясь. — Что вы называете будущим? К чему мне думать о том, что еще не существует? Я не заглядываю ни вперед, ни назад. Не достаточно ли большой труд — думать о нынешнем дне? А впрочем, мы наше будущее знаем: больница.

— Как можешь ты предвидеть больницу и не стараться ее избежать? — воскликнул Рафаэль.

— А что же такого страшного в больнице? — спросила грозная Акилина.

— Ведь мы не матери, не жены; старость подарит нам черные чулки на ноги и морщины на лоб; все, что есть в нас женского, увянет, радость во взоре наших друзей угаснет, — что же нам тогда будет нужно? От всех наших прелестей останется только застарелая грязь, и будет она ходить на двух лапах, холодная, сухая, гниющая, и шелестеть, как опавшие листья. Самые красивые наши тряпки станут отрепьем; от амбры, благоухавшей в нашем будуаре, повеет смертью, трупным духом; к тому же, если в этой грязи окажется сердце, то вы все над ним надругаетесь, — ведь вы не

позволяете нам даже хранить воспоминания. Таким, какими мы станем в ту пору, не все ли равно возиться со своими собачонками в богатом доме или разбирать тряпье в больнице? Будем ли мы прятать свои седые волосы под платком в красную и синюю клетку или под кружевами, подметать улицы березовым веником или тюильрийские ступеньки своим атласным шлейфом, будем ли сидеть у золоченого камина или греться у глиняного горшка с горячей золой, смотреть спектакль на Гревской площади или слушать в театре оперу, — велика, подумаешь, разница!

— Aquilina mia (Моя Акилина (итал.)), более чем когда-либо разделяю я твой мрачный взгляд на вещи, — подхватила Евфрасия. — Да, кашемир и веленевая бумага, духи, золото, шелк, роскошь — все, что блестит, все, что нравится, пристало только молодости. Одно лишь время справится с нашими безумствами, но счастье послужит нам оправданием. Вы смеетесь надо мною, — воскликнула она, ядовито улыбаясь обоим друзьям, — а разве я не права?

Лучше умереть от наслаждения, чем от болезни. Я не испытываю ни жажды вечности, ни особого уважения к человеческому роду, — стоит только посмотреть, что из него сделал бог! Дайте

мне миллионы, я их растранжирю, ни сантима не отложу на будущий год. Жить, чтобы нравиться и царить, — вот решение, подсказываемое мне каждым биением моего сердца. Общество меня одобряет, — разве оно не поставляет все в угоду моему мотовству? Зачем господь бог каждое утро дает мне доход с того, что я расходую вечером? Зачем вы строите для нас больницы? Не для того ведь бог поставил нас между добром и злом, чтобы выбирать то, что причиняет нам боль или наводит тоску, — значит, глупо было бы с моей стороны не позабавиться.

— А другие? — спросил Эмиль.

— Другие? Ну, это их дело! По-моему, лучше смеяться над их горестями, чем плакать над своими собственными. Пусть попробует мужчина причинить мне малейшую муку!

— Верно, ты много выстрадала, если у тебя такие мысли! — воскликнул Рафаэль.

— Меня покинули из-за наследства, вот что! — сказала Евфрасия, приняв позу, подчеркивающую всю соблазнительность ее тела. — А между тем я день и ночь работала, чтобы прокормить моего любовника! Не обманут меня больше ни улыбкой, ни обещаниями, я хочу, чтоб жизнь моя была сплошным праздником.

— Но разве счастье не в нас самих? — вскричал Рафаэль.

— А что же, по-вашему, — подхватила Акилина, — видеть, как тобой восхищаются, как тебе льстят, торжествовать над всеми женщинами, даже самыми добродетельными, затмевая их своей красотою, богатством, — это все пустяки?

К тому же за один день мы переживаем больше, нежели честная мещанка за десять лет. В этом все дело.

— Разве не отвратительна женщина, лишенная добродетели? — обратился Эмиль к Рафаэлю.

Евфрасия бросила на них взор ехидны и ответила с неподражаемой иронией:

— Добродетель! Предоставим ее уродам и горбуньям. Что им, бедняжкам, без нее делать?

— Замолчи! — вскричал Эмиль. — Не говори о том, чего ты не знаешь!

— Что? Это я-то не знаю? — возразила Евфрасия. — Отдаваться всю жизнь ненавистному существу, воспитывать детей, которые вас бросят, говорить им «спасибо», когда они ранят вас в сердце, — вот добродетели, которые вы предписываете женщине; и вдобавок, чтобы вознаградить ее за самоотречение, вы налагаете на нее бремя страданий, стараясь ее обольстить; если она

устоит, вы ее скомпрометируете. Веселая жизнь! Лучше уж не терять своей свободы, любить тех, кто нравится, и умереть молодой.

— А ты не боишься когда-нибудь за все это поплатиться?

— Что ж, — отвечала она, — вместо того чтобы мешать наслаждения с печалями, я поделю мою жизнь на две части: первая — молодость, несомненно веселая, и вторая — старость, думаю, что печальная, — тогда настрадаюсь вволю…

— Она не любила, — грудным своим голосом сказала Акилина. — Ей не случалось пройти сто миль только для того, чтобы вне себя от восторга получить в награду единый взор, а затем отказ; никогда жизнь ее не висела на волоске, никогда не была она готова заколоть несколько человек, чтобы спасти своего повелителя, своего господина, своего бога… Любовь для нее — красавец полковник.

— А, опять Ларошель! — возразила Евфрасия. — Любовь — как ветер: мы не знаем, откуда он дует. Да, наконец, если тебя любил скот, ты станешь опасаться и умных людей, — Уголовный кодекс запрещает нам любить скотов, — насмешливо проговорила величественная Акилина.

— Я думала, ты снисходительнее к военным! —

со смехом воскликнула Евфрасия.

— Ужели вы счастливы тем, что можете отречься от разума! — вскричал Рафаель.

— Счастливы? — переспросила Акилина, улыбаясь беспомощной, растерянной улыбкой и устремляя на обоих друзей отчаянный взгляд. — Ах, вы не знаете, что значит заставлять себя наслаждаться со смертью в душе…

Взглянуть в этот миг на гостиную — значило заранее увидеть нечто подобное Пандемониуму Мильтона[41]. Голубоватое пламя пунша окрасило лица тех, кто еще мог пить, в адские тона. Бешеные танцы, в которых находила себе выход первобытная сила, вызывали хохот и крики, раздававшиеся, как треск ракет. Будуар и малая гостиная походили на поле битвы, усеянное мертвыми и умирающими. Атмосфера была накалена вином, наслаждениями и речами. Опьянение, любовь, бред, самозабвение были в сердцах и на лицах, были начертаны на коврах, чувствовались в воцарившемся беспорядке, и на все взоры набросили они легкую пелену, сквозь которую воздух казался насыщенным опьяняющими парами. Вокруг, как блестящая пыль, трепещущая

[41] Примечания: 41

Пандемониум Мильтона — обиталище духов зла-демонов в поэме английского поэта Мильтона (1608-1674) «Потерянный рай».

в солнечном луче, дрожала светлая мгла, и в ней шла игра самых затейливых форм, происходили самые причудливые столкновения. Там и сям группы сплетенных в объятии тел сливались с белыми мраморными статуями, с благородными шедеврами скульптуры, украшавшими комнаты. Оба друга еще сохраняли в мыслях своих и чувствах некую обманчивую ясность, последний трепет, несовершенное подобие жизни, но уже не могли различить, было ли что-нибудь реальное в тех странных фантазиях, что-нибудь правдоподобное в тех сверхъестественных картинах, которые беспрерывно проходили перед утомленными их глазами. Душное небо наших мечтаний, жгучая нежность, облекающая дымкой образы наших сновидений и чем-то скованная подвижность — словом, самые необычайные явления сна с такою живостью охватили их, что забавы кутежа они приняли за причуды кошмара, где движения бесшумны, а крики не доходят до слуха. В это время лакею, пользовавшемуся особым доверием Тайфера, удалось, не без труда, вызвать его в прихожую, а там он сказал хозяину на ухо:

— Сударь, все соседи смотрят в окна и жалуются на шум.

— Если они боятся шума, пусть положат соломы

перед дверями! — воскликнул Тайфер.

Рафаэль между тем так неожиданно и неуместно расхохотался, что друг спросил его о причине этого дикого восторга.

— Тебе трудно будет понять меня, — отвечал тот. — Прежде всего следовало бы признаться, что вы остановили меня на набережной Вольтера в тот момент, когда я собирался броситься в Сену, — и ты, конечно, захочешь узнать, что именно толкало меня на самоубийство. Но много ли ты поймешь, если я добавлю, что незадолго до того почти сказочной игрою случая самые поэтические руины материального мира сосредоточились перед моим взором в символических картинах человеческой мудрости, меж тем как сейчас остатки всех духовных ценностей, разграбленных нами за столом, сводятся к этим двум женщинам, живым и оригинальным образам безумия, а наша полная беспечность относительно людей и вещей послужила переходом к чрезвычайно ярким аллегориям двух систем бытия, диаметрально противоположных? Если бы ты не был пьян, может быть, ты признал бы, что это целый философский трактат.

— Если б ты не положил обе ноги на обворожительную Акилину, храп которой имеет что-то

общее с раскатами надвигающегося грома, ты покраснел бы и за свой хмель и за свою болтовню, — заметил Эмиль, который забавлялся тем, что завивал и развивал волосы Евфрасии, отдавая себе не слишком ясный отчет в этом невинном занятии. — Твои две системы могут уместиться в одной фразе и сводятся к одной мысли. Жизнь простая и механическая, притупляя наш разум трудом, приводит к некоей бездумной мудрости, тогда как жизнь, проходящая в пустоте абстракций или же в безднах мира нравственного, доводит до мудрости безумной. Словом, убить в себе чувства и дожить до старости или же умереть юным, приняв муку страстей, — вот наша участь. Должен, однако, заметить, что этот приговор вступает в борьбу с темпераментами, коими наделил нас жестокий шутник, заготовивший модели всех созданий.

— Глупец! — прервал его Рафаэль. — Попробуй и дальше так себя сокращать — и ты создашь целые тома! Если бы я намеревался точно формулировать эти две идеи, я сказал бы, что человек развращается, упражняя свой разум, и очищается невежеством. Это значит бросить обвинение обществу!

Но живи мы с мудрецами, погибай мы с безум-

цами, — не один ли, рано или поздно, будет результат? Потому-то великий извлекатель квинтэссенции и выразил некогда эти две системы в двух словах — «Каримари, Каримара!»[42] — Ты заставляешь меня усомниться во всемогуществе бога, ибо твоя глупость превышает его могущество, — возразил Эмиль. — Наш дорогой Рабле выразил эту философию изречением, более кратким, чем «Каримари, Каримара», — словами: «Быть может», откуда Монтэнь взял свое «Почем я знаю?»Эти последние слова науки нравственной не сводятся ли к восклицанию Пиррона[43], который остановился между добром и злом, как Буриданов осел[44] между двумя мерами овса? Оставим этот вечный спор, который и теперь кончается словами: «И да и нет». Что за опыт хотел ты проделать, намереваясь броситься в Сену? Уж не позавидовал ли ты гидравлической

42] Примечания: 42

Каримари, Каримара! восклицание Рабле (см. «Гаргантюа и Пантагрюэль», книга I, гл. 17).

[43] Примечания: 43

Пиррон — древнегреческий философ-скептик (ок. 360-270 гг. до н. э.).

[44] Примечания: 44

Буриданов осел — Буридан, французский ученый-схоласт XIV века, доказывая невозможность свободы воли, будто бы приводил в пример осла, умершего с голоду между двумя мерами овса равной величины, одинаково привлекавшими его. Образ этот стал нарицательным для обозначения нерешительного, колеблющегося человека.

машине у моста Нотр-Дам?

— Ах, если бы ты знал мою жизнь!

— Ах! — воскликнул Эмиль. — Я не думал, что ты так вульгарен. Ведь это избитая фраза. Разве ты не знаешь, что каждый притязает на то, что он страдал больше других?

— Ах! — вздохнул Рафаэль.

— Твое «ах» просто шутовство! Ну, скажи мне: душевная или телесная болезнь принуждает тебя каждое утро напрягать свои мускулы и, как некогда Дамьен[45], сдерживать коней, которые вечером раздерут тебя на четыре части? Или ты у себя в мансарде ел, да еще без соли, сырое собачье мясо? Или дети твои кричали: «Есть хотим»? Может быть, ты продал волосы своей любовницы и побежал в игорный дом? Или ты ходил по ложному адресу уплатить по фальшивому векселю, трассированному мнимым дядюшкой, и притом боялся опоздать?.. Ну, говори же! Если ты хотел броситься в воду из-за женщины, из-за опротестованного векселя или от скуки, я отрекаюсь от тебя.

---

[45] Примечания: 45

Дамьен Робер-Франсуа — в 1757 году был четвертован за покушение на Людовика XV. По рассказам очевидцев, во время казни сдерживал четырех коней до тех пор, пока палачи не перерезали ему сухожилия на руках и ногах.

Говори начистоту, не лги; исторических мемуаров я от тебя не требую.

Главное, будь краток, насколько позволит тебе хмель; я требователен, как читатель, и меня одолевает сон, как женщину вечером за молитвенником — Дурачок! — сказал Рафаэль. — С каких это пор страдания не порождаются самой нашей чувствительностью? Когда мы достигнем такой ступени научного знания, что сможем написать естественную историю сердец, установить их номенклатуру, классифицировать их по родам, видам и семействам, разделить их на ракообразных, ископаемых, ящеричных, простейших… еще там каких-нибудь, — тогда, милый друг, будет доказано, что существуют сердца нежные, хрупкие, как цветы, и что они ломаются от легкого прикосновения, которого даже не почувствуют иные сердца-минералы…

— О, ради бога, избавь меня от предисловий! — взяв Рафаэля за руку, шутливым и вместе жалобным тоном сказал Эмиль.

II. ЖЕНЩИНА БЕЗ СЕРДЦА

Рафаэль немного помолчал, затем, беззаботно махнув рукою, начал:

— Не знаю, право, приписать ли парам вина и пунша то, что я с такой ясностью могу в эту минуту охватить всю мою жизнь, словно единую картину с верно переданными фигурами, красками, тенями, светом и полутенью. Эта поэтическая игра моего воображения не удивляла бы меня, если бы она не сопровождалась своего рода презрением к моим былым страданиям и радостям. Я как будто гляжу на свою жизнь издали, и, под действием какого-то духовного феномена, она предстает передо мною в сокращенном виде. Та долгая и медленная мука, что длилась десять лет, теперь может быть передана несколькими фразами, в которых сама скорбь станет только мыслью, а наслаждение — философской рефлексией. Я высказываю суждения, вместо того чтобы чувствовать…

— Ты говоришь так скучно, точно предлагаешь пространную поправку к закону! — воскликнул Эмиль.

— Возможно, — безропотно согласился Рафаэль. — Потому-то, чтобы не утомлять твоего слуха, я не стану рассказывать о первых семнадцати годах моей жизни. До тех пор я жил — как и ты и как тысячи других — школьной или же лицейской жизнью, полной выдуманных несчастий и подлинных радостей, которые составляют прелесть наших воспоминаний. Право, по тем овощам, которые нам тогда подавали каждую пятницу, мы, пресыщенные гастрономы, тоскуем так, словно с тех пор и не пробовали никаких овощей. Прекрасная жизнь, — на ее трудности мы смотрим теперь свысока, а между тем они-то и приучили нас к труду…

— Идиллия!.. Переходи к драме, — комически-жалобным тоном сказал Эмиль.

— Когда я окончил коллеж, — продолжал Рафаэль, жестом требуя не прерывать его, — мой отец подчинил меня суровой дисциплине. Он поместил меня в комнате рядом со своим кабинетом; по его требованию я ложился в девять вечера, вставал в пять утра; он хотел, чтобы я добросовестно занимался правом; я ходил на лекции и к адвокату; однако законы времени и пространства столь сурово регулировали мои прогулки и занятия, а мой отец за обедом требовал от меня

отчета столь строго, что…

— Какое мне до этого дело? — прервал его Эмиль.

— А, черт тебя возьми! — воскликнул Рафаэль. — Разве ты поймешь мои чувства, если я не расскажу тебе о тех будничных явлениях, которые повлияли на мою душу, сделали меня робким, так что я долго потом не мог отрешиться от юношеской наивности? Итак, до двадцати одного года я жил под гнетом деспотизма столь же холодного, как монастырский устав. Чтобы тебе стало ясно, до чего невесела была моя жизнь, достаточно будет, пожалуй, описать моего отца. Высокий, худой, иссохший, бледный, с лицом узким, как лезвие ножа, он говорил отрывисто, был сварлив, как старая дева, придирчив, как столоначальник. Над моими шаловливыми и веселыми мыслями всегда тяготела отцовская воля, покрывала их как бы свинцовым куполом; если я хотел выказать ему мягкое и нежное чувство, он обращался со мной, как с ребенком, который сейчас скажет глупость; я боялся его гораздо больше, чем, бывало, боялись мы наших учителей; я чувствовал себя в его присутствии восьмилетним мальчиком.

Как сейчас вижу его перед собой. В сюртуке

каштанового цвета, прямой, как пасхальная свеча, он был похож на копченую селедку, которую завернули в красноватую обложку от какого-нибудь памфлета. И все-таки я любил отца; в сущности, он был справедлив. Строгость, когда она оправдана сильным характером воспитателя, его безупречным поведением и когда она искусно сочетается с добротой, вряд ли способна вызвать в нас злобу. Отец никогда не выпускал меня из виду, до двадцатилетнего возраста он не предоставил в мое распоряжение и десяти франков, десяти канальских, беспутных франков, этого бесценного сокровища, о котором я мечтал безнадежно, как об источнике несказанных утех, — и все же отец старался доставить мне кое-какие развлечения. Несколько месяцев подряд он кормил меня обещаниями, а затем водил в Итальянский театр, в концерт, на бал, где я надеялся встретить возлюбленную. Возлюбленная! Это было для меня то же, что самостоятельность.

Но, застенчивый и робкий, не зная салонного языка, не имея знакомств, я всякий раз возвращался домой с сердцем, все еще не тронутым и все так же обуреваемым желаниями. А на следующий день, взнузданный отцом, как кавалерийский конь, я возвращался к своему ад-

вокату, к изучению права, в суд. Пожелать сойти с однообразной дороги, предначертанной отцом, значило навлечь на себя его гнев; он грозил при первом же проступке отправить меня юнгой на Антильские острова. И как же я трепетал, иной раз осмеливаясь отлучиться на часок-другой ради какого-нибудь увеселения! Представь себе воображение самое причудливое. сердце влюбчивое, душу нежнейшую и ум самый поэтический беспрерывно под надзором человека, твердокаменного, самого желчного и холодного человека в мире, — словом, молодую девушку обвенчай со скелетом — и ты постигнешь эту жизнь, любопытные моменты которой я могу только перечислить; планы бегства, исчезавшие при виде отца, отчаяние, успокаиваемое сном, подавленные желания, мрачная меланхолия, рассеиваемая музыкой. Я изливал свое горе в мелодиях. Моими верными наперсниками часто бывали Бетховен и Моцарт. Теперь я улыбаюсь, вспоминая о предрассудках, которые смущали мою совесть в ту невинную и добродетельную пору. Переступи я порог ресторана, я почел бы себя расточителем; мое воображение превращало для меня кофейни в притон развратников, в вертеп, где люди губят свою честь и закладывают

все свое состояние; а что касается азартной игры, то для этого нужны были деньги. О, быть может, я нагоню на тебя сон, но я должен рассказать тебе об одной из ужаснейших радостей моей жизни, о хищной радости, впивающейся в наше сердце, как раскаленное железо в плечо преступника! Я был на балу у герцога де Наваррена, родственника моего отца.

Но чтобы ты мог ясно представить себе мое положение, я должен сказать, что на мне был потертый фрак, скверно сшитые туфли, кучерской галстук и поношенные перчатки. Я забился в угол, чтобы вволю полакомиться мороженым и насмотреться на хорошеньких женщин. Отец заметил меня. По причине, которой я так и не угадал — до того поразил меня этот акт доверия, — он отдал мне на хранение свой кошелек и ключи. В десяти шагах от меня шла игра в карты. Я слышал, как позвякивало золото. Мне было двадцать лет, мне хотелось хоть на один день предаться прегрешениям, свойственным моему возрасту. То было умственное распутство, подобия которому не найдешь ни в прихотях куртизанок, ни в сновидениях девушек. Уже около года я мечтал, что вот я, хорошо одетый, сижу в экипаже рядом с красивой женщиной, разыгрываю роль знатного

господина, обедаю у Вэри, а вечером еду в театр и возвращаюсь домой только на следующий день, придумав для отца историю более запутанную, чем интрига «Женитьбы Фигаро», — и он так ничего и не поймет в моих объяснениях. Все это счастье я оценивал в пятьдесят экю. Не находился ли я все еще под наивным обаянием пропущенных уроков в школе? И вот я вошел в будуар, где никого не было, глаза у меня горели, дрожащими пальцами я украдкой пересчитал деньги моего отца: сто экю! Все преступные соблазны, воскрешенные этой суммой, заплясали предо мною, как макбетовские ведьмы вокруг котла, но только обольстительные, трепетные, чудные! Я решился на мошенничество. Не слушая, как зазвенело у меня в ушах, как бешено заколотилось сердце, я взял две двадцатифранковые монеты, — я вижу их как сейчас! На них кривилось изображение Бонапарта, а год уже стерся. Положив кошелек в карман, я подошел к игорному столу и, зажав в потной руке две золотые монеты, стал кружить около игроков, как ястреб над курятником. Чувствуя себя во власти невыразимой тоски, я окинул всех пронзительным и быстрым взглядом.

Убедившись, что никто из знакомых меня не видит, я присоединил свои деньги к ставке ни-

зенького веселого толстяка и произнес над его головой столько молитв и обетов, что их хватило бы на три морских бури. Затем, движимый инстинктом преступности или же макиавеллизма, удивительным в мои годы, я стал у двери, устремив невидящий взгляд сквозь анфиладу зал. Моя душа и мой взор витали вокруг рокового зеленого сукна. В тот вечер я проделал первый опыт в области физиологических наблюдений, которым я обязан чем-то вроде ясновидения, позволившего мне постигнуть некоторые тайны двойственной нашей натуры. Я повернулся спиной к столу, где решалось мое будущее счастье — счастье тем более, может быть, полное, что оно было преступным; от двух понтирующих игроков меня отделяла людская стена — четыре или пять рядов зрителей; гул голосов мешал мне различить звон золота, сливавшийся со звуками музыки; но, несмотря на все эти препятствия, пользуясь той привилегией страстей, которая наделяет их способностью преодолевать пространство и время, я ясно слышал слова обоих игроков, знал, сколько у каждого очков, понимал расчет того игрока, который открыл короля, и как будто видел его карты; словом, в десяти шагах от карточного стола я бледнел от случайностей игры. Вдруг мимо

меня прошел отец, и тут я понял слова писания:

«Дух господень прошел пред лицом его». Я выиграл.

Сквозь толпу, наседавшую на игроков, я протиснулся к столу с ловкостью угря, выскальзывающего из сети через прорванную петлю. Мучительное чувство сменилось восторгом. Я был похож на осужденного, который, уже идя на казнь, получил помилование. Случилось, однако же, что какой-то господин с орденом потребовал недостающие сорок франков. Все взоры подозрительно уставились на меня, — я побледнел, капли пота выступили у меня на лбу. Мне казалось, я получил возмездие за кражу отцовских денег. Но тут добрый толстяк сказал голосом поистине ангельским: «Все поставили» — и заплатил сорок франков. Я поднял голову и бросил на игроков торжествующий взгляд. Положив в кошелек отца взятую оттуда сумму, я предоставил свой выигрыш этому порядочному и честному человеку, и тот продолжал выигрывать. Как только я стал обладателем ста шестидесяти франков, я завернул их в носовой платок, так, чтобы они не звякнули дорогой, и больше уже не играл.

— Что ты делал у игорного стола? — спросил отец, садясь в фиакр.

— Смотрел, — с дрожью отвечал я.

— А между тем, — продолжал отец, — не было бы ничего удивительного, если бы самолюбие толкнуло тебя сколько-нибудь поставить. В глазах людей светских ты в таком возрасте, что вправе уже делать глупости. Да, Рафаэль, я извинил бы тебя, если бы ты воспользовался моим кошельком…

Я промолчал. Дома я подал отцу ключи и деньги. Пройдя к себе, он высыпал содержимое кошелька на камин, пересчитал золото, обернулся ко мне с видом довольно благосклонным и заговорил, делая после каждой фразы более или менее долгую и многозначительную паузу:

— Сын мой, тебе скоро двадцать лет. Я тобой доволен. Тебе нужно назначить содержание, хотя бы для того, чтобы ты научился быть бережливым и разбираться в житейских делах. Я буду тебе выдавать сто франков в месяц.

Располагай ими по своему усмотрению. Вот тебе за первые три месяца, — добавил он, поглаживая столбик золота, как бы для того, чтобы проверить сумму.

Признаюсь, я готов был броситься к его ногам, объявить ему, что я разбойник, негодяй и, еще того хуже, — лжец! Меня удержал стыд. Я хотел

обнять отца, он мягко отстранил меня.

— Теперь ты мужчина, дитя мое, — сказал он. — Решение мое просто и справедливо, и тебе не за что благодарить меня. Если я имею право на твою признательность, Рафаэль, — продолжал он тоном мягким, но исполненным достоинства, — так это за то, что я уберег твою молодость от несчастий, которые губят молодых людей в Париже. Отныне мы будем друзьями. Через год ты станешь доктором прав. Ценою некоторых лишений, не без внутренней борьбы ты приобрел основательные познания и любовь к труду, столь необходимые людям, призванным вести дела. Постарайся, Рафаэль, понять меня. Я хочу сделать из тебя не адвоката, не нотариуса, но государственного мужа, который составил бы гордость бедного нашего рода… До завтра! — добавил он, отпуская меня движением, полным таинственности.

С этого дня отец стал откровенно делиться со мной своими планами. Я был его единственным сыном, мать моя умерла за десять лет до того. Не слишком дорожа своим правом — со шпагой на боку обрабатывать землю, — мой отец, глава исторического рода, почти уже забытого в Оверни, некогда прибыл в Париж попытать счастья. Одаренный тонким умом, благодаря которому

уроженцы юга Франции становятся людьми выдающимися, если только ум соединяется у них с энергией, он, без особой поддержки, занял довольно важный пост. Революция вскоре расстроила его состояние, но он успел жениться на девушке с богатым приданым и во времена Империи достиг того, что род наш приобрел свой прежний блеск. Реставрация вернула моей матери значительную долю ее имущества, но разорила моего отца. Скупив в свое время земли, находившиеся за границей, которые император подарил своим генералам, он уже десять лет боролся с ликвидаторами и дипломатами, с судами прусскими и баварскими, добиваясь признания своих прав на эти злополучные владения. Отец бросил меня в безвыходный лабиринт этого затянувшегося процесса, от которого зависело наше будущее. Суд мог взыскать с нас сумму полученных нами доходов, мог присудить нас и к уплате за порубки, произведенные с 1814 по 1817 год, — в этом случае имений моей матери едва хватило бы на то, чтобы спасти честь нашего имени. Итак, в тот день, когда отец, казалось, даровал мне в некотором смысле свободу, я очутился под самым нестерпимым ярмом. Я должен был сражаться, как на поле битвы, работать день и ночь, посещать го-

сударственных деятелей, стараться усыпить их совесть, пытаться заинтересовать их материально в нашем деле, прельщать их самих, их жен, их слуг, их псов и, занимаясь этим отвратительным ремеслом, облекать все в изящную форму, сопровождать милыми шутками. Я постиг все горести, от которых поблекло лицо моего отца. Около года я вел по видимости светский образ жизни, но старания завязать связи с преуспевающими родственниками или с людьми, которые могли быть нам полезны, рассеянная жизнь — все это стоило мне нескончаемых хлопот. Мои развлечения в сущности были все теми же тяжбами, а беседы — докладными записками. До тех пор я был добродетелен в силу невозможности предаться страстям молодости, но с этого времени, боясь какою-нибудь оплошностью разорить отца или же самого себя, я стал собственным своим деспотом, я не позволял себе никаких удовольствий, никаких лишних расходов.

Пока мы молоды, пока, соприкасаясь с нами, люди и обстоятельства еще не похитили у нас нежный цветок чувства, свежесть мысли, благородную чистоту совести, не позволяющую нам вступать в сделки со злом, мы отчетливо сознаем наш долг, честь говорит в нас громко и заставляет

себя слушать, мы откровенны и не прибегаем к уловкам, — таким я и был тогда. Я решил оправдать доверие отца; когда-то я с восторгом похитил у него ничтожную сумму, но теперь, неся вместе с ним бремя его дел, его имени, его рода, я тайком отдал бы ему мое имущество, мои надежды, как жертвовал для него своими наслаждениями, — и был бы даже счастлив, принося эти жертвы! И вот, когда господин де Виллель[46], будто нарочно для нас, откопал императорский декрет о потере прав и разорил нас, я подписал акт о продаже моих земель, оставив себе только не имеющий ценности остров на Луаре, где находилась могила моей матери. Сейчас, быть может, у меня не оказалось бы недостатка в аргументах и уловках, в рассуждениях философических, филантропических и политических, которые удержали бы меня от того, что мой поверенный называл глупостью; но в двадцать один год, повторяю, мы — воплощенное великодушие, воплощенная пылкость, воплощенная любовь. Слезы, которые я увидел на глазах у отца, были для меня тогда прекраснейшим из богатств, и воспоминание об этих слезах часто служило мне утешением в

[46] Примечания: 46

Виллель — председатель совета министров во Франции в 20-х годах XIX века, ставленник ультрароялистов.

нищете. Через десять месяцев после расплаты с кредиторами мой отец умер от горя: он обожал меня — и разорил! Мысль об этом убила его. В 1826 году, в конце осени, я, двадцати двух лет от роду, совершенно один провожал гроб моего первого друга — моего отца. Не много найдется молодых людей, которые так бы шли за похоронными дрогами — оставшись одинокими со своими мыслями, затерянные в Париже, без средств, без будущего. У сирот, подобранных общественною благотворительностью, есть по крайней мере такое будущее, как поле битвы, такой отец, как правительство или же королевский прокурор, такое убежище, как приют. У меня не было ничего! Через три месяца оценщик вручил мне тысячу сто двенадцать франков — все, что осталось от ликвидации отцовского наследства. Кредиторы принудили меня продать нашу обстановку.

Привыкнув с юности высоко ценить окружавшие меня предметы роскоши, я не мог не выразить удивления при виде столь скудного остатка.

— Да уж очень все это было рококо! — сказал оценщик.

Ужасные слова, от которых поблекли все верования моего детства и рассеялись первые,

самые дорогие из моих иллюзий. Мое состояние заключалось в описи проданного имущества, мое будущее лежало в полотняном мешочке, содержавшем в себе тысячу сто двенадцать франков; единственным представителем общества являлся для меня оценщик, который разговаривал со мной, не снимая шляпы… Обожавший меня слуга Ионафан, которому моя мать обеспечила когда-то пожизненную пенсию в четыреста франков, сказал мне, покидая дом, откуда ребенком я не раз весело выезжал в карете:

— Будьте как можно бережливее, сударь. Он плакал, славный старик!

Таковы, милый мой Эмиль, события, которые сломали мою судьбу, на иной лад настроили мою душу и поставили меня, еще юношу, в крайне ложное социальное положение, — немного помолчав, заговорил Рафаэль. — Узами родства, впрочем слабыми, я был связан с несколькими богатыми домами, куда меня не пустила бы моя гордость, если бы еще раньше людское презрение и равнодушие не захлопнули перед моим носом дверей. Хотя родственники мои были особы весьма влиятельные и охотно покровительствовали чужим, я остался без родных и без покровителей. Беспрестанно наталкиваясь на

преграды в своем стремлении излиться, душа моя, наконец, замкнулась в себе. Откровенный и непосредственный, я поневоле стал холодным и скрытным; деспотизм отца лишил меня всякой веры в себя; я был робок и неловок, мне казалось, что во мне нет ни малейшей привлекательности, я был сам себе противен, считал себя уродом, стыдился своего взгляда. Вопреки тому внутреннему голосу, который, вероятно, поддерживает даровитых людей в их борениях и который кричал мне: «Смелей!

Вперед! «; вопреки внезапному ощущению силы, которую я иногда испытывал в одиночестве, вопреки надежде, окрылявшей меня, когда я сравнивал сочинения новых авторов, восторженно встреченных публикой, с теми, что рисовались в моем воображении, — я, как ребенок, был не уверен в себе. Я был жертвою чрезмерного честолюбия, я полагал, что рожден для великих дел, — и прозябал в ничтожестве. Я ощущал потребность в людях — и не имел друзей. Я должен был пробить себе дорогу в свете — и томился в одиночестве, скорее из чувства стыда, нежели страха. В тот год, когда отец бросил меня в вихрь большого света, я принес туда нетронутое сердце, свежую душу. Как все взрослые дети, я

тайно вздыхал о прекрасной любви. Среди моих сверстников я встретил кружок фанфаронов, которые ходили задрав нос, болтали о пустяках, безбоязненно подсаживались к тем женщинам, что казались мне особенно недоступными, всем говорили дерзости, покусывая набалдашник трости, кривлялись, поносили самых хорошеньких женщин, уверяли, правдиво или лживо, что им доступна любая постель, напускали на себя такой вид, как будто они пресыщены наслаждениями и сами от них отказываются, смотрели на женщин самых добродетельных и стыдливых как на легкую добычу, готовую отдаться с первого же слова, при мало-мальски смелом натиске, в ответ на первый бесстыдный взгляд! Говорю тебе по чистой совести и положа руку на сердце, что завоевать власть или крупное литературное имя представлялось мне победой менее трудной, чем иметь успех у женщины из высшего света, молодой, умной и изящной. Словом, сердечная моя тревога, мои чувства, мои идеалы не согласовывались с правилами светского общества. Я был смел, но в душе, а не в обхождении. Позже я узнал, что женщины не любят, когда у них вымаливают взаимность; многих обожал я издали, ради них я пошел бы на любое испытание, от-

дал бы свою душу на любую муку, отдал бы все свои силы, не боясь ни жертв, ни страданий, а они избирали любовниками дураков, которых я не взял бы в швейцары. Сколько раз, немой и неподвижный, любовался я женщиной моих мечтаний, появлявшейся на балу; мысленно посвящая свою жизнь вечным ласкам, я в едином взоре выражал все свои надежды, предлагал ей в экстазе юношескую свою любовь, стремившуюся навстречу обманам. В иные минуты я жизнь свою отдал бы за одну ночь. И что же? Не находя ушей, готовых выслушать страстные мои признания, взоров, в которые я мог бы погрузить свои взоры, сердца, бьющегося в ответ моему сердцу, я, то ли по недостатку смелости, то ли потому, что не представлялось случая, то ли по своей неопытности, испытывал все муки бессильной энергии, пожиравшей самое себя. Быть может, я потерял надежду, что меня поймут, или боялся, что меня слишком хорошо поймут. А между тем в душе у меня поднималась буря при первом же любезном взгляде, обращенном на меня. Несмотря на свою готовность сразу же истолковать этот взгляд или слова, по видимости благосклонные, как зов нежности, я то не осмеливался заговорить, то не умел вовремя умолкнуть. От избытка глу-

бокого чувства я говорил ничего не значащие слова и даже молчание мое становилось глупым. Разумеется, я был слишком наивен для того искусственного общества, где люди живут напоказ, выражают свои мысли условными фразами или же словами, продиктованными модой. К тому же я совсем неспособен был к ничего не говорящему красноречию и красноречивому молчанию. Словом, хотя во мне кипели страсти, хотя я и обладал именно такой душой, встретить которую обычно мечтают женщины, хотя я находился в экзальтации, которой они так жаждут, и полон был той энергии, которой хвалятся глупцы, — все женщины были со мной предательски жестоки. Вот почему я наивно восхищался всеми, кто в дружеской беседе трубил о своих победах, и не подозревал их во лжи.

Конечно, я был не прав, ожидая столкнуться в этом кругу с искренним чувством, желая найти сильную и глубокую страсть в сердце женщины легкомысленной и пустой, жадной до роскоши и опьяненной светской суетой — найти ту безбрежную страсть, тот океан, волны которого бушевали в моем сердце. О, чувствовать, что ты рожден для любви, что можешь составить счастье женщины, и никого не найти, даже смелой и

благородной Марселины[47], даже какой-нибудь старой маркизы! Нести в котомке сокровища и не встретить ребенка, любопытной девушки, которая полюбовалась бы ими! В отчаянии я не раз хотел покончить с собой.

— Ну и трагичный выдался вечер! — заметил Эмиль.

— Ах, не мешай мне вершить суд над моей жизнью! — воскликнул Рафаэль.

— Если ты не в силах из дружбы ко мне слушать мои элегии, если ты не можешь ради меня поскучать полчаса, тогда спи! Но в таком случае не спрашивай меня о моем самоубийстве, а оно ропщет, витает передо мною, зовет меня, и я приветствую его. Чтобы судить о человеке, надо по крайней мере проникнуть в тайники его мыслей, страданий, волнений. Проявлять интерес только к внешним событиям его жизни — это все равно, что составлять хронологические таблицы, писать историю на потребу и во вкусе глупцов.

Горечь, звучавшая в тоне Рафаэля, поразила Эмиля, и, уставив на него изумленный взгляд, он весь превратился в слух.

— Но теперь, — продолжал рассказчик, — все

---

[47] Примечания: 47

Марселина — мать Фигаро, персонаж из комедии Бомарше «Женитьба Фигаро».

эти события выступают в ином свете. Пожалуй, тот порядок вещей, прежде казавшийся мне несчастьем, и развил во мне прекрасные способности, которыми впоследствии я гордился.

Разве не философской любознательности и чрезвычайной трудоспособности, любви к чтению — всему, что с семилетнего возраста вплоть до первого выезда в свет наполняло мою жизнь, — обязан я тем, что так легко, если верить вам, умею выражать свои идеи и идти вперед по обширному полю человеческого знания? Не одиночество ли, на которое я был обречен, не привычка ли подавлять своя чувства и жить внутреннею жизнью наделили меня умением сравнивать и размышлять? Моя чувствительность, затерявшись в волнениях света, которые принижают даже прекраснейшую душу и делают из нее какую-то тряпку, ушла в себя настолько, что стала совершенным органом воли, более возвышенной, чем жажда страсти? Не признанный женщинами, я, помню, наблюдал их с проницательностью отвергнутой любви. Теперь-то я понимаю, что моя бесхитростность не могла их привлекать! Вероятно, женщинам даже нравится в нас некоторое притворство. В течение одного часа я могу быть мужчиной и ребенком, ничто-

жеством и мыслителем, могу быть свободным от предрассудков и полным суеверий, часто я бываю не менее женственным, чем сами женщины, — а коли так, то не было ли у них оснований принимать мою наивность за цинизм и самую чистоту моих мыслей за развращенность? Мои знания в их глазах были скукой, женственная томность — слабостью. Чрезвычайная живость моего воображения, это несчастье поэтов, давала, должно быть, повод считать меня неспособным на глубокое чувство, неустойчивым, вялым. Когда я молчал, то молчал по-дурацки, когда же старался понравиться, то, вероятно, только пугал женщин — и они меня отвергли. Приговор, вынесенный светом, стоил мне горьких слез. Но это испытание принесло свои плоды. Я решил отомстить обществу, я решил овладеть душою всех женщин; властвуя над умами, добиться того, чтобы все взгляды обращались на меня, когда мое имя произнесет лакей в дверях гостиной. Еще в детстве я решил стать великим человеком, и, ударяя себя по лбу, я говорил, как Андре Шенье: «Здесь кое-что есть!»Я как будто чувствовал, что во мне зреет мысль, которую стоит выразить, система, достойная быть обоснованной, знания, достойные быть изложенными. О милый мой

Эмиль, теперь, когда мне только что минуло двадцать шесть лет, когда я уверен, что умру безвестным, не сделавшись любовником женщины, о которой я мечтал, позволь мне рассказать о моих безумствах! Кто из нас, в большей или меньшей степени, не принимал желаемое за действительное? О, я бы не хотел иметь другом юношу, который в мечтах не украшал себя венком, не воздвигал себе пьедестала, не наслаждался в обществе сговорчивых любовниц! Я часто бывал генералом, императором; я бывал Байроном, потом — ничем. Поиграв на вершине человеческой славы, я замечал, что все горы, все трудности еще впереди. Меня спасло беспредельное самолюбие, кипевшее во мне, прекрасная вера в свое предназначение, способная стать гениальностью, если только человек не допустит, чтобы душу его трепали мелочи жизни, подобно тому как колючки кустарника вырывают у проходящей мимо овцы клоки шерсти. Я решил достигнуть славы, решил трудиться в тишине ради своей будущей возлюбленной.

Все женщины заключались для меня в одной, и этой женщиной мне казалась первая же встречная; я в каждой видел царицу и считал, что, как царицы, вынужденные первыми делать

шаг к сближению со своими возлюбленными, они должны были идти навстречу мне, робкому, несчастному бедняку. О, для той, которая пожалела бы меня, в моем сердце, помимо любви, нашлось бы столько благодарного чувства, что я боготворил бы ее всю жизнь! Впоследствии наблюдения открыли мне жестокую истину. И я рисковал, дорогой Эмиль, навеки остаться одиноким. Женщины, в силу какого-то особого склада своего ума, обычно видят в человеке талантливом только его недостатки, а в дураке — только его достоинства; к достоинствам дурака они питают большую симпатию, ибо те льстят их собственным недостаткам, тогда как счастье, которое им может дать человек одаренный, стоящий выше их, не возмещает им его несовершенств. Талант — это перемежающаяся лихорадка, и у женщин нет охоты делить только его тяготы, — все они смотрят на своих любовников как на средство, для удовлетворения своего тщеславия. Самих себя — вот кого они любят в нас! А разве в человеке бедном, в гордом художнике, наделенном способностью творить, нет оскорбительного эгоизма? Вокруг него какой-то вихрь мыслей, в который вовлекается все, даже его любовница. Может ли женщина, избалован-

ная поклонением, поверить в любовь такого человека? Такому любовнику некогда предаваться на диванах нежному кривлянию, на которое так падки женщины и в котором преуспевают мужчины лживые и бесчувственные. Ему не хватает времени на работу, — так станет ли он его тратить на сюсюканье и прихорашивание? Я был готов отдать свою жизнь целиком, но не способен был разменивать ее на мелочи. Словом, угодничество биржевого маклера, исполняющего поручения какой-нибудь томной жеманницы, ненавистно художнику.

Человеку бедному и великому недостаточно половинчатой любви, — он требует полного самопожертвования. У мелких созданий, которые всю жизнь проводят в том, что примеряют кашемировые шали и становятся вешалками для модных товаров, не встретить готовности к самопожертвованию, они требуют его от других, — в любви они жаждут властвовать, а не покорствовать. Истинная супруга, супруга по призванию, покорно следует за тем, в ком полагает она свою жизнь, силу, славу, счастье. Людям одаренным нужна восточная женщина, единственная цель которой — предупреждать желания мужа, ибо все несчастье одаренных людей состоит в раз-

рыве между их стремлениями и возможностью их осуществлять. Я же, считая себя гениальным человеком, любил именно щеголих.

Вынашивая идеи, столь противоположные общепринятым; собираясь без лестницы взять приступом небо; обладая сокровищами, не имевшими хождения; вооруженный знаниями, которые, отягощая мою память, еще не успели прийти в систему, еще не были мною глубоко усвоены; без родных, без друзей, один среди ужаснейшей из пустынь — пустыни мощеной, пустыни одушевленной, мыслящей, живой, где вам все враждебно или, больше того, где все безучастно, — я принял естественное, хотя и безумное решение; в нем заключалось нечто невозможное, но это и придавало мне бодрости. Я точно сам с собой держал пари, в котором сам же я был и игроком и закладом. Вот мой план. Тысячи ста франков должно было мне хватить на три года жизни, и этот именно срок я назначил себе для выпуска в свет сочинения, которое привлекло бы ко мне внимание публики, дало бы мне возможность разбогатеть или составить себе имя. Меня радовала мысль, что я, точно фиваидский отшельник, буду питаться хлебом и молоком, средь шумного Парижа погружусь в уединенный

мир книг и идей, в сферу труда и молчания, где, как куколка бабочки, я построю себе гробницу, чтобы возродиться в блеске и славе. Чтобы жить, я готов был рискнуть самой жизнью.

Решив ограничить себя лишь самым насущным, лишь строго необходимым, я нашел, что трехсот шестидесяти пяти франков в год мне будет достаточно для существования. И в самом деле, этой скудной суммы мне хватало на жизнь, покуда я придерживался своего поистине монастырского устава.

— Это невозможно! — вскричал Эмиль.

— Я прожил так почти три года, — с некоторой гордостью ответил Рафаэль. — Давай сочтем! На три су — хлеба, на два — молока, на три — колбасы; с голоду не умрешь, а дух находится в состоянии особой ясности.

Можешь мне поверить, я на себе испытал чудесное действие, какое пост производит на воображение. Комната стоила мне три су в день, за ночь я сжигал на три су масла, уборку делал сам, рубашки носил фланелевые, чтобы на прачку тратить не больше двух су в день. Комнату отапливал я каменным углем, стоимость которого, если разделить ее на число дней в году, никогда не превышала двух су. Платья, белья, обуви мне

должно было хватить на три года, — я решил прилично одеваться, только если надо было идти на публичные лекции или же в библиотеку. Все это в общей сложности составляло восемнадцать су, — два су мне оставалось на непредвиденные расходы. Я не припомню, чтобы за этот долгий период работы я хоть раз прошел по мосту Искусств[48] или же купил у водовоза воды: я ходил за ней по утрам к фонтану на площади Сен-Мишель, на углу улицы де-Грэ. О, я гордо переносил свою бедность! Кто предугадывает свое прекрасное будущее, тот ведет нищенскую жизнь так же, как невинно осужденный идет на казнь, — ему не стыдно. Возможность болезни я предусматривать не хотел. Подобно Акилине, я думал о больнице спокойно. Ни минуты не сомневался я в своем здоровье.

Впрочем, бедняк имеет право слечь только тогда, когда он умирает. Я коротко стриг себе волосы до тех пор, пока ангел любви или доброты… Но не стану раньше времени говорить о событиях, до которых мы скоро дойдем. Заметь только, милый мой друг, что, не имея возлюбленной, я жил великой мыслью, мечтою, ложью, в которую

---

[48] Примечания: 48

Мост Искусств — предназначался для пешеходов, за переход по нему платили одно су.

все мы вначале более или менее верим. Теперь я смеюсь над самим собою, над тем моим «я», быть может, святым и прекрасным, которое не существует более. Общество, свет, наши нравы и обычаи, наблюдаемые вблизи, показали мне всю опасность моих невинных верований, всю бесплодность ревностных моих трудов. Такая запасливость не нужна честолюбцу.

Кто отправляется в погоню за счастьем, не должен обременять себя багажом!

Ошибка людей одаренных состоит в том, что они растрачивают свои юные годы, желая стать достойными милости судьбы. Покуда бедняки копят силы и знания, чтобы в будущем легко было нести бремя могущества, ускользающего от них, интриганы, богатые словами и лишенные мыслей, шныряют повсюду, поддевая на удочку дураков, влезают в доверие у простофиль; одни изучают, другие продвигаются; те скромны — эти решительны; человек гениальный таит свою гордость, интриган выставляет ее напоказ, он непременно преуспеет. У власть имущих так сильна потребность верить заслугам, бьющим в глаза, таланту наглому, что со стороны истинного ученого было бы ребячеством надеяться на человеческую благодарность. Разумеется, я не

собираюсь повторять общие места о добродетели, ту песнь песней, что вечно поют непризнанные гении; я лишь хочу логическим путем вывести причину успеха, которого так часто добиваются люди посредственные. Увы, наука так матерински добра, что, пожалуй, было бы преступлением требовать от нее иных наград, помимо тех чистых и тихих радостей, которыми питает она своих сынов. Помню, как весело, бывало, я завтракал хлебом с молоком, вдыхая воздух у открытого окна, откуда открывался вид на крыши, бурые, сероватые или красные, аспидные и черепичные, поросшие желтым или зеленым мхом. Вначале этот пейзаж казался мне скучным, но вскоре я обнаружил в нем своеобразную прелесть. По вечерам полосы света, пробивавшегося из-за неплотно прикрытых ставней, оттеняли и оживляли темную бездну этого своеобразного мира. Порой сквозь туман бледные лучи фонарей бросали снизу свой желтоватый свет и слабо означали вдоль улиц извилистую линию скученных крыш, океан неподвижных волн. Иногда в этой мрачной пустыне появлялись редкие фигуры: между цветами какого-нибудь воздушного садика я различал угловатый, загнутый крючком профиль старухи, которая поливала настурции; или же у

чердачного окна с полусгнившею рамой молодая девушка, не подозревая, что на нее смотрят, занималась своим туалетом, и я видел только прекрасный ее лоб и длинные волосы, приподнятые красивой белою рукой. Я любовался хилой растительностью в водосточных желобах, бедными травинками, которые скоро уносил ливень. Я изучал, как мох то становился ярким после дождя, то, высыхая на солнце, превращался в сухой бурый бархат с причудливыми отливами. Словом, поэтические и мимолетные эффекты дневного света, печаль туманов, внезапно появляющиеся солнечные пятна, волшебная тишина ночи, рождение утренней зари, султаны дыма над трубами — все явления этой необычайной природы стали для меня привычны и развлекали меня. Я любил свою тюрьму, — ведь я находился в ней по доброй воле. Эта парижская пустынная степь, образуемая крышами, похожая на голую равнину, но таящая под собою населенные бездны, подходила к моей душе и гармонировала с моими мыслями. Утомительно бывает, спустившись с божественных высот, куда нас увлекают науки, вдруг очутиться лицом к лицу с житейской суетою, — оттого-то я в совершенстве постиг тогда наготу монастырских обителей. Твердо

решив следовать новому плану жизни, я стал искать себе комнату в самых пустынных кварталах Парижа. Как-то вечером, возвращаясь домой с Эстрапады, я проходил по улице Кордье. На углу улицы Клюни я увидел девочку лет четырнадцати, — она играла с подругой в волан, забавляя жителей соседних домов своими шалостями и смехом. Стояла прекрасная погода, вечер выдался теплый, — был еще только конец сентября. У дверей сидели женщины и болтали, как где-нибудь в провинциальном городке в праздничный день. Сперва я обратил внимание только на девочку, на ее чудесное в своей выразительности лицо и фигурку, созданную для художника.

Это была очаровательная сцена. Затем я попытался уяснить себе, откуда в Париже такая простота нравов, и заметил, что улица эта — тупик и прохожие здесь, очевидно, редки. Вспомнив, что в этих местах живал Жан-Жак Руссо, я нашел гостиницу «Сен-Кантен»; запущенный ее вид подал мне надежду найти недорогую комнату, и я решил туда заглянуть. Войдя в помещение с низким потолком, я увидел классические медные подсвечники с сальными свечами, выстроившиеся на полочке, каждый над своим ключом от комнаты, и я был поражен чистотой, царившей

в этой зале, — обычно подобные комнаты не отличаются особой опрятностью, а здесь все было вылизано, точно на жанровой картине; в голубой кровати, утвари, мебели было что-то кокетливое, свойственное условной живописи. Хозяйка гостиницы — женщина лет сорока, судя по ее лицу испытавшая в жизни горе и пролившая немало слез, от которых и потускнели ее глаза, — встала и подошла ко мне; я смиренно сообщил, сколько могу платить за квартиру; не выразив никакого удивления, она выбрала ключ, отвела меня в мансарду и показала комнату с видом на крыши и на дворы соседних домов, где из окон были протянуты длинные жерди с развешанным на них бельем. Как ужасна была эта мансарда с желтыми грязными стенами! От нее так и пахнуло на меня нищетой уединенного приюта, подходящего для бедняка ученого. Кровля на ней шла покато, в щели между черепицами сквозило небо.

Здесь могли поместиться кровать, стол, несколько стульев, а под острым углом крыши нашлось бы место для моего фортепьяно. Не располагая средствами, чтобы обставить эту клетку, не уступающую венецианским «свинцовым ка-

мерам»[49], бедная женщина никому не могла ее сдать. Из недавней распродажи имущества я изъял вещи, до некоторой степени являвшиеся моею личною собственностью, а потому быстро сговорился с хозяйкой и на другой же день поселился у нее. Я прожил в этой воздушной гробнице три года, работал день и ночь не покладая рук с таким наслаждением, что занятия казались мне прекраснейшим делом человеческой жизни, самым удачным решением ее задачи. В необходимых ученому спокойствии и тишине есть нечто нежное, упоительное, как любовь. Работа мысли, поиски идей, мирная созерцательность науки дарит нам неизъяснимые наслаждения, не поддающиеся описанию, как все то, что связано с деятельностью разума, неприметной для наших внешних чувств. Поэтому мы всегда вынуждены объяснять тайны духа сравнениями материальными.

Наслаждение, какое испытываешь, плывя один по прозрачному озеру среди скал, лесов и цветов, ощущая ласку теплого ветерка, даст людям, чуждым науке, лишь слабое понятие о

[49] Примечания: 49

«Свинцовые камеры» — тюремные камеры под крышей Дворца дожей в Венеции; стены их были обиты свинцом, чтобы заключенные мучились от жары.

том счастье, какое испытывал я, когда душа моя купалась в лучах какого-то света, когда я слушал грозный и невнятный голос вдохновения, когда из неведомого источника струились образы в мой трепещущий мозг.

Созерцать, как, словно солнечный свет поутру, брезжит идея за полем человеческих абстракций и поднимается, как солнце, или, скорее, растет, как ребенок, достигает зрелости, постепенно мужает, — эта радость выше всех земных радостей, вернее сказать, это — наслаждение божественное. Научные занятия сообщают нечто волшебное всему, что нас окружает. Жалкое бюро, на котором я писал, покрывавший его коричневый сафьян, фортепьяно, кровать, кресло, причудливо выцветшие от времени обои, мебель — все они стали одушевленными смиренными моими друзьями, молчаливыми соучастниками моего будущего: сколько раз изливал я им душу, глядя на них! Часто, водя глазами по покоробившейся резьбе, я нападал на новые пути, на какое-нибудь поразительное доказательство моей системы или же на правильные слова, которые, как мне казалось, удачно выражали почти непередаваемые мысли.

Созерцая окружающие предметы, я стал раз-

личать у каждого его физиономию, его характер, они часто разговаривали со мной; когда беглый луч заката проникал ко мне через узкое оконце, они окрашивались, бледнели, сверкали, становились унылыми или же веселыми, поражая меня все новыми эффектами. Такие малые события уединенной жизни, ускользающие от суетного света, и составляют утешение заключенных. Ведь я был пленником идеи, узником системы, — правда, неунывающим узником, ибо впереди у меня была жизнь, полная славы! Преодолев какую-нибудь трудность, я всякий раз целовал нежные руки женщины с чудными глазами, нарядной и богатой, которой предназначено было в один прекрасный день гладить мои волосы, ласково приговаривая: «Ты много страдал, бедный мой ангел! „ Я начал два больших произведения. Моя комедия должна была в короткий срок составить мне имя и состояние, открыть доступ в свет, где я желал появиться вновь, пользуясь царственными правами гения. В этом шедевре вы все увидели первую ошибку юноши, только что окончившего коллеж, настоящий ребяческий вздор. Ваши насмешки подрезали крылья плодотворным иллюзиям, с тех пор более не пробуждавшимся. Ты один, милый мой Эмиль, уврачевал глубокую

рану, которую другие нанесли моему сердцу! Ты один пришел в восторг от моей «Теории воли“, обширного произведения, для которого я изучил восточные языки, анатомию, физиологию, которому я посвятил столько времени.

Думаю, что оно дополнит работы Месмера, Лафатера, Галля, Биша и откроет новый путь науке о человеке. На этом кончается моя прекрасная жизнь, каждодневное жертвоприношение, невидимая миру работа шелковичного червя, в себе самой заключающая, быть может, и единственную награду. С начала моего сознательного существования вплоть до того дня, когда я окончил мою «Теорию», я наблюдал, изучал, писал, читал без конца, и жизнь моя была сплошным выполнением повинности. Женственный любовник восточной лени, чувственный, влюбленный в свои мечты, я не знал отдыха и не разрешал себе отведать наслаждений парижской жизни. Лакомка — я принудил себя к умеренности; любитель бродить пешком и плавать в лодке по морю, мечтавший побывать в разных странах, до сих пор с удовольствием, как ребенок, бросавший камешки в воду, — теперь я, не разгибая спины, сидел за письменным столом; словоохотливый — я молча слушал публичные лекции в библиотеке

и музее; я спал на одиноком и жалком ложе, точно монах-бенедиктинец, а между тем женщина была моей мечтою — мечтою заветной и вечно ускользавшей от меня! Одним словом, жизнь моя была жестоким противоречием, беспрерывной ложью. Вот и судите после этого о людях! По временам природные мои склонности разгорались, как долго тлевший пожар.

Меня, не знавшего женщин, которых я так жаждал, нищего обитателя студенческой мансарды, точно марево, точно образы горячечного бреда, окружали обольстительные любовницы! Я носился по улицам Парижа на мягких подушках роскошного экипажа! Меня снедали пороки, я погружался в разгул, я всего желал и всего добивался; я был пьян без вина, как святой Антоний в часы искушений. По счастью сон в конце концов гасил испепеляющие эти видения; а утром наука, улыбаясь, снова призывала меня, и я был ей верен.

Думаю, что женщины, слывущие добродетельными, часто бывают во власти таких безумных вихрей желаний и страстей, поднимающихся в нас помимо нашей воли.

Подобные мечты не лишены некоторой прелести, — не напоминают ли они беседу зимним

вечером, когда, сидя у очага, совершаешь путешествие в Китай? Но во что превращается добродетель во время этих очаровательных путешествий, когда мысленно преодолеваешь все препятствия! Первые десять месяцев моего заключения я влачил ту убогую и одинокую жизнь, какую я тебе описал; по утрам, стараясь остаться незамеченным, я выходил купить себе что-нибудь из еды, сам убирал комнату, был в одном лице и господином и слугою, диогенствовал[50] с невероятной гордостью. Но затем, после того как хозяйка и ее дочь изучили мой нрав и мои привычки, понаблюдали за мною, они поняли, как я беден, и, быть может, благодаря тому, что и сами они были очень несчастны, мы неизбежно должны были познакомиться ближе. Полина, очаровательное создание, чья наивная и еще не раскрывшаяся прелесть отчасти и привлекла меня туда, оказывала мне услуги, отвергнуть которые я не мог.

Все бедные доли — сестры, у них одинаковый

[50] Примечания: 50

Диогенствовал — то есть вел образ жизни по примеру древнегреческого философа Диогена (ок. 404-323 гг. до н. э.), который, согласно преданиям, отказался от всех земных благ и жил в бочке, довольствуясь лишь самым необходимым для поддержания существования. Диоген утверждал, что такой образ жизни будто бы способствует ясности ума и спокойствию духа, необходимым для мыслителя.

язык, одинаковое великодушие — великодушие тех, кто, ничего не имея, щедр на чувство и жертвует своим временем и собою самим. Незаметно Полина стала у меня хозяйкой, она пожелала прислуживать мне, и ее мать нисколько тому не противилась. Я видел, как сама мать чинила мое белье, и, сострадательная душа, она краснела, когда я заставал ее за этим добрым делам. Помимо моей воли, они взяли меня под свое покровительство, и я принимал их услуги. Чтобы понять эту особую привязанность, надо знать, какое увлечение работой, какую тиранию идей и какое инстинктивное отвращение к мелочам повседневной жизни испытывает человек, живущий мыслью. Мог ли я противиться деликатному вниманию Полины, когда, заметив, что я уже часов восемь ничего не ел, она входила неслышными шагами и приносила мне скромный обед? По-женски грациозно и по-детски простодушно она, улыбаясь, делала мне знак, чтобы я не обращал на нее внимания. То был Ариэль[51], как сильф, скользнувший под мою кровлю и предупреждавший мои желания. Однажды вечером Полина с трогательной наивностью рассказала

[51] Примечания: 51

Ариэль — фантастический персонаж из драмы Шекспира «Буря», дух воздуха.

мне свою историю. Ее отец командовал эскадроном конных гренадеров императорской гвардии. При переправе через Березину он был взят в плен казаками; впоследствии, когда Наполеон предложил обменять его, русские власти тщетно разыскивали его в Сибири; по словам других пленных, он бежал, намереваясь добраться до Индии. С тех пор госпоже Годэн, моей хозяйке, не удалось получить никаких известий о муже. Начались бедствия тысяча восемьсот четырнадцатого — тысяча восемьсот пятнадцатого годов; оставшись одна, без средств и опоры, она решила держать меблированные комнаты, чтобы прокормить дочь. Госпожа Годэн все еще надеялась увидеть своего мужа. Тяжелее всего было для нее сознавать, что Полина не получит образования, ее Полина, крестница княгини Воргезе, Полина, которая непременно должна была оправдать предсказание высокой своей покровительницы, сулившее ей блестящую будущность. Когда госпожа Годэн поведала мне свою кручину и душераздирающим тоном, сказала: «Я охотно бы отдала клочок бумаги, возводящий Годэна в бароны, отдала и наши права на доходы с Вичнау, только бы знать, что Полина воспитывается в

Сен-Дени[52]! «, я вздрогнул и в благодарность за заботу обо мне, на которую так щедры были мои хозяйки, решил предложить себя в воспитатели Полины. Чистосердечие, с которым они приняли мое предложение, равнялось наивности, которой оно было подсказано.

Так появились у меня часы отдыха. У девочки были большие способности, она все так легко схватывала, что вскоре стала лучше меня играть на фортепьяно.

Привыкнув думать при мне вслух, она обнаруживала прелестные качества души, раскрывающейся для жизни, как чашечка цветка постепенно раскрывается на солнце; она слушала меня внимательно и охотно, глядя на меня своими черными бархатными глазами, которые как будто улыбались; она повторяла за мной уроки своим нежным голосом и по-детски радовалась, когда я бывал доволен ею. Еще недавно ее мать была озабочена мыслью, как уберечь от опасностей свою дочь, оправдывавшую с возрастом все надежды, которые она подавала еще будучи очаровательным ребенком, а теперь госпожа Годэн была спокойна, видя, что Полина занимается

[52] Примечания: 52

Сен-Дени — школа для дочерей кавалеров ордена Почетного легиона, учрежденная Наполеоном I в пригороде Парижа Сен-Дени.

целыми днями. Так как к ее услугам было только мое фортепьяно, ей приходилось пользоваться для упражнений моими отлучками.

Возвращаясь, я заставал у себя в комнате Полину, одетую самым скромным образом, но при малейшем движении гибкая талия и вся ее прелестная фигура вырисовывались под грубой тканью. Как у героини сказки про Ослиную кожу, крошечные ее ножки были обуты в грубые башмаки. Но все эти милые сокровища, все это богатство, вся прелесть девичьей красоты как бы не существовали для меня. Я заставлял себя видеть в Полине только сестру, мне было страшно обмануть доверие ее матери; я любовался обворожительной девушкой, как картиной, как портретом умершей возлюбленной; словом, она была моим ребенком, моей статуей. Новый Пигмалион[53], я хотел обратить в мрамор живую деву, с горячей кровью в жилах, чувствующую и говорящую; я бывал с нею очень суров, но чем больше я проявлял свой учительский деспотизм, тем мягче и покорнее становилась она. Сдержанностью и скромностью я был обязан

[53] Примечания: 53

Новый Пигмалион — Пигмалион, по древнегреческим мифам, скульптор, полюбивший прекрасную статую, изваянную им; боги, вняв его мольбам, вдохнули жизнь в эту статую.

благородству моих чувств, но тут не было недостатка и в рассуждениях, достойных прокурора. Я не представляю себе честности и в денежных делах без честности в мыслях. Обмануть женщину или разорить кого-либо для меня всегда было равносильно. Полюбить молодую девушку или поощрять ее любовь — это все равно, что подписать настоящий брачный контракт, условия которого следует определить заранее. Мы вправе бросить продажную женщину, но нельзя покинуть молодую девушку, которая отдалась нам, ибо она не понимает всех последствий своей жертвы. Конечно, я мог бы жениться на Полине, но это было бы безумием. Не значило ли это подвергать нежную и девственную душу ужасающим мукам? Моя бедность говорила на эгоистическом языке и постоянно протягивала железную свою лапу между мною и этим добрым созданием. Притом, сознаюсь к стыду своему, я не понимаю любви в нищете. Пусть это от моей испорченности, которою я обязан болезни человечества, именуемой цивилизацией, но женщина — будь она привлекательна, как прекрасная Елена, эта Галатея Гомера, — не может покорить мое сердце, если она хоть чуть-чуть замарашка. Ах, да здравствует любовь в шелках и

кашемире, окруженная чудесами роскоши, которые потому так чудесно украшают ее, что и сама она, может быть, роскошь! Мне нравится комкать в порыве страсти изысканные туалеты, мять цветы, заносить дерзновенную руку над красивым сооружением благоуханной прически. Горящие глаза, которые пронизывают скрывающую их кружевную вуаль, подобно тому как пламя прорывается сквозь пушечный дым, фантастически привлекательны для меня. Моей любви нужны шелковые лестницы, по которым возлюбленный безмолвно взбирается зимней ночью. Какое это наслаждение — весь в снегу, ты входишь в комнату, слабо озаренную курильницами, обтянутую разрисованным шелком, и видишь женщину, тоже стряхивающую с себя снег, ибо как иначе назвать покровы из сладострастного муслина, сквозь которые она чуть заметно обрисовывается, как ангел сквозь облако, и из которых она сейчас высвободится? А еще мне необходимы и боязливое счастье и дерзкая уверенность. Наконец я хочу увидеть эту же таинственную женщину, но в полном блеске, в светском кругу, добродетельную, вызывающую всеобщее поклонение, одетую в кружева и блистающую бриллиантами, повелевающую целым городом, занимающую

положение столь высокое, внушающую к себе такое уважение, что никто не осмелится поведать ей свои чувства. Окруженная своей свитой, она украдкой бросает на меня взгляд — взгляд, ниспровергающий все эти условности, взгляд, говорящий о том, что ради меня она готова пожертвовать и светом и людьми! Разумеется, я столько раз сам смеялся над своим пристрастием к блондам, бархату, тонкому батисту, к фокусам парикмахера, к свечам, карете, титулу, геральдическим коронам на хрустале, на золотых и серебряных вещах — словом, над пристрастием ко всему деланному и наименее женственному в женщине; я глумился над собой, разубеждая себя, — все было напрасно! Меня пленяет женщина-аристократка, ее тонкая улыбка, изысканные манеры и чувство собственного достоинства; воздвигая преграду между собою и людьми, она пробуждает все мое тщеславие, а это и есть наполовину любовь. Становясь предметом всеобщей зависти, мое блаженство приобретает для меня особую сладость. Если моя любовница в своем быту отличается от других женщин, если она не ходит пешком, если живет она иначе, чем они, если на ней манто, какого у них быть не может, если от нее исходит благоухание, свойственное

ей одной, — она мне нравится гораздо больше; и чем дальше она от земли даже в том, что есть в любви земного, тем прекраснее становится она в моих глазах.

На мое счастье, во Франции уже двадцать лет нет королевы, иначе я влюбился бы в королеву! А чтобы иметь замашки принцессы, женщине нужно быть богатой.

При таких романтических фантазиях чем могла быть для меня Полина? Могла ли она подарить мне ночи, которые стоят целой жизни, любовь, которая убивает и ставит на карту все человеческие способности? Ради бедных девушек, отдающихся нам, мы не умираем. Такие чувства, такие поэтические мечтания я не могу в себе уничтожить. Я был рожден для несбыточной любви, а случаю угодно было услужить мне тем, чего я вовсе не желал. Как часто я обувал в атлас крохотные ножки Полины, облекал ее стройную, как молодой тополь, фигуру в газовое платье, набрасывал ей на плечи легкий шарф, провожал ее, ступая по коврам ее особняка, и подсаживал в элегантный экипаж! Будь она такой, я бы ее обожал. Я наделял ее гордостью, которой у нее не было, отнимал у нее все ее достоинства, наивную прелесть, врожденное обаяние, простодушную

улыбку, чтобы погрузить ее в Стикс наших пороков и наделить ее неуязвимым сердцем, чтобы приукрасить ее нашими преступлениями и сделать из нее взбалмошную салонную куклу, хрупкое создание, которое ложится спать утром и оживает вечером, когда загорается искусственный свет свечей. Полина была воплощенное чувство, воплощенная свежесть, а я хотел, чтобы она была суха и холодна. В последние дни моего безумия память воскресила мне образ Полины, как она рисует нам сцены нашего детства. Не раз я был растроган, вспоминая очаровательные минуты: то я снова видел, как эта девушка сидит у моего стола за шитьем, кроткая, молчаливая, сосредоточенная, а на ее прекрасные черные волосы ложится легким серебристым узором слабый дневной свет, проникающий в мое чердачное окно; то я слышал юный ее смех, слышал, как своим звонким голосом она распевает милые песенки, которые ей ничего не стоило придумать самой. Часто моя Полина воодушевлялась за музыкой, и тогда она была поразительно похожа на ту благородную головку, в которой Карло Дольчи хотел олицетворить Италию. Жестокая память вызывала чистый образ Полины среди безрассудств моего существования как некий укор,

как образ добродетели! Но предоставим бедную девочку собственной ее участи! Как бы она потом ни была несчастлива, я по крайней мере спас ее от страшной бури — я не увлек ее в мой ад.

До прошлой зимы я вел спокойную и трудовую жизнь, слабое представление о которой я попытался тебе дать. В первых числах декабря тысяча восемьсот двадцать девятого года я встретил Растиньяка, и, несмотря на жалкое состояние моего костюма, он взял меня под руку и осведомился о моем положении с участием поистине братским. Тронутый этим, я рассказал ему вкратце о своей жизни, о своих надеждах; он расхохотался и сказал, что я и гений и дурак; его гасконская веселость, знание света, богатство, которым он был обязан своей опытности, — все это произвело на меня впечатление неотразимое. Растиньяк утверждал, что я умру в больнице непризнанным простофилей, он уже провожал мой гроб и хоронил меня в могиле для нищих. Он заговорил о шарлатанстве. С присущим ему остроумием, которое придает ему такое обаяние, он доказывал, что все гениальные люди — шарлатаны. Он объявил, что я могу ослепнуть или оглохнуть, а то и умереть, если по-прежнему буду жить в одиночестве на улице Кордье. Он полагал, что мне

надобно бывать в свете, приучать людей произносить мое имя, избавиться от той унизительной скромности, которая великому человеку отнюдь не подобает.

— Глупцы именуют подобное поведение интриганством, — воскликнул он, — моралисты осуждают его и называют рассеянным образом жизни. Не слушая людей, спросим самих себя, каковы результаты. Ты трудишься? Ну, так ты никогда ничего не добьешься. Я мастер на все руки, но ни на что не годен, лентяй из лентяев, а все-таки добьюсь всего! Я пролезаю, толкаюсь — мне уступают дорогу; я хвастаю — мне верят; я делаю долги — их платят!

Рассеянная жизнь, милый мой, — это целая политическая система. Жизнь человека, занятого тем, как бы прокутить свое состояние, становится часто спекуляцией: он помещает свои капиталы в друзей, в наслаждения, в покровителей, в знакомых. Допустим, негоциант рискует на миллион. Двадцать лет он не спал, не пил, не знал развлечений; он высиживал свой миллион, он пускал его в оборот по всей Европе; ему было скучно, он отдавался во власть всех демонов, каких только выдумал человек; потом ликвидация, и он остается — я сам это не раз наблюдал — без гроша, без

имени, без друзей. Другое дело — расточитель: он живет в свое удовольствие, он видит наслаждение в скачке с препятствиями. Если случится ему потерять свои капиталы, то остается надежда на должность управляющего окладными сборами, на выгодную партию, на местечко при министре или посланнике. У него остались друзья, репутация, и он всегда при деньгах. Он знаток светских пружин и нажимает их, как ему выгодно. Ну что, логична моя система, или я спятил? Разве не в этом мораль комедии, которую свет играет день за днем?.. Ты кончил свое сочинение, — помолчав, продолжал он, — у тебя огромный талант. Значит, пора тебе начать с моей исходной точки. Тебе надобно самому обеспечить себе успех, — так вернее. Ты заключишь союз с разными кружками, завоюешь пустословов. Так как мне хочется быть соучастником в твоей славе, то я возьму на себя роль ювелира, который вставит алмазы в твою корону… Для начала приходи сюда завтра вечером. Я введу тебя в дом, где бывает весь Париж, наш Париж, Париж светских львов, Париж миллионеров, знаменитостей, наконец, прославленных ораторов, сущих златоустов; если эти господа одобряют какую-нибудь книгу, она становится модной; она — может быть действи-

тельно хороша, но они-то этого не знают, выдавая ей патент на гениальность. Если ты не лишен ума, дитя мое, то фортуна твоей «Теории» в твоих руках, нужно только хорошенько понять теорию фортуны. Завтра вечером ты увидишь прекрасную графиню Феодору — модную женщину.

— Никогда о ней не слыхал…

— Вот так кафр! — со смехом отозвался Растиньяк. — Не знать Феодоры!

Да на ней можно жениться, у нее около восьмидесяти тысяч ливров дохода, она никого не любит, а может быть, ее никто не любит! Своего рода женщина-загадка, полурусская парижанка, полупарижская россиянка! Женщина, у которой выходят в свет все романтические произведения, не появляющиеся в печати, самая красивая женщина в Париже, самая обольстительная! Нет, ты даже не кафр, ты нечто среднее между кафром и животным… Прощай, до завтра!..

Он сделал пируэт и исчез, не дожидаясь ответа, не допуская даже мысли о том, что человек разумный может не захотеть быть представленным Феодоре. Как объяснить волшебную власть имени? Феодора преследовала меня, как преступная мысль, с которой намереваешься заключить полюбовное соглашение. Какой-то голос говорил

мне: «Ты пойдешь к Феодоре». Я мог как угодно бороться с этим голосом, кричать ему, что он лжет, — он сокрушал все мои доказательства одним этим именем — Феодора.

Но не было ли это имя, не была ли эта женщина символом всех моих желаний, целью моей жизни? От этого имени в моем воображении воскресла искусственная поэтичность света, загорелись праздничные огни высшего парижского общества, заблестела мишура суеты. Эта женщина предстала передо мной со всеми проблемами страсти, на которых я был помешан. Нет, быть может, не женщина, не имя, а все мои пороки поднялись в душе, чтобы вновь искушать меня. Графиня Феодора, богатая, не имеющая любовника, не поддающаяся парижским соблазнам, — разве это не воплощение моих надежд, моих видений? Я создал образ этой женщины, мысленно рисовал ее себе, грезил о ней. Ночью я не спал, я стал ее возлюбленным, за несколько часов я пережил целую жизнь, полную любви, снова и снова вкушал жгучие наслаждения. Наутро, не в силах вынести пытку долгого ожидания вечера, я взял в библиотеке роман и весь день читал его, чтобы отвлечься от своих мыслей, как-нибудь убить время. Имя Феодоры звучало во мне, подоб-

но далекому отголоску, который не тревожит вас, но все же заставляет прислушиваться. К счастью, у меня сохранился вполне приличный черный фрак и белый жилет; затем от всего моего состояния осталось около тридцати франков, которые я рассовал по ящикам стола и в комоде среди белья, для того чтобы воздвигнуть между моими фантазиями и монетой в сто су колючую изгородь поисков, чтобы находить монету лишь случайно, во время кругосветного путешествия по комнате. Одеваясь, я гонялся за моими сокровищами по целому океану бумаг. Монеты попадались очень редко, и ты можешь из этого заключить, как много похитили у меня перчатки и фиакр, — они съели мой хлеб за целый месяц. Увы, на прихоти у нас всегда найдутся деньги, мы скупимся только на затраты полезные и необходимые. Танцовщицам мы бросаем золото без счета — и торгуемся с рабочим, которого ждет голодная семья. Сколько людей в стофранковых фраках, с алмазами на набалдашниках трости обедает за двадцать пять су! Для утоления тщеславия нам, по-видимому, ничего не жалко.

Растиньяк, верный своему слову, улыбнулся при виде меня и посмеялся над моим превращением; но дорогой он по своей доброте учил

меня, как надобно держать себя с графиней; по его словам, это была женщина скупая, тщеславная и недоверчивая; скупая и вместе с тем не пренебрегающая пышностью, тщеславная и не лишенная простосердечия, недоверчивая и не чуждая добродушия.

— Тебе известны мои обязательства, — сказал он, — ты знаешь, как много я потерял бы, если бы связал себя любовными узами с другой женщиной.

Итак, я наблюдал за Феодорой беспристрастно, хладнокровно, и мои замечания должны быть справедливы. Я задумал представить тебя ей единственно потому, что желаю тебе всяческого благополучия. Так вот, следи за каждым своим словом, — у нее жестокая память; ловкостью она превзойдет любого дипломата, — она способна угадать, когда он говорит правду. Между нами, мне кажется, что император не признал ее брака, — по крайней мере русский посланник рассмеялся, когда я заговорил о ней. Он ее не принимает и еле кланяется ей при встрече в Булонском лесу. Тем не менее она близка с госпожой де Серизи, бывает у госпожи де Нусинген и госпожи де Ресто. Во Франции ее репутация не запятнана. Герцогиня де Карильяно, супруга

маршала, самая чопорная дама во всем бонапартистском кружке, часто проводит лето в ее имении. Много молодых фатов и даже сын одного из пэров Франции предлагали ей свое имя в обмен на состояние; она всем вежливо отказала. Может быть, пробудить ее чувства способен лишь титул не ниже графского? А ты ведь маркиз! Если она тебе понравится — смелей вперед! Это я называю давать инструкцию.

Шутки Растиньяка внушали мне мысль, что он насмехается надо мной и нарочно дразнит мое любопытство, — импровизированная моя страсть дошла до настоящего пароксизма, когда мы, наконец, остановились перед украшенным цветами перистилем. Поднимаясь по устланной ковром широкой лестнице, где уже бросалась в глаза вся изысканность английского комфорта, я чувствовал, как у меня забилось сердце; я краснел, я забыл о своем происхождении, о всех своих чувствах, о своей гордости, я был до глупости мещанином. Увы, я сошел с мансарды после трех лет нищеты, еще не научившись ставить выше житейских мелочей те приобретаемые нами сокровища, те умственные капиталы, которые обогащают нас, лишь только нам в руки попадает власть, — неспособная ведь сокрушить нас, ибо

наука заранее подготовила нас к политической борьбе.

Я увидел женщину лет двадцати двух, среднего роста, одетую в белое, с веером из перьев в руке, окруженную мужчинами. Заметив Растиньяка, она встала, пошла к нам навстречу и с приветливой улыбкой, приятным голосом сказала мне любезность, без сомнения заранее приготовленную; наш общий друг рассказывал ей о моих талантах, и его ловкость, его гасконская самоуверенность обеспечили мне лестный прием. Я стал предметом исключительного внимания, и оно смутило меня, но, к счастью, со слов Растиньяка, все здесь уже знали о моей скромности. Я встретил в этом салоне ученых, литераторов, министров в отставке, пэров Франции. Вскоре после моего прихода разговор возобновился; чувствуя, что мне надо поддержать свою репутацию, я взял себя в руки, и, когда мне представилась возможность заговорить, я, не злоупотребляя вниманием общества, постарался резюмировать спор в выражениях более или менее веских, глубокомысленных и остроумных. Я произвел некоторое впечатление. Тысячный раз в своей жизни Растиньяк оказался пророком. Когда собралось много народу и все стали чувствовать

себя свободнее, мой покровитель взял меня под руку, и мы прошлись по комнатам.

— Виду не показывай, что ты в восторге от графини, — сказал он, — не то она догадается о целях твоего визита.

Гостиные были убраны с изысканным вкусом. Я увидел превосходные картины. Каждая комната, как это принято у очень состоятельных англичан, была в особом стиле: шелковые обои, отделка, мебель, все мелочи обстановки соответствовали основному замыслу. В готическом будуаре, на дверях которого висели ковровые драпри, все было готическое — мебель, часы, рисунок ковра; темные резные балки, расположенные в виде кессонов, радовали взор своим изяществом и оригинальностью, панели были художественной работы; ничто не нарушало цельности этой красивой декорации, вплоть до окон с драгоценными цветными стеклами. Особенно меня поразила небольшая гостиная в современном стиле, для которой художник исчерпал приемы нынешнего декоративного искусства, легкого, свежего, приятного, без блеска, умеренного в позолоте.

Все здесь было туманно и проникнуто атмосферой влюбленности, как немецкая баллада, — это было подлинное убежище для страсти тысяча

восемьсот двадцать седьмого года, с благоухающими в жардиньерках редкостными цветами. В анфиладе комнат за этой гостиной я увидел будуар с позолотой и роскошной мебелью, где воскресали вкусы времен Людовика Четырнадцатого, представлявшие собою причудливый, но приятный контраст с живописью нашего времени.

— У тебя будут недурные апартаменты, — сказал Растиньяк с улыбкой, в которой сквозила легкая ирония. — Разве это не соблазнительно? — добавил он садясь.

Вдруг он вскочил, взял меня за руку, провел в спальню и показал слабо освещенное сладострастное ложе, под пологом из белого муслина и муара, настоящее ложе юной феи, обручившейся с гением.

— Разве это не бесстыдство, — воскликнул он, понизив голос, — разве это не дерзость, не кокетство сверх всякой меры, что нам разрешают созерцать этот трон любви? Никому не отдаваться и каждому позволять оставить здесь свою визитную карточку! Будь я свободен, я бы добивался, чтобы эта женщина, вся в слезах, покорно стояла под моей дверью…

— А ты так уверен в ее добродетели?

— Самые предприимчивые из наших волокит, даже самые ловкие из них, сознаются, что у них ничего не вышло; они все еще влюблены в нее, они ее верные друзья. Ну, не загадка ли эта женщина?

Что-то вроде опьянения возбудили во мне эти слова, так как моя ревность стала тревожиться и за прошлое Феодоры. Дрожа от радости, я поспешил в гостиную, где оставил графиню; я встретил ее в готическом будуаре. Она улыбкой остановила меня, усадила рядом с собой, стала расспрашивать о моих работах и, казалось, проявляла к ним живой интерес, особенно когда, избегая поучительного тона и докторального изложения моей системы, я перевел ее на язык шутки. Кажется, Феодоре очень понравилось, что воля человеческая есть сила материальная, вроде пара; что в мире духовном ничто не устояло бы перед этой силой, если бы человек научился сосредоточивать ее, владеть всею ее совокупностью и беспрестанно направлять на души поток этой текучей массы; что такой человек мог бы, в соответствии с задачами человечества, как угодно видоизменять все, даже законы природы. Возражения Феодоры свидетельствовали об известной тонкости ума; чтобы польстить ей, я

снисходительно признал на некоторое время ее правоту, а потом уничтожил эти женские рассуждения единым словом, обратив ее внимание на повседневное явление нашей жизни, на явление сна, по видимости обычное, по существу же полное неразрешимых для ученого проблем, и тем возбудил ее любопытство. Графиня даже умолкла на мгновение, когда я сказал ей, что наши идеи — организованные, цельные существа, обитающие в мире невидимом и влияющие на наши судьбы, а в доказательство привел мысли Декарта, Дидро, Наполеона, мысли которых властвовали и все еще властвуют над нашим веком. Я имел честь позабавить графиню: она рассталась со мной, попросив бывать у нее, — выражаясь придворным языком, я был приближен к ее особе. То ли, по свойственной мне похвальной привычке, я принял формулу вежливости за искренние речи, то ли Феодора увидела во мне будущую знаменитость и вознамерилась пополнить свой зверинец еще одним ученым, но мне показалось, что я произвел на нее впечатление. Я призвал себе на помощь все свои познания в физиологии, все свои прежние наблюдения над женщинами и целый вечер тщательно изучал эту оригинальную особу и ее повадки; спрятавшись в амбразуре

окна, я старался угадать ее мысли, открыть их в ее манере держаться и приглядывался к тому, как в качестве хозяйки дома она ходит по комнатам, садится и заводит разговор, подзывает к себе кого-нибудь из гостей, расспрашивает его и, прислонившись к косяку двери, слушает; переходя с места на место, она так очаровательно изгибала стан, так грациозно колыхалось у нее при этом платье, столь властно возбуждала она желания, что я подверг большому сомнению ее добродетель. Если теперь Феодора презирала любовь, то прежде она, наверное, была очень страстной; опытная сладострастница сказывалась даже в ее манере стоять перед собеседником: она кокетливо опиралась на выступ панели, как могла бы опираться женщина, готовая пасть, но готовая также убежать, лишь только ее испугает слишком пылкий взгляд; мягко скрестив руки, она, казалось, вдыхала в себя слова собеседника, благосклонно слушая их даже взглядом, а сама излучала чувство.

Ее свежие, румяные губы резко выделялись на живой белизне лица. Каштановые волосы оттеняли светло-карий цвет ее глаз, с прожилками, как на флорентийском камне; выражение этих глаз, казалось, придавало особенный, тонкий

смысл ее словам. Наконец, стан ее пленял соблазнительной прелестью.

Соперница, быть может, назвала бы суровыми ее густые, почти сросшиеся брови и нашла бы, что ее портит чуть заметный пушок на щеках. Мне же казалось, что в ней страсть наложила на все свой отпечаток. Любовью дышали итальянские ресницы этой женщины, ее прекрасные плечи, достойные Венеры Милосской, черты ее лица, нижняя губа, слишком пухлая и темноватая. Нет, то была не женщина, то был роман. Женственные ее сокровища, гармоническое сочетание линий, так много обещавшая пышность форм не вязались с постоянной сдержанностью и необычайной скромностью, которые противоречили общему ее облику. Нужна была такая зоркая наблюдательность, как у меня, чтобы открыть в ее натуре приметы сладострастного ее предназначения. Чтобы сделать свою мысль более понятной, скажу, что в Феодоре жили две женщины: тело у нее всегда оставалось бесстрастным, только голова, казалось, дышала любовью; прежде чем остановиться на ком-нибудь из мужчин, ее взгляд подготовлялся к этому, точно в ней совершалось нечто таинственное, и в сверкающих ее глазах пробегал как бы судорожный трепет. Словом, или

познания мои были несовершенны и мне еще много тайн предстояло открыть во внутреннем мире человека, или у графини была прекрасная душа, чувства и проявления которой сообщали ее лицу покоряющую, чарующую прелесть, силу глубоко духовную и тем более могучую, что она сочеталась с огнем желания. Я ушел очарованный, обольщенный этой женщиной, упоенный ее роскошью, я чувствовал, что она всколыхнула в моем сердце все, что было в нем благородного и порочного, доброго и злого.

Взволнованный, оживленный, возбужденный, я начинал понимать, что привлекало сюда художников, дипломатов, представителей власти, биржевиков, окованных железом, как их сундуки: разумеется, они приезжали к ней за тем же безумным волнением, от которого дрожало все мое существо, бурлила кровь в каждой жилке, напрягались тончайшие нервы и все трепетало в мозгу. Она никому не отдавалась, чтобы сохранить всех своих поклонников. Покуда женщина не полюбила, она кокетничает.

— Может быть, ее отдали в жены или продали какому-нибудь старику, — сказал я Растиньяку, — и память о первом браке отвращает ее от любви.

Из предместья Сент-Оноре, где живет Феодора, я возвращался пешком. До улицы Кордье надо было пройти чуть ли не весь Париж; путь казался мне близким, а между тем было холодно. Предпринимать покорение Феодоры зимой, суровой зимой, когда у меня не было и тридцати франков, а отделявшее нас расстояние было так велико! Только бедный молодой человек знает, сколько страсть требует расходов на кареты, перчатки, платье, белье и так далее.

Когда любовь слишком долго остается платонической, она становится разорительна. Среди студентов-юристов бывают Лозены[54], которым, право, лучше и не подступаться к страсти, обитающей в бельэтаже.

Мне ли, слабому, тщедушному, скромно одетому, бедному, изнуренному, как бывает изнурен художник, выздоравливающий после своего нового творения, — мне ли было бороться с молодыми красавчиками, завитыми, щеголеватыми, в таких галстуках, при виде которых может

[54] Примечания: 54

Лозен — придворный Людовика XIV, светский развратник, прославившийся своими похождениями.

лопнуть от зависти вся Кроатия[55], богатыми, облеченными в броню наглости и разъезжающими в тильбюри.

— Нет, нет, Феодора или смерть! — воскликнул я, спускаясь по ступенькам моста. — Феодора — это сама фортуна!

Прекрасный готический будуар и гостиная в стиле Людовика Четырнадцатого вставали у меня перед глазами; я снова видел графиню в белом платье с прелестными широкими рукавами, и пленительную ее походку, и обольстительный стан. Когда я очутился у себя, в холодной мансарде, неопрятной, как парик естествоиспытателя, я был еще окружен образами роскоши. Подобный контраст — плохой советчик: так, вероятно, зарождаются преступления. Я проклял тогда, дрожа от ярости, мою честную, добропорядочную бедность, мою мансарду, где явилось на свет столько плодотворных мыслей. В моей судьбе, в моем несчастье я требовал отчета у бога, у дьявола, у социального строя, у своего отца, у всей вселенной; я лег спать голодный, бормоча смешные

---

[55] Примечания: 55

...в таких галстуках, при виде которых может лопнуть от зависти вся Кроатия... — игра слов: французское слово cravate (галстук) считается происходящим от слова croat (хорватский). В форму хорватской армии входили чрезвычайно пышные галстуки, мода на которые перешла во Францию.

проклятия, но твердо решившись соблазнить Феодору. Это женское сердце было последним лотерейным билетом, от которого зависела моя участь. Я избавлю тебя от описания первых моих посещений Феодоры и сразу перейду к драме. Стараясь воздействовать на ее душу, я вместе с тем стремился завладеть и ее умом, воздействовать на ее самолюбие: чтобы заставить ее полюбить меня, я дал ей тысячу оснований еще больше полюбить самое себя; никогда я не оставлял ее в состоянии безразличия; женщины ради сильных ощущений готовы жертвовать всем, и я расточал их ей: я готов был скорее прогневить ее, чем видеть равнодушной.

Первоначально, воодушевленный твердою волей и желанием внушить ей любовь ко мне, я достиг некоторого преимущества над нею, но вскоре страсть моя возросла, я уже не мог владеть собой, стал искренним и, влюбившись без памяти, погубил себя. Я толком не знаю, что мы в поэзии и в беседах называем любовью, но изображения чувства, вдруг развившегося в двойственной моей натуре, я не находил нигде — ни в риторических, тщательно отделанных фразах Жан-Жака Руссо, жилище которого я, может быть, занимал, ни в холодных понятиях литературы

двух столетий, ни в итальянской живописи. Разве только вид на Бриеннское озеро, иные мотивы Россини, Мадонна Мурильо, принадлежащая маршалу Сульту, письма Лекомба[56], некоторые выражения, встречающиеся в сборниках новелл, но особенно молитвы экстатиков и отдельные эпизоды из наших фабльо — вот что способно было перенести меня в божественные страны первой моей любви. Ничто в человеческом языке, никакое выражение мысли в красках, мраморе, словах и звуках не передали бы напряжения, искренности, полноты, внезапности моего чувства! Да, искусство — это ложь. Любовь проходит через бесконечное число превращений, прежде чем навсегда слиться с нашей жизнью и навеки окрасить ее в свой пламенный цвет.

Тайна этого неуловимого влияния ускользает от взгляда художника. Истинная страсть выражается в воплях, во вздохах, несносных для ушей человека холодного. Нужно искренне любить,

[56] Примечания: 56

Письма Лекомба — любовные письма Марии Лекомба, героини нашумевшего уголовного процесса в XVIII веке.

чтобы, читая «Клариссу Гарлоу»[57], сочувствовать рычаниям Ловласа. Любовь — наивный ручей, что струится по камешкам, меж трав и цветов, но вот ручей становится речкой, рекой, меняет свою природу и вид от каждого нового притока, затем впадает в неизмеримый океан, который умам несовершенным кажется лишь однообразием, а великие души погружает в бесконечное созерцание. Как воссоздать эти переливы чувства, эти столь дорогие мелочи, слова, в самом звуке которых заключена целая сокровищница речи, взгляды, более выразительные, нежели самые лучшие стихи? При тех роковых встречах, когда мы незаметно для себя пленяемся женщиной, разверзается пропасть, могущая поглотить всю поэзию человеческую.

В каких глоссах истолкуешь живые и таинственные волнения души, когда нам не хватает слов, чтобы обрисовать даже видимые тайны красоты? Что за колдовство! Сколько времени проводил я, погруженный в несказанный экстаз, наслаждаясь тем, что вижу ее! Я был счастлив.

---

[57] Примечания: 57

...читая «Клариссу Гарлоу», сочувствовать рычаниям Ловласа — «Кларисса, или История молодой леди» — роман английского писателя Ричардсона (1689-1761). Ловлас — персонаж из этого романа, соблазнитель Клариссы.

Чем? Не знаю. В эти мгновения, если ее лицо было залито светом, с ним что-то происходило, и оно начинало сиять; чуть заметный пушок, золотивший ее тонкую и нежную кожу, мягко намечал контуры ее лица, и в этом было то самое очарование, которое пленяет нас в далеких линиях горизонта, теряющихся в солнечном свете. Казалось, что сияние дня, сливаясь с нею, ласкает ее и что от ее лучезарных черт исходит свет более яркий, чем свет настоящий; потом тень, проходя по милому лицу, как будто бы окрашивала его, разнообразя выражения, меняя оттенки. Нередко на мраморном ее челе, казалось, явственно обозначалась мысль; ее глаза загорались, веки вздрагивали, по лицу пробегала улыбка; живой коралл ее губ приходил в движение, то сжимаясь, то разжимаясь; какой-то особенный отлив ее волос отбрасывал темные блики на свежую белизну висков. В этом лице говорила каждая черточка. Каждый оттенок его красоты был новым пиршеством для моих глаз, открывал моему сердцу еще одну неведомую прелесть. Возможность надеяться хотелось мне прочесть в каждом изменении этого лица. Немые наши разговоры шли от души к душе, как звук переходит в эхо, и они щедро дарили мне мимолетные радости, оставлявшие

во мне глубокое впечатление. Голос ее порождал во мне какое-то неистовство, которое мне трудно было подавить.

Подобно лотарингскому князю — забыл, как его зовут, — я, вероятно, не почувствовал бы раскаленного угля у себя на ладони, если бы она провела щекочущими своими пальцами по моим волосам. То было уже не восхищение или желание, то было колдовство, рок. Часто, вернувшись к себе, под крышу, я неясно различал Феодору в ее особняке, принимал смутное участие в ее жизни; когда она болела — болел и я, и на другой день я говорил ей: «Вы были больны! «

Сколько раз она являлась мне в ночной тишине, вызванная силою моего экстаза! То она возникала предо мной внезапно, как брызнувшие лучи света, ломала мое перо, обращала в бегство науку и прилежание, принуждала меня восхищаться ею — принимала ту соблазнительную позу, в которой я видел ее когда-то. То я сам шел к ней навстречу в мир призраков; я приветствовал ее, как надежду, просил дать мне услышать ее серебристый голос; потом я просыпался в слезах. Однажды, обещав поехать со мною в театр, она вдруг ни с того ни с сего отказалась и попросила оставить ее одну. В отчаянии от этого каприза,

стоившего мне целого дня работы и — признаться ли? — моего последнего экю, я все же отправился в театр один, мне хотелось посмотреть пьесу, которую желала смотреть она. Едва усевшись, я почувствовал электрический толчок в сердце. Какой-то голос сказал мне: «Она здесь».

Оборачиваюсь и вижу графиню в глубине ложи бенуара, в тени. Мой взгляд устремился туда, мои глаза нашли ее сразу, со сказочной зоркостью, моя душа полетела к источнику своей жизни, как насекомое к цветку. Что подало весть моим чувствам? Бывает тайный трепет, который изумляет людей поверхностных, но эти проявления внутренней нашей природы так же просты, как и обычные феномены внешнего нашего зрения, — вот почему я не был удивлен, я только рассердился. Мои исследования душевной силы человека, столь мало изученной, помогли мне по крайней мере найти в своей страсти явные доказательства моей системы. Было что-то странное в таком союзе ученого и влюбленного, самого настоящего идолопоклонства и научных исследований любви. Исследователь часто бывал доволен тем, что приводило в отчаяние любовника, а как только любовник начинал верить в свой триумф, он с блаженным чувством гнал

исследование прочь. Феодора увидела меня и нахмурилась, я стеснял ее. В первом же антракте я пошел к ней в ложу; она была одна, я остался. Хотя мы никогда не говорили о любви, на сей раз я предчувствовал объяснение, Я еще не открывал ей своей тайны, и все же между нами существовало нечто вроде соглашения; она делилась со мной планами развлечений, с каким-то дружеским беспокойством спрашивала накануне, приду ли я завтра; сказав какое-нибудь острое словечко, она бросала на меня вопросительный взгляд, словно желала нравиться только мне; если я дулся, она становилась ласковой; если она гневалась, я имел некоторое право расспрашивать ее; если я совершил какую-нибудь провинность, она, прежде чем простить меня, заставляла долго себя упрашивать. Эти ссоры, которые нам очень нравились, были полны любви: тогда она бывала так кокетлива и мила, а я так счастлив! На этот раз в нашей близости появилась трещина, мы весь вечер оставались чужими друг другу. Графиня была убийственно холодна, я предчувствовал недоброе.

— Проводите меня, — сказала она по окончании спектакля, Погода успела испортиться. Когда мы вышли, шел снег вперемежку с дождем. Карета

Феодоры не могла подъехать к самому театру. Видя, что хорошо одетой даме приходится переходить бульвар, какой-то посыльный раскрыл над нами зонтик, и, когда мы сели в экипаж, попросил на чай. У меня не было ни гроша; за два су я отдал бы тогда десять лет жизни. Моя мужская гордость в многообразных ее проявлениях была раздавлена адской душевной болью. «Нет мелочи, любезный!»— произнес я жестким тоном из-за того, что страсть моя была уязвлена, произнес я, брат этого человека, я, так хорошо знавший, что такое бедность, я, когда-то с такою легкостью отдавший семьсот тысяч франков! Лакей оттолкнул посыльного, и лошади рванулись. Дорогой Феодора была рассеянна или делала вид, что чем-то озабочена, односложно и презрительно отвечала на мои вопросы. Я хранил молчание. То были ужасные минуты. Приехав к ней, мы сели у камина. Слуга зажег огонь и вышел, и тогда графиня обратилась ко мне со странным выражением на лице и как-то торжественно заговорила:

— Когда я приехала во Францию, мое состояние стало предметом соблазна для многих молодых людей; я выслушивала объяснения в любви, которые могли бы польстить моему самолюбию; я встречала и таких людей, привязанность ко-

торых была искрения и глубока, они женились бы на мне, будь я даже совсем бедной девушкой, какою была когда-то. Так знайте же, господин де Валантен, что я могла бы приобрести новые богатства и новые титулы; но да будет вам также известно, что я переставала встречаться с людьми, которые были столь несообразительны, что заговаривали со мною о любви. Будь мое отношение к вам легкомысленно, я не стала бы делать вам предостережений, их подсказывают мне скорее дружеские чувства, нежели гордость. Женщина рискует получить отповедь, когда она, предполагая, что ее любят, заранее отвергает чувство, всегда для нее лестное. Сцены с Арсиноей[58] и Араминтой[59] мне известны, и я знаю, как мне могут ответить при таких обстоятельствах, но я надеюсь, что на этот раз передо мной человек, стоящий выше своей среды, и что вы не поймете меня дурно только потому, что я говорю с вами начистоту.

Она изъяснялась хладнокровно, как адвокат

---

[58] Примечания: 58

Арсиноя — персонаж из комедии Мольера «Мизантроп», тип лицемерной кокетки.

[59] Примечания: 59

Араминта — персонаж из комедии английского драматурга В. Конгрива (1670-1729) «Старый холостяк».

или нотариус, когда они растолковывают своим клиентам процедуру судебного иска или же статью какого-нибудь контракта. Чистый, пленительный звук ее голоса не выдавал ни малейшего волнения; только в лице и в позе, как всегда благородных и скромных, появилась холодность и сухость, словно у дипломата. Разумеется, она подготовила свою речь, заранее составила программу этой сцены. О мой дорогой друг, когда женщины находят наслаждение в том, чтобы терзать наше сердце, когда они вознамерились вонзить нам в сердце кинжал и повернуть его в ране, разве они не очаровательны, разве они не любят и не желают быть любимыми? Когда-нибудь они нас вознаградят за наши муки, как бог воздает, говорят, за добрые дела; сторицею воздадут они наслаждением за зло, жестокость которого они прекрасно сознают; их злость не полна ли страсти? Но терпеть мучение от женщины, которая вас убивает равнодушно, — разве это не ужасная пытка? В то мгновение Феодора, сама того не сознавая, попирала все мои надежды, коверкала мою жизнь и разрушала мое будущее с холодной беспечностью, с невинной жестокостью ребенка, который из любопытства обрывает у бабочки крылья.

— Впоследствии, — добавила Феодора, — вы, надеюсь, увидите, как прочна дружба, которую я предлагаю. Вы убедитесь, что с друзьями я всегда добра, я всегда им предана. Я отдала бы за них жизнь, но если бы я, не разделяя чьего-нибудь чувства, приняла его, вы первый стали бы меня презирать. Довольно, вы единственный человек, которому я сделала это признание.

Сперва у меня не хватило слов, я едва укротил подымавшийся во мне ураган, но вскоре я затаил свое волнение в глубине души и улыбнулся.

— Если я вам скажу, что я вас люблю, — заговорил я, — вы изгоните меня; если я стану обвинять себя в безразличии, вы накажете меня за это.

Священники, судьи и женщины никогда не выворачивают своих одежд наизнанку.

Молчание ничего не предвосхищает — позвольте же мне промолчать. Раз вы обратились ко мне со столь братским предостережением, значит, вы боитесь меня потерять, и эта мысль могла бы польстить моему самолюбию. Но оставим в стороне все личное. Вы, может быть, единственная женщина, с которой я могу философски обсуждать решение, столь противное законам природы. По сравнению с другими особами женского пола вы феномен. Давайте вместе добросовестно искать

причину этой психологической аномалии. Может быть, как у большинства женщин, гордых собою, влюбленных в свои совершенства, в вас говорило чувство утонченного эгоизма, и вы с ужасом думаете о том, что будете принадлежать мужчине, что вам придется отречься от своей воли, подчиниться оскорбительному для вас условному превосходству. Если это так, вы показались бы мне тогда в тысячу раз прекраснее. Или, быть может, первая любовь принесла вам унижение? Быть может, вы дорожите стройностью своей талии, своего изумительного стана и опасаетесь, как бы их не испортило материнство?

Не самый ли это веский тайный довод, который побуждает вас отвергать слишком сильную любовь? Или, быть может, у вас есть недостатки, заставляющие вас быть добродетельной поневоле?.. Не гневайтесь, — я только рассуждаю, изучаю, я за тысячу миль от страсти. Природа, творящая слепорожденных, вполне может создать женщин, слепых и глухонемых в любви. Вы поистине драгоценный объект для медицинских наблюдений. Вы себе цены не знаете. У вас, может быть, вполне законное отвращение к мужчинам; я понимаю вас, все они и мне самому кажутся уродливыми, противными. Ну, разумеется, вы

правы, — добавил я, чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет у меня из груди, — вы должны нас презирать: нет такого мужчины, который был бы достоин вас!

Не стану повторять тебе всех сарказмов, которыми я со смехом осыпал ее.

И что же? Самые колкие слова и самая едкая ирония не вызывали у нее ни одного движения, ни одного жеста досады. Она спокойно слушала меня, а на губах и в глазах ее играла обычная ее улыбка, та улыбка, которою она пользовалась, как маской, всегда одна и та же улыбка — для друзей, для знакомых, для посторонних.

— И вы еще будете говорить, что я недобрая, после того как я позволила вам разбирать меня по косточкам! — сказала она, уловив минуту, когда я молча смотрел на нее. — Видите, — со смехом продолжала она, — у меня нет глупой щепетильности в дружбе. Немало женщин в наказание за ваши дерзости указали бы вам на дверь.

— Вы вольны прогнать меня без всяких объяснений.

Говоря это, я чувствовал, что способен убить ее, если она откажет мне от дома.

— Сумасшедший! — с улыбкой воскликнула она.

— Вы когда-нибудь думали о проявлениях сильной любви? — снова заговорил я. — В отчаянии мужчина нередко убивает свою возлюбленную.

— Лучше умереть, чем быть несчастной, — холодно отвечала она. — Человек, такой страстный по натуре, как вы, когда-нибудь непременно промотает состояние жены и уйдет, а ее оставит ни при чем.

Подобная арифметика ошеломила меня. Я отчетливо увидел пропасть между этой женщиной и собою. Мы бы никогда не могли понять друг друга.

— Прощайте, — сказал я холодно.

— Прощайте, — отвечала она, дружески кивнув мне. — До завтра.

Я на мгновение задержался и бросил на нее взгляд, полный любви, от которой я уже отрекся. Она стояла и улыбалась, и заученная эта улыбка, ненавистная улыбка мраморной статуи, казалось, выражала любовь, но только холодную. Понимаешь ли ты, милый мой, какая тоска охватила меня, когда я, под дождем и снегом, возвращался домой, когда я, все потеряв, целую милю шагал по обледенелой набережной? О, каково было знать, что ей и в голову не могло прийти бедственное мое положение, — она думала, что я

богат, как она, и разъезжаю в каретах! Сколько разбитых надежд, сколько разочарований! Дело было не только в деньгах, но во всех богатствах моей души. Я шел наугад, сам с собой обсуждая странный этот разговор, и так запутался в своих комментариях, что в конце концов стал сомневаться в прямом значении слов и понятий. И все же я ее любил, любил эту холодную женщину, которая стремилась к тому, чтобы снова и снова завоевывали ее сердце, которая вечно отрекалась от своих вчерашних обещаний и всякий день меняла свой облик. Проходя мимо Института, я вдруг почувствовал лихорадочную дрожь. Тут я вспомнил, что ничего не ел. У меня не было ни гроша. В довершение всех бед от дождя села моя шляпа. Как теперь подойти к элегантной даме, как появиться в гостиной со шляпой, которую остается только выбросить! Сколь ни проклинал я глупую, дурацкую моду, из-за которой мы обречены выставлять напоказ наши головные уборы, постоянно держать их в руке, все же благодаря исключительным моим заботам шляпа до сих пор находилась у меня в сносном состоянии. Не будучи ни особенно новой, ни чересчур старой, ни облезлой, ни лоснящейся, она могла сойти за шляпу человека аккуратного; но искусственно

поддерживаемое ее существование достигло последнего своего предела: шляпа моя покоробилась, была испорчена вконец, никуда не годилась, стала настоящей ветошью, достойной своего хозяина. За неимением тридцати су на извозчика пропали все мои усилия сохранить свою элегантность. Ах, каких только неведомых жертв не принес я Феодоре за эти три месяца! Ради того, чтобы на секунду увидеться с нею, я часто жертвовал деньгами, на которые мог бы купить себе хлеба на целую неделю. Забросить работу и голодать — это еще пустяки! Но пройти через весь Париж и не быть забрызганным грязью, бегом спасаться от дождя и являться к ней столь же прилично одетым, как и окружавшие ее фаты, — ах, для влюбленного и рассеянного поэта подобная задача представляла трудности неисчислимые! Мое блаженство, моя любовь зависели от темной точечки на моем единственном белом жилете! Отказываться от встречи с нею, если я запачкался, если я промок! Не иметь и пяти су для чистильщика, который стер бы с сапог едва приметные брызги грязи! Моя страсть возрастала от этих мелких, никому не ведомых мучений, безмерных для человека раздражительного. Бедняки обречены на жертвы, о которых

им возбраняется говорить женщинам, живущим в сфере роскоши и элегантности, смотрящим на мир сквозь призму, которая позлащает людей и вещи. Оптимистки из эгоизма, жестокие из-за хорошего тона, они ради удовольствий избавляют себя от размышлений и оправдывают свое равнодушие к чужим несчастьям любовью к наслаждениям. Для них грош никогда не стоит миллиона, но миллион представляется им грошом. Мало того что любви приходится отстаивать свои интересы при помощи великих жертв, она еще должна скромно набрасывать на них покров, погребать их в молчании; но люди богатые, растрачивая свое состояние и жизнь, жертвуя собою, извлекают пользу из светских предрассудков, которые всегда придают известный блеск их любовным безумствам; у них молчание красноречиво и наброшенный покров прелестен, тогда как меня жестокая нужда обрекла на ужасающие страдания, — ведь мне даже не позволено было сказать: «Люблю! „ или «Умираю! «. Но в конечном счете было ли это самопожертвованием? Не щедро ли я был вознагражден блаженством, которое ощущал, все предавая на заклание ради нее? Благодаря графине пошлейшие случаи в моей жизни приобретали особую ценность, с

ними были связаны необычайные наслаждения. Прежде равнодушный к своему туалету, теперь я чтил свой фрак, как свое второе «я“. Быть раненым самому или разорвать фрак? Я не колебался бы в выборе! Представь себя на моем месте, и ты поймешь те бешеные мысли, ту возрастающую ярость, какие овладевали мной, пока я шел, и, верно, от ходьбы еще усиливались! Какую адскую радость испытывал я, чувствуя, что нахожусь на краю отчаяния! В этом последнем кризисе я хотел видеть предзнаменование счастья; но сокровищницы зол бездонны.

В гостинице дверь была приотворена. Сквозь отверстия в ставнях, прорезанные в виде сердечка, на улицу падал свет. Полина с матерью, поджидая меня, разговаривали. Я услыхал свое имя и прислушался.

— Рафаэль гораздо красивее студента из седьмого номера! — говорила Полина. — У него такие прекрасные белокурые волосы! Тебе не кажется, что в его голосе есть что-то хватающее за душу? И потом, хотя вид у него несколько гордый, он такой добрый, а какие у него хорошие манеры! Он мне очень, очень нравится! Я уверена, что все женщины от него без ума.

— Ты говоришь о нем так, словно влюблена в

него, — заметила госпожа Годэн.

— О, я люблю его как брата! — смеясь, возразила Полина. — И с моей стороны было бы верхом неблагодарности, если б у меня не возникло к нему дружеских чувств. Не он ли обучал меня музыке, рисованию, грамматике — словом, всему, что я теперь знаю? Ты не обращаешь внимания на мои успехи, мама, а я становлюсь такой образованной, что скоро могу давать уроки, и тогда мы возьмем служанку.

Я неслышно отошел; потом нарочно зашумел и вошел в залу за лампой.

Полина сама захотела ее зажечь. Бедное дитя пролило целительный бальзам на мои язвы. Наивные эти похвалы придали мне немного бодрости. Я почувствовал необходимость веры в себя и беспристрастной оценки моих действительных достоинств. То ли вспыхнувшие во мне надежды бросили отсвет на все, что меня окружало, то ли я до сих пор не всматривался как следует в ту сценку, которая так часто открывалась моим глазам в зале, где сидели эти две женщины, — но на этот раз я залюбовался прелестнейшей картиной во всей ее реальности, той скромной натурой, которую с такой наивностью воспроизвели фламандские живописцы. Мать, сидя у почти

погасшего очага, вязала чулок, и губы ее были сложены в добрую улыбку. Полина раскрашивала веера, разложенные на маленьком столике, кисти ее и краски невольно задерживали на себе взгляд; когда ж она встала и начала зажигать лампу, весь свет упал ни белую ее фигуру; только человек, порабощенный ужасной страстью, мог не любоваться ее прозрачными розовыми руками, идеальной формой головы и всем девственным ее видом! Ночная тишина придавала особое очарование этой поздней работе, этой мирной домашней сцене. Вечно в труде и всегда веселые, эти женщины проявляли христианское смирение, исполненное самых возвышенных чувств. Непередаваемая гармония существовала здесь между вещами и людьми. Роскошь Феодоры была бездушна, наводила меня на дурные мысли, тогда как эта смиренная бедность, эта простота и естественность освежали мне душу. Быть может, среди роскоши я чувствовал себя униженным, а возле этих двух женщин, в темной зале, где упрощенная жизнь, казалось, находила себе приют в движении сердца, я, быть может, примирялся с самим собою: здесь мне было кому оказать покровительство, а мужчине всегда хочется, чтобы его считали покровителем.

Когда я подошел к Полине, она бросила, на меня взгляд почти материнский, руки у нее задрожали, и, быстро поставив лампу, она воскликнула:

— Боже, как вы бледны! Ах, да он весь вымок! Мама высушит ваше платье... Вы любите молоко, — продолжала она, — сегодня у нас есть сливки, хотите попробовать?

Как кошечка, бросилась она к большой фарфоровой чашке с молоком и подала мне ее с такой живостью, поставила ее прямо передо мной так мило, что я стал колебаться.

— Неужели вы мне откажете? — сказала она изменившимся голосом.

Мы, оба гордецы, понимали друг друга: Полина, казалось, страдала от своей бедности и упрекала меня в высокомерии. Я был тронут. Эти сливки, вероятно, были ее утренним завтраком. Однако я не отказался. Бедная девушка пыталась скрыть радость, но она искрилась в ее глазах.

— Да, я проголодался, — сказал я садясь. (Тень озабоченности пробежала по ее лбу.) — Помните, Полина, то место у Боссюэ, где он говорит, что бог за стакан воды воздаст обильнее, чем за победу.

— Да, — отвечала она.

И грудь у нее затрепетала, как у птенца малиновки в руках ребенка.

— Вот что, — добавил я не вполне твердым голосом, — мы скоро расстанемся, — позвольте же выразить вам благодарность за все заботы, ваши и вашей матушки.

— О, не будем считаться! — сказала она смеясь. Смех ее скрывал волнение, от которого мне стало больно.

— Мое фортепьяно, — продолжал я, притворяясь, что не слышал ее слов, — один из лучших инструментов Эрара. Возьмите его себе. Возьмите его себе без всяких разговоров, — я собираюсь путешествовать и, право же, не могу захватить его с собой.

Быть может, грустный тон, каким я произнес эти слова, навел обеих женщин на размышления, только они, казалось, поняли, что творилось в моей душе, и внимательно посмотрели на меня; во взгляде их было и любопытство и ужас. Привязанность, которой я искал в холодных сферах большого света, была здесь передо мной, безыскусственная, но зато умилительная и, быть может, прочная.

— Напрасно вы это затеяли, — сказала мать. — Оставайтесь здесь. Мой муж теперь уже в пути, — продолжала она. — Сегодня вечером я читала евангелие от Иоанна, а Полина в это время при-

вязала к библии ключ и держала его на весу. И вот ключ повернулся. Это верная примета, что Годэн здоров и благополучен. Полина погадала еще для вас и для молодого человека из седьмого номера, но ключ повернулся только для вас. Мы все разбогатеем.

Годэн вернется миллионером: я видела его во сне на корабле, полном змей; к счастью, вода была мутной, что означает золото и заморские драгоценные камни.

Эти дружеские пустые слова, похожие на те невнятные песни, какими мать убаюкивает больного ребенка, до некоторой степени успокоили меня. Голос и взгляд доброй женщины были исполнены той теплоты и сердечности, которые не уничтожают скорби, но умеряют ее, убаюкивают и успокаивают. Полина, более прозорливая, чем мать, смотрела на меня испытующе и тревожно, ее умные глаза, казалось, угадывали мою жизнь, мое будущее. В знак благодарности я поклонился матери и дочери, затем, боясь расчувствоваться, поспешил уйти.

Оставшись один на один с самим собою, я углубился в свое горе. Роковое мое воображение рисовало мне множество беспочвенных проектов и диктовало неосуществимые решения. Когда

человек влачит жизнь среди обломков прежнего своего благополучия, он находит хоть какую-нибудь опору, но у меня не было решительно ничего. Ах, милый мой, мы слишком легко во всем обвиняем бедность! Будем снисходительны к результатам активнейшего из всех социальных растворителей. Где царит бедность, там не существует больше ни стыда, ни преступлений, ни добродетелей, ни ума. Без мыслей, без сил, я был в таком же состоянии, как та девушка, что упала на колени перед тигром. Человек без страстей и без денег еще располагает собою, но влюбленный бедняк уже не принадлежит себе и убить себя не может. Любовь внушает нам благоговейное чувство к самим себе, мы чтим в нас другую жизнь; любовь становится ужаснейшим из несчастий — несчастьем, не лишенным надежды, и надежда эта заставляет нас терпеть пытку. Я заснул с мыслью пойти на следующий день к Растиньяку и рассказать ему о странном решении Феодоры.

— Ага! Ага! — вскричал Растиньяк, когда я в девять часов утра входил к нему. — Знаю, отчего ты пришел: верно, Феодора дала тебе отставку. Добрые души, завидовавшие твоему влиянию на графиню, уже объявили о вашей свадьбе.

Бог знает, какие безумные поступки припи-

сывали тебе твои соперники и как они тебя чернили!

— Все ясно! — воскликнул я.

Я вспомнил все свои дерзости и нашел, что графиня держала себя превосходно. Сам себе я казался подлецом, который еще недостаточно поплатился, а в ее снисходительности я усматривал лишь терпеливое милосердие любви.

— Не будем спешить с выводами, — сказал здравомыслящий гасконец. — У Феодоры дар проницательности, свойственный женщинам глубоко эгоистичным; она, может быть, составила о тебе суждение еще тогда, когда ты видел в ней только ее богатство и роскошь; как ты ни был изворотлив, она все прочла у тебя в душе. Она сама такая скрытница, но беспощадна к малейшей скрытности в других. Пожалуй, — добавил он, — я толкнул тебя на дурной путь. При всей тонкости своего ума и обхождения она мне представляется существом властным, как все женщины, которые знают только рассудочные наслаждения. Для нее все блаженство состоит в житейском благополучии, в светских развлечениях; чувство для нее — только одна из ее ролей; она сделала бы тебя несчастным и превратила в своего главного лакея…

Растиньяк говорил глухому. Я прервал его и с наигранной веселостью обрисовал свое материальное положение.

— Вчера вечером злая судьба похитила у меня все деньги, которыми я мог располагать, — сказал Растиньяк. — Не будь этой пошлой неудачи, я охотно предложил бы тебе свой кошелек. Поедем-ка завтракать в кабачок, — может быть, за устрицами что-нибудь и придумаем.

Он оделся, приказал заложить тильбюри; затем, как два миллионера, с наглостью тех нахальных спекулянтов, которые живут воображаемыми капиталами, мы прибыли в «Парижскую кофейню». Этот чертов гасконец подавлял меня своей развязностью и непоколебимой самоуверенностью. За кофе, после весьма изысканного и обдуманного завтрака, раскланявшись уже с целой толпой молодых людей, обращавших на себя внимание приятной своей наружностью и элегантностью костюма, Растиньяк при виде одного из таких денди сказал:

— Ну, твои дела идут на лад.

Этому джентльмену с отличным галстуком, выбиравшему для себя столик, он сделал знак, что хочет с ним поговорить.

— Сей молодчик получил орден за то, что вы-

пустил в свет сочинения, в которых он ничего не смыслит, — шепнул мне Растиньяк. — Он химик, историк, романист, публицист; он получает четверть, треть и даже половину гонорара за множество пьес, и при всем том он круглый невежда. Это не человек, а имя, примелькавшаяся публике этикетка. Поэтому он остерегается входить в те конторские комнаты, на дверях которых висит надпись: «Здесь можно писать самому». Он так хитер, что одурачит целый конгресс. Короче говоря, это нравственный метис: он не вполне честен и не совершенный негодяй. Но тсс! Он уже дрался на дуэли, а свету больше ничего не нужно, и о нем говорят: «Это человек почтенный… «

— Ну-с, мой дорогой, мой почтенный друг, как изволите себя чувствовать, ваше высокомыслие? — спросил Растиньяк, как только незнакомец сел за соседний столик.

— Так себе, ни хорошо, ни плохо… Завален работой. У меня в руках все материалы, необходимые для составления весьма любопытных исторических мемуаров, а я не знаю, под каким соусом их подать. Это меня мучит. Нужно спешить, — мемуары того и гляди выйдут из моды.

— Мемуары современные или старинные? О придворной жизни или еще о чем-нибудь?

— О деле с ожерельем.

— Ну, не чудо ли это? — со смехом сказал Растиньяк спекулянту, указывая на меня. — Господин де Валентен — мой друг, рекомендую вам его как будущую литературную знаменитость. Когда-то его тетка, маркиза, была в большой силе при дворе, а он сам вот уже два года работает над историей революции в роялистском духе. — И, наклонясь к уху этого своеобразного негоцианта, он прибавил:

— Человек талантливый, но простак; он может написать вам эти мемуары от имени своей тетки по сто экю за том.

— Идет, — сказал тот, поправляя галстук. — Человек, где же мои устрицы?!

— Да, но вы заплатите мне двадцать пять луидоров комиссионных, а ему — за том вперед, — продолжал Растиньяк.

— Нет, нет. Авансу не больше пятидесяти экю — так я буду спокоен, что скоро получу рукопись.

Растиньяк шепотом передал мне содержание этого торгашеского разговора.

Затем, не дожидаясь моего ответа, объявил:

— Мы согласны. Когда вас можно повидать, чтобы с этим покончить?

— Что же, приходите сюда обедать завтра в

семь часов вечера.

Мы встали, Растиньяк бросил лакею мелочь, а счет сунул в карман, и мы вышли. Та легкость и беспечность, с какою он продал мою почтенную тетушку, маркизу де Монборон, потрясла меня.

— Я предпочту уехать в Бразилию и обучать там индейцев алгебре, в которой я ничего не смыслю, нежели запятнать честь моего рода!

Растиньяк расхохотался.

— Ну, не дурак ли ты! Бери сперва пятьдесят экю и пиши мемуары. Когда они будут закончены, ты откажешься напечатать их под именем тетки, болван!

Госпожа де Монборон, умершая на эшафоте, ее фижмы, ее имя, красота, притирания, туфли, разумеется, стоят больше шестисот франков. Если издатель не даст тебе тогда за тетку настоящей цены, он найдет какого-нибудь старого проходимца шевалье или захудалую графиню, чтобы подписать мемуары.

— О, зачем я покинул свою добродетельную мансарду! — вскричал я. — Свет с изнанки так грязен, так подл!

— Ну, это поэзия, — возразил Растиньяк, — а мы говорим о деле. Ты младенец. Слушай: что касается мемуаров, то их оценит публика, что

же касается этого литературного сводника, то разве у него не ушло на это восемь лет жизни, разве он не заплатил за свои издательские связи жестоким опытом?

Труд над книгой будет у вас разделен неравномерно, но ведь ты получишь большую часть, не правда ли? Двадцать пять луидоров для тебя дороже, чем тысячи франков для него. Ну почему тебе не написать исторические мемуары, как-никак это произведение искусства, а ведь Дидро за сто экю составил шесть проповедей!

— В конце концов, — проговорил я в волнении, — это для меня единственный выход. Итак, мой друг, позволь поблагодарить тебя. Пятьдесят экю сделают меня богатым…

— Богаче, чем ты думаешь, — прервал он меня со смехом. — Фино платит мне за комиссию. — Разве ты не догадался, что и это пойдет тебе? Поедем в Булонский лес, — сказал он. — Увидим там твою графиню. Да, кстати, я покажу тебе хорошенькую вдовушку, на которой собираюсь жениться; очаровательная особа, эльзаска, правда, толстовата. Читает Канта, Шиллера, Жан-

Поля[60] и уйму книг по гидравлике. У нее мания постоянно спрашивать мое мнение, приходится делать вид, что знаешь толк в немецких сантиментах, я уже проглотил целую кучу баллад, все эти снотворные снадобья, которые мне запрещает доктор. Мне пока еще не удалось отучить ее от литературных восторгов: она плачет навзрыд, читая Гете, и мне тоже приходится немножко поплакать за компанию, ибо, мой милый, как-никак — пятьдесят тысяч ливров дохода и самая хорошенькая ножка, самая хорошенькая ручка в мире… Ах, не произноси она пашественный вместо божественный, она была бы совершенством!

Мы видели графиню, блистательную в блистательном своем экипаже. Кокетка кивнула нам весьма приветливо и подарила меня улыбкой, которая показалась мне тогда небесной и полной любви. Ах, я был очень счастлив, мне казалось, что меня любят, у меня были деньги и сокровища страсти, я уже не чувствовал себя обездоленным! У меня было легко на сердце, я был весел, всем доволен и оттого нашел, что возлюбленная моего

[60] Примечания: 60

Дело с ожерельем — Имеется в виду нашумевшее скандальное дело о покупке ожерелья королевой Марией-Антуанеттой, в котором были замешаны многие видные французские государственные деятели, представители знати, духовенства и проч.

друга очаровательна. Деревья, воздух, небо — вся природа, казалось, повторяла мне улыбку Феодоры. На возвратном пути мы заехали к шляпнику и портному Растиньяка. Дело с ожерельем[61] дало мне возможность перейти с жалкого мирного положения на грозное военное. Отныне я смело мог состязаться в изяществе и элегантности с молодыми людьми, которые увивались вокруг Феодоры. Я вернулся домой и заперся; я сохранял наружное спокойствие, а меж тем, глядя на свое чердачное окно, я навеки прощался с крышами. Я уже весь был в будущем, видел свою грядущую жизнь как бы на сцене, заранее наслаждался любовью и ее радостями.

О, каким бурным может стать существование в четырех стенах мансарды! Душа человеческая — точно фея; соломинку обращает она в алмазы; по мановению ее волшебной палочки вырастают сказочные дворцы, как полевые цветы под теплым дыханием солнца. На другой день, около полудня, Полина тихо постучала в дверь и подала мне — угадай, что? — письмо от Феодоры. Графиня предлагала встретиться с нею в Люксембургском саду, чтобы вместе отправиться в музей

---

[61] Примечания: 61
Жан-Поль Рихтер (1763-1825) — немецкий писатель-романтик.

и в Зоологический сад.

— Посыльный ждет ответа, — помолчав, сказала Полина.

Быстро нацарапал я слова благодарности, и Полина унесла ответ. Я стал одеваться. И вот, когда, довольный собой, я уже кончал свой туалет, ледяная дрожь охватила меня при мысли: «Приедет туда Феодора в карете или придет пешком? Будет дождь или солнце? Все равно, пешком ли, в карете ли, — думал я, — разве можно положиться на капризный нрав женщины? У нее может с собой не оказаться денег, а она захочет подать милостыню мальчишке — савойяру за то, что у него живописные лохмотья.

У меня не было и медной монетки, деньги я должен был получить только вечером. О, как дорого во время этих юношеских кризисов платит поэт за ту умственную силу, которой его облекают строгий образ жизни и труд! В одно мгновение целый рой стремительных мыслей больно ужалил меня тысячью жал. Я взглянул на небо в свое чердачное окно: погода была очень ненадежная.

Правда, в крайнем случае я мог бы взять карету на целый день, но разве тогда я, наслаждаясь счастьем, не трепетал бы каждую минуту при мысли, что не встречусь вечером с Фино? Я не

чувствовал в себе достаточно сил, чтобы в часы радости терпеть такие страхи. Хотя я был уверен в безуспешности поисков, я все же предпринял полный осмотр своей комнаты: искал воображаемые экю даже в тюфяке, перерыл все, вытряс даже старые сапоги.

Дрожа, как в лихорадке, я оглядывал опрокинутую мебель блуждающим взглядом. Представляешь себе, как я обезумел от радости, когда, в седьмой раз открыв ящик письменного стола, который я перерывал с небрежностью отчаяния, я заметил, что у боковой доски прижалась, притаилась монета в сто су, чистенькая, блестящая, сияющая, как восходящая звезда, прекрасная и благородная? Не упрекая ее за молчание и за жестокость, с какой она от меня пряталась, я поцеловал ее, как друга, верного в несчастье, я приветствовал ее криком, которому отвечало какое-то эхо. Быстро обернувшись, я увидел Полину, — она была бледна.

— Я думала, не ушиблись ли вы! — проговорила она в волнении. — Посыльный... (Она недоговорила, ей точно не хватало воздуху.) Но мама заплатила ему, — прибавила она.

Потом она убежала, веселая, по-детски игривая, как воплощенный каприз.

Милая девочка! Я пожелал ей найти свое счастье, как нашел его я. У меня было тогда такое чувство, словно душа моя вмещает всю земную радость, и мне хотелось вернуть обездоленным ту часть, которую, как мне казалось, я у них украл.

Дурные предчувствия нас почти никогда не обманывают: графиня отпустила свой экипаж. Из прихоти, как это бывает с хорошенькими женщинами — по причинам, неведомым порою даже им самим, — она пожелала идти в Зоологический сад пешком бульварами.

— Будет дождь, — сказал я.

Ей нравилось мне противоречить. Как нарочно, пока мы шли по Люксембургскому саду, солнце светило ярко. Но не успели мы выйти оттуда, как из тучи, давно уже внушавшей мне опасение, упало несколько капель; мы сели в фиакр. Когда мы доехали до бульваров, дождь перестал, небо снова прояснилось. Подъехав к музею, я хотел отпустить карету, но Феодора попросила не отпускать. Сколько мучений! Болтать с ней, подавляя тайный восторг, который, наверное, сказывался в глупой улыбке, застывшей у меня на лице; бродить по саду, ходить по тенистым аллеям, чувствовать, как ее рука опирается на мою, — во всем этом было нечто фантастическое: то был сон

наяву. А между тем шла она или останавливалась, в ее движениях, несмотря на кажущееся их сладострастие не было ничего нежного, ничего любовного. Когда я старался хоть сколько-нибудь примениться к ее движениям, я чувствовал в ней внутреннюю затаенную напряженность, что-то порывистое и неуравновешенное.

Жестам бездушных женщин не свойственна мягкость. Вот отчего сердца наши бились не в лад и шли мы не в ногу. Не найдены еще слова для того, чтобы передать подобную телесную дисгармонию между двумя существами, ибо мы еще не привыкли улавливать в движении мысль. Это явление нашей природы угадывается инстинктивно и выражению не поддается.

— Во время жестоких пароксизмов страсти, — после некоторого молчания продолжал Рафаэль, как бы возражая самому себе, — я не анатомировал своих чувствований, не анализировал своих наслаждений, не подсчитывал биений сердца, подобно тому как скупец исследует и взвешивает свои золотые монеты.

О нет, только теперь опыт проливает свой печальный свет на минувшие события и память приносит мне эти образы, как в ясную погоду волны моря один за другим выбрасывают на

берег обломки разбитого корабля.

— Вы можете оказать мне важную услугу, — заговорила графиня, в смущении глядя на меня. — После того как я призналась вам в своем недоброжелательном отношении к любви, мне легче просить вас о любезности во имя дружбы. Не больше ли будет теперь ваша заслуга, — продолжала она со смехом, — если вы сделаете мне одолжение?

Я смотрел на нее с тоской. Ничего не ощущая в моем присутствии, она лукавила, а не любила; казалось, она играет роль, как опытная актриса; потом вдруг ее взгляд, оттенок голоса, какое-нибудь слово вновь подавали мне надежду; но если глаза мои загорались любовью, лучи их не согревали ее взгляда, глаза ее сохраняли невозмутимую ясность, сквозь них, как у тигра, казалось, просвечивала металлическая пластинка. В такие минуты я ненавидел Феодору.

— Мне было бы очень важно, — продолжала она вкрадчивым голосом, — если бы герцог де Наваррен замолвил за меня словечко одной всемогущей особе в России, посредничество которой мне необходимо, чтобы восстановить свои законные права, от чего зависит и мое состояние и мое положение в свете, — мне надо добиться, чтобы

император признал мой брак. Ведь герцог — ваш родственник, не правда ли? Его письма было бы достаточно.

— Я к вашим услугам, — сказал я. — Приказывайте.

— Вы очень любезны, — заметила она, пожав мне руку. — Поедемте ко мне обедать, я расскажу вам все, как на духу.

Итак, эта женщина, столь недоверчивая, столь замкнутая, от которой никто не слыхал ни слова о ее делах, собиралась со мной советоваться.

— О, как я рад теперь, что вы приказали мне молчать! — воскликнул я.

— Но мне бы хотелось еще более сурового испытания.

В этот миг она не осталась равнодушной к упоению, сквозившему в моих глазах, и не отвергла моего восторга — значит, она любила меня! Мы приехали к ней. К моему великому счастью, содержимого моего кошелька хватило, чтобы расплатиться с извозчиком. Я чудесно провел время наедине с нею у нее в доме; впервые мы виделись с ней таким образом. До этого дня свет, его стеснительная учтивость, его холодные условности вечно разлучали нас даже во время ее роскошных обедов; на этот раз я чувствовал себя с нею так,

будто мы жили под одной кровлей, — она как бы принадлежала мне. Пламенное мое воображение разбивало оковы, по своей воле распоряжалось событиями, погружало меня в блаженство счастливой любви. Я представлял себя ее мужем и приходил в восторг, когда ее занимали разные мелочи; видеть, как она снимает шаль и шляпу, было для меня уже счастьем. На минуту она оставила меня одного и, поправив прическу, вернулась — она была обворожительна. И такою она хотела быть для меня! За обедом она была ко мне чрезвычайно внимательна, бесконечное ее обаяние проступало во всяких пустяках, которые как будто не имеют цены, но составляют половину жизни. Когда мы вдвоем уселись в креслах, обитых шелком, у потрескивающего камина, среди лучших измышлений восточной роскоши, когда я увидел так близко от себя женщину, прославленная красота которой заставляла биться столько сердец, когда эта недоступная женщина разговаривала со мной, обращая на меня всю свою кокетливость, — мое блаженство стало почти мучительным. Но я вспомнил, что мне ведь, к несчастью, нужно было уйти по важному делу, и решил пойти на свидание, назначенное мне накануне.

— Как! Уже? — сказала она, видя, что я берусь за шляпу.

Она меня любила! По крайней мере я это подумал, заметив, как ласково произнесла она эти два слова. Чтобы продлить свой восторг, я отдал бы по два года своей жизни за каждый час, который ей угодно было уделить мне. А мысль о потере денег только увеличила мое счастье. Лишь в полночь она отпустила меня. Однако наутро мой героизм доставил мне немало горьких сожалений; я боялся, что упустил заказ на мемуары, дело для меня столь существенное; я бросился к Растиньяку, и мы застали еще в постели того, кто должен был поставить свое имя на будущих моих трудах. Фино прочел мне коротенький контракт, где и речи не было о моей тетушке, мы подписали его, и Фино отсчитал мне пятьдесят экю. Мы позавтракали втроем. Я купил новую шляпу, абонировался на шестьдесят обедов по тридцать су, расплатился с долгами, и у меня осталось только тридцать франков; но на несколько дней все трудности жизни были устранены. Послушать Растиньяка, так у меня были бы сокровища — стоило лишь принять английскую систему. Он во что бы то ни стало хотел устроить мне кредит и заставить меня войти в долги, — он уверял, что долги укреп-

ляют кредит. Будущее, по его словам, — это самый крупный, самый солидный из всех капиталов. Под залог будущих моих достижений он поручил своему портному обшивать меня, ибо тот понимал, что такое молодой человек, и готов был не беспокоить меня до самой моей женитьбы. С этого дня я порвал с монашеской жизнью ученого, которую вел три года. Я стал завсегдатаем у Феодоры и старался перещеголять посещавших ее наглецов и любимцев общества.

Полагая, что нищета мне уже не грозит, я чувствовал себя теперь в светском кругу непринужденно, сокрушал соперников и слыл за обаятельного, неотразимого сердцееда. Однако опытные интриганы говорили про меня: «У такого остряка страсти в голове!»Они милостиво превозносили мой ум — за счет чувствительности. «Счастлив он, что не любит! — восклицали они. — Если б он любил, разве был бы у него такой подъем, такая веселость?»А между тем, как истый влюбленный, я был донельзя глуп в присутствии Феодоры!

Наедине с ней я не знал, что сказать, а если говорил, то лишь злословил о любви; я бывал жалок в своей веселости, как придворный, который хочет скрыть жестокую досаду. Словом, я

старался стать необходимым для ее жизни, для ее счастья, для ее тщеславия; вечно подле нее, я был ее рабом, игрушкой, всегда готов был к ее услугам. Растратив таким образом свой день, я возвращался домой и, проработав всю ночь, засыпал лишь под утро на два, на три часа.

Однако опыта в английской системе Растиньяка у меня не было, и вскоре я оказался без гроша. Тогда, милый мой друг, для меня, для фата без любовных побед, франта без денег, влюбленного, затаившего свою страсть, снова началась жизнь, полная случайностей; я снова впал в нужду, ту холодную и глубокую нужду, которую тщательно скрывают под обманчивой видимостью роскоши. Я вновь переживал свои первоначальные муки, — правда, с меньшею остротою: должно быть, я уже привык к их жестоким приступам. Сладкие пирожки и чай, столь скупо предлагаемые в гостиных, часто бывали единственной моей пищей. Случалось, что роскошные обеды графини служили мне пропитанием на два дня. Все свое время, все свои старания, всю наблюдательность я употреблял на то, чтобы глубже постигнуть непостижимый характер Феодоры. До сих пор на мои суждения влияла надежда или отчаяние: я видел в ней то женщину, страстно

любящую, то самую бесчувственную представительницу своего пола; но эти смены радости и печали становились невыносимыми: я жаждал исхода ужасной этой борьбы, мне хотелось убить свою любовь. Мрачный свет горел порою у меня в душе, и тогда я видел между нами пропасть. Графиня оправдывала все мои опасения; ни разу не удалось мне подметить хотя бы слезинку у нее на глазах; в театре, во время самой трогательной сцены, она оставалась холодной и насмешливой. Всю тонкость своего ума она хранила для себя и никогда не догадывалась ни о чужой радости, ни о чужом горе. Словом, она играла мной.

Радуясь, что я могу принести ей жертву, я почти унизился ради нее, отправившись к своему родственнику, герцогу де Наваррену, человеку эгоистическому, который стыдился моей бедности и, так как был очень виноват передо мною, ненавидел меня. Он принял меня с той холодной учтивостью, от которой и в словах и в движениях появляется нечто оскорбительное. Его беспокойный взгляд возбудил во мне чувство жалости: мне стало стыдно, что он так мелок в своем величии, что он так ничтожен среди своей роскоши. Он завел речь об убытках, понесенных им на трехпроцентном займе; тогда я заговорил о цели

моего визита. Перемена в его обращении, которое из ледяного мало-помалу превратилось в сердечное, была мне отвратительна. И что же, мой друг? Он пошел к графине и уничтожил меня. Феодора нашла для него неведомые чары и обольщения; она пленила его и без моего участия устроила таинственное свое дело, о котором я так ничего и не узнал. Я послужил для нее только средством!.. Когда мой родственник бывал у нее, она, казалось, не замечала меня и принимала, пожалуй, еще с меньшим удовольствием, чем в тот день, когда я был ей представлен. Раз вечером она унизила меня перед герцогом одним из тех жестов, одним из тех взглядов, которые никакие слова не могли бы описать. Я вышел в слезах, я строил планы мщения, обдумывая самые ужасные виды насилия… Я часто ездил с ней в Итальянский театр; там, возле нее, весь отдавшись любви, я созерцал ее, предаваясь очарованию музыки, истощая душу двойным наслаждением — любить и обретать в музыкальных фразах искусную передачу движений своего сердца. Моя страсть была в самом воздухе, вокруг нас, на сцене; она царила всюду, только не в сердце моего кумира. Я брал Феодору за руку и, всматриваясь в ее черты, в ее глаза, домогался того слияния чувств, той внезапной

гармонии, которую пробуждает порою музыка, заставляя души вибрировать в унисон; но рука ее ничего не отвечала, и глаза не говорили ничего. Когда пламя сердца, исходящее от каждой моей черты, слишком сильно било ей в глаза, она дарила мне деланную улыбку, ту условную улыбку, которую воспроизводят все салонные портреты. Музыки она не слушала.

Божественные страницы Россини, Чимарозы, Цингарелли не вызывали в ней никакого чувства, не будили никаких поэтических воспоминаний: душа ее была бесплодна. Феодора сама являлась зрелищем в зрелище. Ее лорнет все время странствовал по ложам; вечно испытывая беспокойство, хотя и спокойная с виду, она была жертвою моды: ее ложа, шляпа, карета, собственная ее особа были для нее всем. Часто можно встретить людей, по внешности колоссов, в бронзовом теле которых бьется сердце доброе и нежное; она же под хрупкой и изящной оболочкой таила бронзовое сердце. Немало покровов было сорвано с нее роковой моей наукой. Если хороший тон состоит в том, чтобы забывать о себе ради других, чтобы постоянно сохранять мягкость в голосе и движениях, чтобы нравиться собеседнику, пробуждая в нем уверенность

в самом себе, — то, несмотря на всю свою хитрость, Феодора не могла стереть с себя следы плебейского происхождения: самозабвение было у нее фальшью; ее манера держаться была не врожденной, но старательно выработанной; наконец, ее любезность отзывалась чем-то рабьим! И что же! Ее любимцы принимали сладкие ее слова за проявление доброты, претенциозные преувеличения — за благородный энтузиазм. Один лишь я изучил ее гримасы, снял с ее внутреннего существа ту тонкую оболочку, которою довольствуется свет; меня уже не могли обмануть ее кривлянья: я знал все тайники ее кошачьей души. Когда какой-нибудь дурак говорил ей комплименты и превозносил ее, мне было за нее стыдно. И все-таки я любил ее! Я надеялся, что любовь поэта теплым веяньем своих крыл растопит этот лед. Если бы мне хоть однажды удалось раскрыть ее сердце для женской нежности, если бы я приобщил ее к возвышенной жертвенности любви, она стала бы для меня совершенством, ангелом. Я любил ее, любил как мужчина, как возлюбленный, как художник, — меж тем, чтобы овладеть ею, нужно было не любить ее; надутый фат, холодный и расчетливый, быть может, покорил бы ее. Тщеславная, неискренняя, она,

пожалуй, могла бы внимать голосу тщеславия, попасться в сети интригана; она подчинилась бы человеку холодному и сухому. Острою болью сжималось мое сердце, когда она наивно выказывала свой эгоизм. Я предвидел, что когда-нибудь она очутится в жизни одна со своею скорбью, не будет знать, к кому протянуть руку, не встретит дружеского взгляда, который утешил бы ее. Както вечером я осмелился нарисовать ей в ярких красках ее старость, одинокую, холодную и печальную. Картина возмездия, которым грозила ей сама природа за измену ее законам, вызвала у нее бессердечные слова.

— Я всегда буду богатой, — сказала она. — Ну, а с золотом всегда найдешь вокруг себя чувства, необходимые для благополучия.

Я ушел, как громом пораженный логикой этой роскоши, этой женщины, этого света, порицая себя за свое дурацкое идолопоклонство. Я не любил Полину из-за ее бедности, ну, а разве богатая Феодора не имела права отвергнуть Рафаэля? Наша совесть — непогрешимый судья, пока мы еще не убили ее.

«Феодора никого не любит и никого не отвергает, — кричал во мне голос софиста, — она свободна, а когда-то отдалась за золото. Русский

граф, не то любовник, не то муж, обладал ею. Будут у нее еще искушения в жизни!

Подожди». Ни праведница, ни грешница, она жила вдали от человечества, в своей сфере, то ли в аду, то ли в раю. Женская тайна, облаченная в атлас и кружева, играла в моем сердце всеми человеческими чувствами: гордостью, честолюбием, любовью, любопытством... По прихоти моды или из желания казаться оригинальным, которое преследует всех нас, многие тогда были охвачены манией хвалить один маленький театр на бульваре. Графиня выразила желание посмотреть на обсыпанного мукой актера, доставлявшего удовольствие иным неглупым людям, и я удостоился чести сопровождать ее на первое представление какого-то скверного фарса. Ложа стоила всего только пять франков, но у меня гроша — и того, проклятого, не было. Мне оставалось еще написать полтома мемуаров, и я не смел молить о гонораре Фино, а Растиньяк, мой благодетель, был в отъезде. Денежные затруднения вечно отравляли мне жизнь. Как-то раз, когда мы под проливным дождем выходили из Итальянского театра, Феодора велела мне ехать домой в карете, и я никак не мог уклониться от ее показной заботливости; она ничего не

желала слушать — ни о моей любви к дождю, ни о том, что я собираюсь в игорный дом. Она не догадывалась о моем безденежье ни по моему замешательству, ни по моим вымученным шуткам. Глаза мои наливались кровью, но разве ей был понятен хоть один мой взгляд? Жизнь молодых людей подвержена поразительным случайностям. Пока я ехал, каждый оборот колеса рождал во мне новые мысли, они жгли мне сердце; я попробовал проломить доску в задней стенке кареты, чтобы выскользнуть на мостовую, но это оказалось невозможным, и на меня напал нервный хохот, сменившийся затем мрачным и тупым спокойствием человека, выставленного у позорного столба.

Когда я добрался домой, при первых же словах, которые я пролепетал, Полина прервала меня:

— Если у вас нет мелочи…

Ах, музыка Россини ничто в сравнении с этими словами! Но вернемся к театру Фюнамбюль. Чтобы иметь возможность сопровождать графиню, я решил заложить золотой ободок от портрета моей матери. Хотя ссудная касса неизменно рисовалась моему воображению в виде ворот, ведущих на каторгу, все же лучше было самому снести туда все, что имеешь, чем просить милостыню.

Взгляд человека, у которого вы просите денег, причиняет такую боль! Взять у иного взаймы стоит нам чести, так же как иной отказ, исходящий из дружеских уст, лишает нас последних иллюзий. Полина работала, ее мать уже легла.

Бросив беглый взгляд на кровать, полог которой был слегка приподнят, я решил, что госпожа Годэн крепко спит: в тени, на подушке, был отчетливо виден ее спокойный желтый профиль.

— Вы расстроены? — спросила Полина, кладя кисть прямо на раскрашиваемый веер.

— Дитя мое, вы можете оказать мне большую услугу, — отвечал я.

На ее лице появилось выражение такого счастья, что я вздрогнул.

«Уж не любит ли она меня?»— мелькнуло у меня в голове.

— Полина!.. — снова заговорил я.

Я сел подле нее, чтобы лучше за ней наблюдать. Она поняла меня, — таким испытующим был тон моего голоса; она опустила глаза; и я всматривался в нее, полагая, что могу читать в ее сердце, как в своем собственном, — такие наивные и чистые были у нее глаза.

— Вы любите меня? — спросил я.

— Любит — не любит… — засмеялась она.

Нет, она меня не любила. В ее шутливом тоне и очаровательном жесте сказывалась лишь признательность шаловливой молоденькой девушки. Я рассказал ей о своем безденежье, о затруднительных обстоятельствах и просил помочь мне.

— Как? — сказала она. — Сами вы не хотите идти в ссудную кассу, а посылаете меня!

Я покраснел, смущенный логикой ребенка. Она взяла меня за руку, точно желая смягчить вырвавшийся у нее невольный упрек.

— Я бы, конечно, туда сходила, но в этом нет нужды, — сказала она. — Сегодня утром я нашла у вас две монеты по пяти франков, они закатились за фортепьяно, а вы и не заметили. Я положила их вам на стол.

— Вы скоро должны получить деньги, господин Рафаэль, — сказала добрая ее матушка, высовывая голову из-за занавески. — Пока что я могу ссудить вам несколько экю.

— Полина, — вскричал я, сжимая ей руку, — как я хочу быть богатым!

— А зачем? — спросила она задорно. Ее рука дрожала в моей, отвечая каждому биению моего сердца; она быстро отдернула руку и взглянула на мою ладонь.

— Вы женитесь на богатой, но она доставит вам много огорчений… Ах, боже мой, она погубит вас! Я убеждена.

В ее голосе слышалась вера в нелепые гадания ее матери.

— Вы очень легковерны, Полина!

— Ну, конечно, женщина, которую вы полюбите, погубит вас, — сказала она, глядя на меня с ужасом.

В сильном волнении она снова взялась за кисть, обмакнула ее в краску и больше уже не смотрела на меня. В эту минуту мне очень хотелось поверить в химерические приметы. Человек не бывает вполне несчастным, раз он суеверен.

Суеверие часто не что иное, как надежда. Войдя к себе, я действительно увидел два благородных экю, появление которых показалось мне непостижимым.

Борясь с дремотой, я все старался проверить свои расходы, чтобы найти объяснение этой неожиданной находке, но в конце концов уснул, запутавшись в бесплодных подсчетах. На другой день Полина зашла ко мне в ту минуту, когда я уже собирался идти брать ложу.

— Вам, может быть, мало десяти франков, — краснея, сказала добрая, милая девушка, — мама

велела предложить вам эти деньги... Берите, берите!

Она положила на стол три экю и хотела убежать, но я удержал ее.

Восхищение высушило слезы, навернувшиеся у меня на глаза.

— Полина, — сказал я, — вы ангел! Не так эти деньги трогают меня, как чистота чувства, с которым вы предложили их мне. Я мечтал о жене богатой, элегантной, титулованной. Увы, теперь я так хотел бы обладать миллионами и встретить молодую девушку, бедную, как вы, и, как вы, богатую душевно; я отказался бы от роковой страсти, которая убьет меня. Быть может, ваше предсказание сбудется.

— Довольно! — сказала она.

Она убежала, и на лестнице раздались звонкие трели соловьиного ее голоса.

«Счастлива она, что еще не любила!»— решил я, думая о мучениях, которые сам я испытывал уже несколько месяцев.

Пятнадцать франков Полины оказались для меня драгоценными. Феодора, сообразив, что в зале, где нам предстоит провести несколько часов, будет попахивать простонародьем, пожалела, что у нее нет букета; я сходил за цветами

и поднес ей, а вместе с ними свою жизнь и все свое состояние. Я одновременно и радовался и испытывал угрызения совести, подавая ей букет, цена которого показала мне, до какой степени разорительны условные любезности, принятые в обществе. Скоро она пожаловалась на слишком сильный запах мексиканского жасмина, ей тошно стало смотреть на зрительный зал, сидеть на жесткой скамье; она упрекнула меня за то, что я привел ее сюда.

Она сидела рядом со мной, и все же ей захотелось уехать; она уехала. Обречь себя на бессонные ночи, расточить два месяца жизни — и не угодить ей!

Никогда еще этот демон не был таким прелестным и таким бесчувственным. По дороге, сидя с ней в тесной карете, я чувствовал ее дыхание, касался ее надушенной перчатки, видел рядом с собой сокровище ее красоты, ощущал благоухание сладкое, как благоухание ириса — всю женщину и вместе с тем нисколько не женщину. И вдруг на одно мгновение глубины этой таинственной жизни озарились для меня. Я вспомнил о недавно вышедшей книге поэта, где замысел истинного художника был осуществлен с искусством Поликлета. Мне казалось, что я вижу это

чудовище, которое, в облике офицера, способно было укротить бешеную лошадь, а в облике молодой девушки садилось за туалет; то доводило до отчаяния своих любовников; то, в образе любовника, доводило до отчаяния деву нежную и скромную. Не будучи в силах каким-либо иным способом разгадать Феодору, я рассказал ей эту фантастическую историю, но она ничем не обнаружила, что в этой поэме о невероятном видит сходство со своей жизнью, и лишь позабавилась ею от чистого сердца, как ребенок сказкой из «Тысячи и одной ночи».

«Верно, какое-нибудь тайное обстоятельство дает Феодоре силу противиться любви молодого, как я, человека, противиться заразительному пылу прекрасного душевного недуга, — рассуждал я по дороге домой. — Быть может, подобно леди Делакур, ее снедает рак? Конечно, в ее жизни есть что-то искусственное».

Дрожь охватила меня при этой мысли. И тут же у меня возник план, самый безрассудный и самый в то же время разумный, какой только может придумать влюбленный. Чтобы изучить эту женщину в ее телесной природе, как я изучил ее духовную сущность, чтобы, наконец, знать ее всю, я решил без ее ведома провести ночь у нее в

спальне. Вот как я осуществил это намерение, пожиравшее мне душу, как жажда мщения грызет сердце корсиканского монаха. В приемные дни у Феодоры собиралось общество настолько многолюдное, что швейцар не мог уследить, сколько человек пришло и сколько ушло. Уверенный в том, что мне удастся незаметно остаться в доме, я с нетерпением ждал ближайшего вечера у графини. Одеваясь, я за неимением кинжала сунул в жилетный карман английский перочинный нож. Если бы у меня нашли это оружие литератора, оно не внушило бы никаких подозрений, а не зная, куда заведет меня мой романический замысел, я хотел быть вооруженным.

Когда гостиные начали наполняться, я прошел в спальню, чтобы все там исследовать, и увидел, что жалюзи и ставни закрыты, — начало было удачным; так как могла войти горничная, чтобы задернуть занавеси на окнах, то я сам их развязал: я подвергал себя большому риску, отважившись опередить служанку в ее работе по дому, однако, спокойно взвесив опасность своего намерения, я примирился с нею. Около полуночи я спрятался в амбразуре окна. Чтобы не было видно ног, я попробовал, прислонясь к стене и уцепившись за оконную задвижку, взобраться на плинтус

панели. Изучив условия равновесия в этом положении и точку опоры, вымерив отделявшее меня от занавесок расстояние, я, наконец, освоился с трудностями настолько, что мог оставаться там, не рискуя быть обнаруженным, если только меня не выдадут судороги, кашель или чихание.

Чтобы не утомлять себя без пользы, я стоял на полу, ожидая критического момента, когда мне придется повиснуть, как пауку на паутине. Занавески из белого муара и муслина образовывали передо мною толстые складки наподобие труб органа; я прорезал перочинным ножом дырки и, как из бойниц, мог видеть все. Из гостиных смутно доносились говор, смех и возгласы гостей. Этот глухой шум и неясная суета постепенно стихали. Несколько мужчин пришли взять шляпы с комода графини, стоявшего возле меня. Когда они касались занавесок, я дрожал при мысли о рассеянности, о случайных движениях, возможных у людей, которые второпях шарят повсюду. Счастливо избежав таких неприятностей, я уже предсказывал успех своему замыслу. Последнюю шляпу унес влюбленный в Феодору старик; думая, что он один, он взглянул на кровать и испустил тяжелый вздох, сопроводив его каким-то восклицанием, довольно энергичным. У графини

в будуаре, рядом с ее спальней, еще оставалось человек шесть друзей, она предложила им чаю. И тут злословие — единственное, чему современное общество еще способно верить, — приметалось к эпиграммам, к остроумным суждениям, к позвякиванию чашек и ложечек. Едкие остроты Растиньяка, не щадившего моих соперников, вызывали бешеный хохот.

— Господин де Растиньяк — человек, с которым не следует ссориться, — смеясь, сказала графиня.

— Пожалуй, — простодушно отвечал он. — Я всегда оказывался прав в своей ненависти… И в дружбе также, — прибавил он. — Враги полезны мне, быть может, не меньше друзей. Я специально изучал наш современный язык и те естественные ухищрения, которыми пользуются, чтобы на все нападать или все защищать. Министерское красноречие является достижением общества. Ваш приятель не умен, — вы говорите о его честности, его чистосердечии. Другой приятель выпустил в свет тяжеловесную работу — вы отдаете должное ее добросовестности; если книга плохо написана, вы хвалите ее за выраженные в ней идеи. Третий ни во что не верит, ежеминутно меняет свои взгляды, на него нельзя положиться, — что ж, зато он так мил, обаятелен, он очаровывает.

Если речь идет о ваших врагах — валите на них как на мертвых. Тут уж можете говорить совсем по-другому: сколь искусно оттеняли вы достоинства своих друзей, столь же ловко обнаруживайте недостатки врагов. Умело применять увеличительные или уменьшительные стекла при рассмотрении вопросов морали — значит владеть секретом светской беседы и искусством придворного. Обходиться без этого — значит сражаться безоружным с людьми, закованными в латы, как рыцари. А я употребляю эти стекла! Иной раз даже злоупотребляю ими.

Оттого-то меня и уважают — меня и моих друзей, — ибо, замечу кстати, и шпага моя стоит моего языка.

Один из наиболее пылких поклонников Феодоры, молодой человек, известный своей наглостью, которая служила ему средством выбиться в люди, поднял перчатку, столь презрительно брошенную Растиньяком. Заговорив обо мне, он стал преувеличенно хвалить мои таланты и меня самого. Этот вид злословия Растиньяк упустил из виду. Язвительно-похвальное слово ввело в заблуждение графиню, и она безжалостно принялась уничтожать меня; чтобы позабавить собеседников, она не пощадила моих тайн, моих

притязаний, моих надежд.

— Это человек с будущим, — заметил Растиньяк — Быть может, когда-нибудь он жестоко отомстит за все; его таланты по меньшей мере равняются его мужеству; поэтому я назвал бы смельчаком того, кто на него нападает, — ведь он не лишен памяти…

— … настолько, что пишет «воспоминания», — сказала графиня, раздосадованная глубоким молчанием, воцарившимся после слов Растиньяка.

— … Воспоминания лжеграфини, мадам! — отозвался Растиньяк. — Чтобы их писать, нужен особый вид мужества.

— Я не сомневаюсь, что у него много мужества, — заметила Феодора. — Он верен мне.

У меня был большой соблазн внезапно явиться перед насмешниками, как дух Банко в «Макбете». Я терял возлюбленную, зато у меня был друг! Однако любовь внушила мне один из тех трусливых и хитроумных парадоксов, которыми она усыпляет все наши горести.

«Если Феодора любит меня, — подумал я, — разве она не должна прикрывать свое чувство злой шуткой? Уж сколько раз сердце изобличало уста во лжи! «

Вскоре, наконец, и дерзкий мой соперник, который один оставался еще с графиней, собрался уходить.

— Как! Уже? — сказала она ласковым тоном, от которого я весь затрепетал. — И вы не подарите мне еще одно мгновение? Значит, вам нечего больше сказать мне? Вы не пожертвуете ради меня каким-нибудь из ваших удовольствий?

Он ушел.

— Ах! — воскликнула она, зевая. — Какие они все скучные!

Она с силой дернула за шнур сонетки, и в комнатах раздался звонок.

Графиня вошла к себе, вполголоса напевая «Pria che spunti» («Пока заря не настанет» (итал.) — слова арии из оперы итальянского композитора Чимарозы «Тайный брак».). Никто никогда не слыхал, чтобы она пела, и подобное безгласие порождало странные толки. Говорили, что первому своему возлюбленному, очарованному ее талантом и ревновавшему ее даже при мысли о времени, когда он будет лежать в могиле, она обещала никому не дарить того блаженства, которое он желал вкушать один. Все силы своей души я напряг, чтобы впивать эти звуки. Феодора пела все громче и громче; она точно воодушев-

лялась, голосовые ее богатства развертывались, и в мелодии появилось нечто божественное. У графини был хороший слух, сильный и чистый голос, и какие-то необыкновенные сладостные его переливы хватали за сердце.

Музыкантши почти всегда влюблены. Женщина, которая так пела, должна была уметь и любить. От красоты этого голоса одною тайною больше становилось в женщине, и без того таинственной. Я видел ее, как вижу сейчас тебя; казалось, она прислушивается к звукам собственного голоса с каким-то особенным сладострастным чувством: она как бы ощущала радость любви.

Заканчивая главную тему этого рондо, она подошла к камину, но, когда она умолкла, в лице ее произошла перемена, черты исказились, и весь ее облик выражал теперь утомление. Она сняла маску актрисы — она сыграла свою роль.

Однако своеобразная прелесть была даже в этом подобии увядания, отпечатлевшемся на ее красоте — то ли от усталости актрисы, то ли от утомительного напряжения за весь этот вечер.

«Сейчас она настоящая!»— подумал я.

Точно желая согреться, она поставила ногу на бронзовую каминную решетку, сняла перчатки, отстегнула браслеты и через голову сняла

золотую цепочку, на которой был подвешен флакончик для духов, украшенный драгоценными камнями. Неизъяснимое наслаждение испытывал я, следя за ее движениями, очаровательными, как у кошек, когда они умываются на солнце. Она посмотрела на себя в зеркало и сказала вслух недовольным тоном:

— Сегодня я была нехороша… Цвет лица у меня блекнет с ужасающей быстротой… Пожалуй, нужно раньше ложиться, отказаться от рассеянного образа жизни… Но что же это Жюстина? Смеется она надо мной?

Она позвонила еще раз; вбежала горничная. Где она помещалась — не знаю. Она спустилась по потайной лестнице. Я с любопытством смотрел на нее.

Мое поэтическое воображение во многом подозревало эту высокую и статную смуглую служанку, обычно не показывавшуюся при гостях.

— Изволили звонить?

— Два раза! — отвечала Феодора. — Ты что, плохо слышать стала?

— Я приготовляла для вас миндальное молоко. Жюстина опустилась на колени, расшнуровала своей госпоже высокие и открытые, как котурны, башмачки, сняла их, а в это время графиня,

раскинувшись в мягком кресле у камина, зевала, запустив руки в свои волосы. Все ее движения были вполне естественны, ничто не выдавало предполагаемых мною тайных страданий и страстей.

— Жорж влюблен, — сказала она, — я его рассчитаю. Он опять задернул сегодня занавески. О чем он думает?

При этом замечании вся кровь во мне остановилась, но разговор о занавесках прекратился.

— Жизнь так пуста! — продолжала графиня. — Ах, да осторожнее, не оцарапай меня, как вчера! Вот посмотри, — сказала она, показывая свое атласное колено, — еще остался след от твоих когтей.

Она сунула голые ноги в бархатные туфли на лебяжьем пуху и стала расстегивать платье, а Жюстина взяла гребень, чтобы причесать ее.

— Вам нужно, сударыня, выйти замуж, и деток бы…

— Дети! Только этого не хватало! — воскликнула она. — Муж! Где тот мужчина, за кого я могла бы… Что, хорошо я была сегодня причесана?

— Не очень.

— Дура!

— Взбитая прическа вам совсем не к лицу, —

продолжала Жюстина, — вам больше идут гладкие крупные локоны.

— Правда?

— Ну, конечно, сударыня, взбитая прическа к лицу только блондинкам.

— Выйти замуж? Нет, нет. Брак — это не для меня. Что за ужасная сцена для влюбленного! Одинокая женщина, без родных, без друзей, атеистка в любви, не верящая ни в какое чувство, — как ни слаба в ней свойственная всякому человеческому существу потребность в сердечном излиянии — вынуждена отводить душу в болтовне с горничной, произносить общие фразы или же говорить о пустяках!.. Мне стало жаль ее. Жюстина расшнуровала госпожу. Я с любопытством оглядел ее, когда с нее спал последний покров. Девственная ее грудь ослепила меня; сквозь сорочку бело-розовое ее тело сверкало при свечах, как серебряная статуя под газовым чехлом. Нет, в ней не было недостатков, из-за которых она могла бы страшиться нескромных взоров любовника. Увы, прекрасное тело всегда восторжествует над самыми воинственными намерениями. Госпожа села у огня, молчаливая, задумчивая, а служанка в это время зажигала свечу в алебастровом светильнике, подвешен-

ном над кроватью. Жюстина сходила за грелкой, приготовила постель, помогла госпоже лечь; потребовалось еще довольно много времени на мелкие услуги, свидетельствовавшие о глубоком почтении Феодоры к своей особе, затем служанка ушла. Графиня переворачивалась с боку на бок; она была взволнована, она вздыхала: с губ у нее срывался неясный, но доступный для слуха звук, изобличавший нетерпение; она протянула руку к столику, взяла склянку, накапала в молоко какой-то темной жидкости и выпила; наконец, несколько раз тяжело вздохнув, она воскликнула:

— Боже мой!

Эти слова, а главное, то выражение, какое Феодора придала им, разбили мое сердце. Понемногу она перестала шевелиться. Вдруг мне стало страшно; но вскоре до меня донеслось ровное и сильное дыхание спящего человека; я слегка раздвинул шуршащий шелк занавесей, вышел из своей засады, приблизился к кровати и с каким-то неописуемым чувством стал смотреть на графиню. В эту минуту она была обворожительна. Она закинула руку за голову, как дитя; ее спокойное красивое лицо в рамке кружев было столь обольстительно, что я воспламенился.

Я не рассчитал своих сил, я не подумал, какая ждет меня казнь: быть так близко и так далеко от нее! Я вынужден был претерпевать все пытки, которые я сам себе уготовил! Боже мой — этот единственный обрывок неведомой мысли, за который я только и мог ухватиться в своих догадках, сразу изменил мое представление о Феодоре. Ее восклицание, то ли ничего не значащее, то ли глубокое, то ли случайное, то ли знаменательное, могло выражать и счастье, и горе, и телесную боль, и озабоченность. Было то проклятие или молитва, дума о прошлом или о будущем, скорбь или опасение?

Целая жизнь была в этих словах, жизнь в нищете или же в роскоши; в них могло таиться даже преступление! Вновь вставала загадка, скрытая в этом прекрасном подобии женщины: Феодору можно было объяснить столькими способами, что она становилась необъяснимой. Изменчивость вылетавшего из ее уст дыхания, то слабого, то явственно различимого, то тяжелого, то легкого, была своего рода речью, которой я придавал мысли и чувства. Я приобщался к ее сонным грезам, я надеялся, что, проникнув в ее сны, буду посвящен в ее тайны, я колебался между множеством разнообразных решений, между

множеством выводов. Созерцая это прекрасное лицо, спокойное и чистое, я не мог допустить, чтобы у этой женщины не было сердца. Я решил сделать еще одну попытку. Рассказать ей о своей жизни, о своей любви, своих жертвах — и мне, быть может, удастся пробудить в ней жалость, вызвать слезы, — у нее, никогда прежде не плакавшей! Все свои надежды я возлагал на этот последний опыт, как вдруг уличный шум возвестил мне о наступлении дня. На одну секунду я представил себе, что Феодора просыпается в моих объятиях. Я мог тихонько подкрасться, лечь рядом и прижать ее к себе. Эта мысль стала жестоко терзать меня, и, чтобы от нее отделаться, я выбежал в гостиную, не принимая никаких мер предосторожности; по счастью, я увидел потайную дверь, которая вела на узкую лестницу. Как я предполагал, ключ оказался а замочной скважине; я рванул дверь, смело спустился во двор и, не обращая внимания, видит ли кто-нибудь меня, в три прыжка очутился на улице.

Через два дня один автор должен был читать у графини свою комедию; я пошел туда с намерением пересидеть всех и обратиться к ней с довольно оригинальной просьбой — уделить мне следующий вечер, посвятить мне его целиком,

закрыв двери для всех. Когда же я остался с нею вдвоем, у меня не хватило мужества. Каждый стук маятника пугал меня. Было без четверти двенадцать.

«Если я с нею не заговорю, — подумал я, — мне остается только разбить себе череп об угол камина».

Я дал себе сроку три минуты; три минуты прошли, черепа о мрамор я себе не разбил, мое сердце отяжелело, как губка в воде.

— Вы нынче чрезвычайно любезны, — сказала она.

— Ах, если бы вы могли понять меня! — воскликнул я.

— Что с вами? — продолжала она. — Вы бледнеете.

— Я боюсь просить вас об одной милости. Она жестом ободрила меня, и я попросил ее о свидании.

— Охотно, — сказала она. — Но почему бы вам не высказаться сейчас?

— Чтобы не вводить вас в заблуждение, я считаю своим долгом пояснить, какую великую любезность вы мне оказываете: я желаю провести этот вечер подле вас, как если бы мы были братом и сестрой. Не бойтесь, ваши антипатии

мне известны; вы хорошо меня знаете и можете быть уверены, что ничего для вас неприятного я добиваться не буду; к тому же люди дерзкие к подобным способам не прибегают. Вы мне доказали свою дружбу, вы добры, снисходительны. Так знайте же, что завтра я с вами прощусь… Не берите назад своего слова! — вскричал я, видя, что она собирается заговорить, и поспешно покинул ее.

В мае этого года, около восьми часов вечера, я сидел вдвоем с Феодорой в ее готическом будуаре. Я ничего не боялся, я верил, что буду счастлив. Моя возлюбленная будет принадлежать мне, иначе я найду себе приют в объятиях смерти. Я проклял трусливую свою любовь. Осознав свою слабость, человек черпает в этом силу. Графиня в голубом кашемировом платье полулежала на диване; опущенные ноги ее покоились на подушке. Восточный тюрбан, этот головной убор, которым художники наделяют древних евреев, сообщал ей особую привлекательность необычности. Лицо ее дышало тем переменчивым очарованием, которое доказывало, что в каждое мгновение нашей жизни мы — новые существа, неповторимые, без всякого сходства с нашим «я» в будущем и с нашим «я» в прошлом. Никогда еще не была Феодора столь блистательна.

— Знаете, — сказала она со смехом, — вы возбудили мое любопытство.

— И я его не обману! — холодно отвечал я. Сев подле нее, я взял ее за руку, она не противилась. — Вы прекрасно поете!

— Но вы никогда меня не слыхали! — воскликнула она с изумлением.

— Если понадобится, я докажу вам обратное. Итак, ваше дивное пение тоже должно оставаться в тайне? Не беспокойтесь, я не намерен в нее проникнуть.

Около часа провели мы в непринужденной болтовне. Я усвоил тон, манеры и жесты человека, которому Феодора ни в чем не откажет, но и почтительность влюбленного я сохранял в полной мере. Так я, шутя, получил милостивое разрешение поцеловать ей руку; грациозным движением она сняла перчатку, и я сладострастно погрузился в иллюзию, в которую пытался поверить; душа моя смягчилась и расцвела в этом поцелуе. С невероятной податливостью Феодора позволяла ласкать себя и нежить. Но не обвиняй меня в глупой робости; вздумай я перейти предел этой братской нежности — в меня вонзились бы кошачьи когти. Минут десять мы хранили полное молчание. Я любовался ею, приписывая ей

мнимые очарования. В этот миг она была моей, только моей… Я обладал прелестным этим созданием, насколько можно обладать мысленно; я облекал ее своею страстью, держал ее и сжимал в объятиях, мое воображение сливалось с нею. Я победил тогда графиню мощью магнетических чар. И вот я всегда потом жалел, что не овладел этой женщиной окончательно; но в тот момент я не хотел ее тела, я желал душевной близости, жизни, блаженства идеального и совершенного, прекрасной мечты, в которую мы верим недолго.

— Выслушайте меня, — сказал я, наконец, чувствуя, что настал последний час моего упоения. — Я люблю вас, вы это знаете, я говорил вам об этом тысячу раз, да вы и сами должны были об этом догадаться. Я не желал быть обязанным вашей любовью ни фатовству, ни лести или же назойливости глупца — и не был понят. Каких только бедствий не терпел я ради вас! Однако вы в них неповинны! Но несколько мгновений спустя вы вынесете мне приговор.

Знаете, есть две бедности Одна бесстрашно ходит по улицам в лохмотьях и повторяет, сама того не зная, историю Диогена, скудно питаясь и ограничиваясь в жизни лишь самым необходимым; быть может, она счастливее, чем богатство,

или по крайней мере хоть не знает забот и обретает целый мир там, где люди могущественные не в силах обрести ничего. И есть бедность, прикрытая роскошью, бедность испанская, которая таит нищету под титулом; гордая, в перьях, в белом жилете, в желтых перчатках, эта бедность разъезжает в карете и теряет целое состояние за неимением одного сантима.

Первая — это бедность простого народа, вторая — бедность мошенников, королей и людей даровитых. Я не простолюдин, не король, не мошенник; может быть, и не даровит; я исключение. Мое имя велит мне лучше умереть, нежели нищенствовать… Не беспокойтесь, теперь я богат, у меня есть все, что мне только нужно, — сказал я, заметив на ее лице то холодное выражение, какое принимают наши черты, когда нас застанет врасплох просительница из порядочного общества. — Помните тот день, когда вы решили пойти в Жимназ без меня, думая, что не встретитесь там со мною?

Она утвердительно кивнула головой.

— Я отдал последнее экю, чтобы увидеться с вами… Вам памятна наша прогулка в Зоологический сад? Все свои деньги я истратил на карету для вас.

Я рассказал ей о своих жертвах, описал ей свою жизнь — не так, как описываю ее сегодня тебе, не в пьяном виде, а в благородном опьянении сердца. Моя страсть изливалась в пламенных словах, в сердечных движениях, с тех пор позабытых мною, которых не могли бы воспроизвести ни искусство, ни память. То не было лишенное жара повествование об отвергнутой любви: моя любовь во всей своей силе и во всей красоте своего упования подсказала мне слова, которые отражают целую жизнь, повторяя вопли истерзанной души.

Умирающий на поле сражения произносит так последние свои молитвы. Она заплакала. Я умолк. Боже правый! Ее слезы были плодом искусственного волнения, которое можно пережить в театре, заплатив за билет пять франков; я имел успех хорошего актера.

— Если бы я знала… — сказала она.

— Не договаривайте! — воскликнул я. — Пока я еще люблю достаточно сильно, чтобы убить вас…

Она схватилась было за шнур сонетки. Я рассмеялся.

— Звать не к чему, — продолжал я. — Я не помешаю вам мирно кончить дни свои. Убивать вас

— значило бы плохо понимать голос ненависти! Не бойтесь насилия: я провел у вашей постели всю ночь и не…

— Как!.. — воскликнула она, покраснев. Но после первого движения, которым она была обязана стыдливости, свойственной каждой женщине, даже самой бесчувственной, она смерила меня презрительным взглядом и сказала:

— Вам, вероятно, было очень холодно!

— Вы думаете, для меня так драгоценна ваша красота? — сказал я, угадывая волновавшие ее мысли. — Ваше лицо для меня — обетование души, еще более прекрасной, чем ваше тело. Ведь мужчины, которые видят в женщине только женщину, каждый вечер могут покупать одалисок, достойных сераля, и за недорогую цену наслаждаться их ласками… Но я был честолюбив, сердце к сердцу хотел я жить с вами, а сердца-то у вас и нет! Теперь я это знаю. Я убил бы мужчину, которому вы отдались бы. Но нет, ведь его вы любили бы, смерть его, может быть, причинила бы вам горе… Как я страдаю! — вскричал я.

— Если подобное обещание способно вас утешить, — сказала она весело, — могу вас уверить, что я не буду принадлежать никому…

— Вы оскорбляете самого бога и будете за это

наказаны! — прервал я.

— Придет день, когда вам станут невыносимы и шум и луч света; лежа на диване, осужденная жить как бы в могиле, вы почувствуете неслыханную боль.

Будете искать причину этой медленной беспощадной пытки, — вспомните тогда о горестях, которые вы столь щедро разбрасывали на своем пути! Посеяв всюду проклятия, взамен вы обретете ненависть. Мы собственные свои судьи, палачи на службе у справедливости, которая царит на земле и которая выше суда людского и ниже суда божьего.

— Ах, какая же я, наверно, злодейка, — со смехом сказала она, — что не полюбила вас! Но моя ли то вина? Да, я не люблю вас. Вы мужчина, этим все сказано. Я нахожу счастье в своем одиночестве, — к чему же менять свою свободу, если хотите, эгоистическую, на жизнь рабыни? Брак — таинство, в котором мы приобщаемся только к огорчениям. Да и дети — это скука. Разве я честно не предупреждала вас, каков мой характер? Зачем вы не удовольствовались моей дружбой? Я бы хотела иметь возможность исцелить те раны, которые я нанесла вам, не догадавшись подсчитать ваши экю. Я ценю величие ваших

жертв, но ведь не чем иным, кроме любви, нельзя отплатить за ваше самопожертвование, за вашу деликатность, а я люблю вас так мало, что вся эта сцена мне неприятна — и только.

— Простите, я чувствую, как я смешон, — мягко сказал я, не в силах удержать слезы. — Я так люблю вас, — продолжал я, — что с наслаждением слушаю жестокие ваши слова. О, всей кровью своей готов я засвидетельствовать свою любовь!

— Все мужчины более или менее искусно произносят эти классические фразы, — возразила она, по-прежнему со смехом. — Но, по-видимому, очень трудно умереть у наших ног, ибо я всюду встречаю этих здравствующих покойников… Уже полночь, позвольте мне лечь спать.

— А через два часа вы воскликнете: «Боже мой!»— сказал я.

— Третьего дня… Да… — сказала она. — Я тогда подумала о своем маклере: я забыла ему сказать, чтобы пятипроцентную ренту он обменял на трехпроцентную, а ведь днем трехпроцентная упала.

В моих глазах сверкнула ярость. О, преступление иной раз может стать поэмой, я это понял! Пылкие объяснения были для нее привычны, и она, разумеется, уже забыла мои слова и слезы.

— А вы бы вышли замуж за пэра Франции? — спросил я холодно.

— Пожалуй, если б он был герцогом. Я взял шляпу и поклонился.

— Позвольте проводить вас до дверей, — сказала она с убийственной иронией в тоне, в жесте, в наклоне головы.

— Сударыня…

— Да, сударь?..

— Больше я не увижу вас.

— Надеюсь, — сказала она, высокомерно кивнув головой.

— Вы хотите быть герцогиней? — продолжал я, вдохновляемый каким-то бешенством, вспыхнувшим у меня в сердце от этого ее движения. — Вы без ума от титулов и почестей? Что ж, только позвольте мне любить вас, велите моему перу выводить строки, а голосу моему звучать для вас одной, будьте тайной основой моей жизни, моей звездою! Согласитесь быть моей супругой только при условии, если я стану министром, пэром Франции, герцогом… Я сделаюсь всем, чем только вы хотите.

— Недаром вы обучались у хорошего адвоката, — сказала она с улыбкой, — в ваших речах есть жар.

— За тобой настоящее, — воскликнул я, — за мной будущее! Я теряю только женщину, ты же теряешь имя и семью. Время чревато местью за меня: тебе оно принесет безобразие и одинокую смерть, мне — славу.

— Благодарю за красноречивое заключение, — сказала она, едва удерживая зевок и всем своим существом выказывая желание больше меня не видеть.

Эти слова заставили меня умолкнуть. Я выразил во взгляде свою ненависть к ней и убежал. Мне нужно было забыть Феодору, образумиться, вернуться к трудовому уединению — или умереть. И вот я поставил перед собой огромную задачу: я решил закончить свои произведения. Две недели не сходил я с мансарды и ночи напролет проводил за работой. Несмотря на все свое мужество, вдохновляемое отчаянием, работал я с трудом, порывами. Муза покидала меня. Я не мог отогнать от себя блестящий и насмешливый призрак Феодоры. Каждая моя мысль сопровождалась другой, болезненной мыслью, неким желанием, мучительным, как упреки совести. Я подражал отшельникам из Фиваиды. Правда, я не молился, как они, но, как они, жил в пустыне; вместо того чтобы рыть пещеры, я рылся у себя

в душе. Я готов был опоясать себе чресла поясом с шипами, чтобы физической болью укротить душевную боль.

Однажды вечером ко мне вошла Полина.

— Вы губите себя, — умоляющим голосом сказала она. — Вам нужно гулять, встречаться с друзьями.

— Ах, Полина, ваше пророчество сбывается! Феодора убивает меня, я хочу умереть. Жизнь для меня невыносима.

— Разве одна только женщина на свете? — улыбаясь, спросила она. — Зачем вы вечно себя мучаете? Ведь жизнь и так коротка.

Я устремил на Полину невидящий взгляд. Она оставила меня одного. Я не заметил, как она ушла, я слышал ее голос, но не улавливал смысла ее слов.

Вскоре после этого я собрался отнести рукопись к моему литературному подрядчику. Поглощенный страстью, я не думал о том, каким образом я живу без денег, я знал только, что четырехсот пятидесяти франков, которые я должен был получить, хватит на расплату с долгами; итак, я отправился за гонораром и встретил Растиньяка, — он нашел, что я изменился, похудел.

— Из какой ты вышел больницы? — спросил

он.

— Эта женщина убивает меня, — отвечал я. — Ни презирать ее, ни забыть я не могу.

— Лучше уж убей ее, тогда ты, может быть, перестанешь о ней мечтать!

— смеясь, воскликнул он.

— Я об этом думал, — признался я. — Иной раз я тешил душу мыслью о преступлении, насилии или убийстве, или о том и о другом зараз, но я убедился, что не способен на это. Графиня — очаровательное чудовище, она будет умолять о помиловании, а ведь не всякий из нас Отелло.

— Она такая же, как все женщины, которые нам недоступны, — прервал меня Растиньяк.

— Я схожу с ума! — вскричал я. — По временам я слышу, как безумие воет у меня в мозгу. Мысли мои — словно призраки: они танцуют предо мной, и я не могу их схватить. Я предпочту умереть, чем влачить такую жизнь. Поэтому я добросовестно ищу наилучшего средства прекратить эту борьбу. Дело уже не в Феодоре живой, в Феодоре из предместья Сент-Оноре, а в моей Феодоре, которая вот здесь! — сказал я, ударяя себя по лбу. — Какого ты мнения об опиуме?

— Что ты! Страшные мучения, — отвечал Растияьяк.

— А угарный газ?

— Гадость!

— А Сена?

— И сети и морг очень уж грязны.

— Выстрел из пистолета?

— Промахнешься и останешься уродом. Послушай, — сказал он, — как все молодые люди, я тоже когда-то думал о самоубийстве. Кто из нас к тридцати годам не убивал себя два-три раза? Однако я ничего лучше не нашел, как изнурить себя в наслаждениях. Погрузившись в глубочайший разгул, ты убьешь свою страсть… или самого себя. Невоздержанность, милый мой, — царица всех смертей. Разве не от нее исходит апоплексический удар? Апоплексия — это пистолетный выстрел без промаха. Оргии даруют нам все физические наслаждения: разве это не тот же опиум, только в мелкой монете? Принуждая нас пить сверх меры, кутеж вызывает нас на смертный бой. Разве бочка мальвазии герцога Кларенса[62] не вкуснее, чем ил на дне Сены? И всякий раз, когда мы честно валимся под стол, не легкий ли это обморок от угара? А если нас подбирает патруль

[62] Примечания: 62

Герцог Кларенс — брат английского короля Эдуарда IV (XV в.), приговоренный к смертной казни, по преданию, получил право выбора способа казни и просил утопить его в бочке с вином.

и мы вытягиваемся на холодных нарах в кордегардии, то разве тут не все удовольствия морга, минус вспученный, вздутый, синий, зеленый живот, плюс сознание кризиса? Ах, — продолжал он, — это длительное самоубийство не то, что смерть обанкротившегося бакалейщика! Лавочники опозорили реку, — они бросаются в воду, чтобы растрогать своих кредиторов. На твоем месте я постарался бы умереть изящно. Если хочешь создать новый вид смерти, сражайся на поединке с жизнью так, как я тебе говорил, — я буду твоим секундантом. Мне скучно, я разочарован. У эльзаски, которую мне предложили в жены, шесть пальцев на левой ноге, — я не могу жить с шестипалой женой! Про это узнают, я стану посмешищем. У нее только восемнадцать тысяч франков дохода, — состояние ее уменьшается, а число пальцев увеличивается. К черту!.. Будем вести безумную жизнь — может быть, случайно и найдем счастье!

Растиньяк увлек меня. От этого проекта повеяло слишком сильными соблазнами, он зажигал слишком много надежд — словом, краски его были слишком поэтичны, чтобы не пленить поэта.

— А деньги? — спросил я.

— У тебя же есть четыреста пятьдесят фран-

ков? — Да, но я должен портному, хозяйке…

— Ты платишь портному? Из тебя никогда ничего не выйдет, даже министра.

— Но что можно сделать с двадцатью луидорами?

— Играть на них. Я вздрогнул.

— Эх ты! — сказал он, заметив, что во мне заговорила щепетильность.

— Готов без оглядки принять систему рассеяния, как я это называю, а боишься зеленого сукна!

— Послушай, — заговорил я, — я обещал отцу: в игорный дом ни ногой.

И дело не только в том, что для меня это обещание свято, но на меня нападает неодолимое отвращение, когда я лишь прохожу мимо таких мест. Возьми у меня сто экю и иди туда один. Пока ты будешь ставить на карту наше состояние, я устрою свои дела и приду к тебе домой.

Вот так, милый мой, я и погубил себя. Стоит молодому человеку встретить женщину, которая его не любит, или женщину, которая его слишком любит, и вся жизнь у него исковеркана. Счастье поглощает наши силы, несчастье уничтожает добродетель. Вернувшись в гостиницу «Сен-Кантен», я долгим взглядом окинул мансарду, где

вел непорочную жизнь ученого, которого, быть может, ожидали почет и долголетие, жизнь, которую не следовало покидать ради страстей, увлекавших меня в пучину. Полина застала меня в грустном размышлении.

— Что с вами? — спросила она.

Я холодно встал и отсчитал деньги, которые был должен ее матери, прибавив к ним полугодовую плату за комнату. Она посмотрела на меня почти с ужасом.

— Я покидаю вас, милая Полина.

— Я так и думала! — воскликнула она.

— Послушайте, дитя мое, от мысли вернуться сюда я не отказываюсь.

Оставьте за мной мою келью на полгода. Если я не вернусь к пятнадцатому ноября, вы станете моей наследницей. В этом запечатанном конверте, — сказал я, показывая на пакет с бумагами, — рукопись моего большого сочинения «Теория воли»; вы сдадите ее в Королевскую библиотеку. А всем остальным, что тут останется, распоряжайтесь как угодно.

Взгляд Полины угнетал мне сердце. Передо мной была как бы воплощенная совесть.

— Больше у меня уроков не будет? — спросила она, указывая на фортепиано. Я промолчал.

— Вы мне напишете?

— Прощайте, Полина.

Я мягко привлек ее к себе и запечатлел братский, стариковский поцелуй на ее милом лбу, девственном, как снег, еще не коснувшийся земли. Она убежала. Мне не хотелось видеть госпожу Годэн. Я повесил ключ на обычное место и вышел. Сворачивая с улицы Клюни, я услышал за собой легкие женские шаги.

— Я вышила вам кошелек, неужели вы откажетесь взять его? — сказала Полина.

При свете фонаря мне почудилось, что на глазах Полины блеснули слезы, и я вздохнул. Побуждаемые, вероятно, одною и тою же мыслью, мы расстались так поспешно, как будто убегали от чумы. Рассеянная жизнь, в которую я вступал, нашла себе причудливое выражение в убранстве комнаты Растиньяка, где я с благородной беспечностью дожидался его. Камин украшали часы с Венерой, сидящей на черепахе, а в объятиях своих Венера держала недокуренную сигару.

Как попало была расставлена элегантная мебель — дары любящего сердца.

Старые носки валялись на созданном для неги диване. Удобное мягкое кресло, в которое я опустился, было все в шрамах, как старый солдат;

оно выставляло напоказ свои израненные руки и въевшиеся в его спину пятна помады и «античного масла» — следы, оставленные головами приятелей Растиньяка. В кровати, на стенах — всюду проступало наивное сочетание богатства и нищеты.

Можно было подумать, что это неаполитанское палаццо, в котором поселились лаццарони. То была комната игрока, прощелыги, который создал свое особое понятие о роскоши, живет ощущениями и ничуть не обеспокоен резкими несоответствиями. Впрочем, эта картина была не лишена поэзии. Жизнь представала здесь со всеми своими блестками и лохмотьями, неожиданная, несовершенная, какова она и есть в действительности, но живая, причудливая, как на бивуаке, куда мародер тащит все, что попало. Разрозненными страницами Байрона затопил свой камин этот молодой человек, ставивший на карту тысячу франков, хотя подчас у него не было и полена дров, ездивший в тильбюри и не имевший крепкой сорочки. Завтра какая-нибудь графиня, актриса или карты наградят его королевским бельем. Вот свеча, вставленная в зеленую жестянку от фосфорного огнива, там валяется женский портрет, лишенный своей

золотой чеканной рамки. Ну, как может жаждущий волнений молодой человек отказаться от прелестей жизни, до такой степени богатой противоречиями, дарящей ему в мирное время все наслаждения военного быта? Я было задремал, как вдруг Растиньяк толкнул ногой дверь и крикнул:

— Победа! Теперь можно умирать по своему вкусу… Он показал мне шляпу, полную золота, поставил ее на стол, и мы затанцевали вокруг нее, как два каннибала вокруг своей добычи; мы топотали ногами, подпрыгивали, рычали, тузили друг друга так, что могли бы, кажется, свалить носорога, мы пели при виде всех радостей мира, которые содержались для нас в этой шляпе.

— Двадцать семь тысяч франков, — твердил Растиньяк, присоединяя к куче золота несколько банковых билетов. — Другим таких денег хватило бы на всю жизнь, а нам хватит ли на смерть? О да! Мы испустим дух в золотой ванне… Ура!

И мы запрыгали снова. Мы, как наследники, поделили все, монету за монетой; начав с двойных наполеондоров, от крупных монет переходя к мелким, по капле цедили мы нашу радость, долго еще приговаривая: «Тебе!.. Мне!.. «

— Спать мы не будем! — воскликнул Расти-

ньяк. — Жозеф, пуншу!

Он бросил золото верному своему слуге.

— Вот твоя часть, — сказал он, — бери на помин души.

На следующий день я купил мебель у Лесажа, снял на улице Табу квартиру, где ты и познакомился со мной, и позвал лучшего обойщика. Я завел лошадей. Я кинулся в вихрь наслаждений, пустых и в то же время реальных. Я играл, то выигрывая, то теряя огромные суммы, но только на вечерах у друзей, а отнюдь не в игорных домах, которые по-прежнему внушали мне священный, первобытный ужас. Неприметно появились у меня друзья. Их привязанности я был обязан раздорам или же той доверчивой легкости, с какой мы выдаем друг другу свои тайны, роняя себя ради компании, — но, быть может, ничто так не связывает нас, как наши пороки? Я осмелился выступить на поприще изящной словесности, и мои произведения были одобрены. Великие люди ходовой литературы, видя, что я вовсе не опасный соперник, хвалили меня, разумеется, не столько за мои личные достоинства, сколько для того, чтобы досадить своим товарищам.

Пользуясь живописным выражением, вошедшим в язык ваших кутежей, я стал прожигателем

жизни. Мое самолюбие было направлено на то, чтобы день ото дня губить себя, сокрушая самых веселых собутыльников своей выносливостью и своим пылом. Я был всегда свеж, всегда элегантен. Я слыл остряком. Ничто не изобличало во мне того ужасного существования, которое превращает человека в воронку, в аппарат для извлечения виноградного сока или же в выездную лошадь. Вскоре разгул явился передо мной во всем ужасном своем величии, которое я постиг до конца! Разумеется, люди благоразумные и степенные, которые наклеивают этикетки на бутылки, предназначенные для наследников, не в силах понять ни теории такой широкой жизни, ни ее нормального течения; где уж тут заразить провинциалов ее поэзией, если для них такие источники наслаждения, как опий и чай, — все еще только лекарства? И даже в Париже, столице мысли, разве мы не встречаем половинчатых сибаритов? Неспособные к наслаждениям чрезмерным, не утомляются ли они после первой же оргии, как добрые буржуа, которые, прослушав новую оперу Россини, проклинают музыку? Не так ли отрекаются они от этой жизни, как человек воздержанный отказывается от паштетов из гусиной печенки с трюфелями, потому что

первый же такой паштет наградил его несварением желудка? Разгул — это, конечно, искусство, такое же, как поэзия, и для него нужны сильные души. Чтобы проникнуть в его тайны, чтобы насладиться его красотами, человек должен, так сказать, кропотливо изучить его. Как все науки, вначале он от себя отталкивает, он ранит своими терниями. Огромные препятствия преграждают человеку путь к сильным наслаждениям — не к мелким удовольствиям, а к тем системам, которые возводят в привычку редчайшие чувствования, сливают их воедино, оплодотворяют их, создавая особую, полную драматизма жизнь и побуждая человека к чрезмерному, стремительному расточению сил. Война, власть искусства — это тоже соблазн, настолько же превышающий обыкновенные силы человеческие, настолько же влекущий, как и разгул, и все это трудно достижимо. Но раз человек взял приступом эти великие тайны, не шествует ли он в каком-то особом мире? Полководцев, министров, художников — всех их в той или иной мере влечет к распутству потребность противопоставить своей жизни, столь далекой от обычного существования, сильно действующие развлечения. И в конце концов война — это кровавый разгул, по-

литика — разгул сталкивающихся интересов. Все излишества — братья. Эти социальные уродства обладают, как пропасти, притягательной силой; они влекут нас к себе, как остров святой Елены манил Наполеона; они вызывают головокружение, они завораживают, и, сами не зная зачем, мы стремимся заглянуть в бездну.

Быть может, в ней есть идея бесконечности; быть может, в ней таится нечто чрезвычайно лестное для человеческой гордости — не привлекает ли тогда наша судьба всеобщего внимания? Ради контраста с блаженными часами занятий, с радостями творчества утомленный художник требует себе, то ли, как бог, — воскресного отдохновения, то ли, как дьявол, — сладострастия ада, чтобы деятельность чувств противопоставить деятельности умственных своих способностей. Для лорда Байрона не могла быть отдыхом болтовня за бостоном, которая пленяет рантье; ему, поэту, нужна была Греция, как ставка в игре с Махмудом. Разве человек не становится на войне ангелом смерти, своего рода палачом, только гигантских размеров? Чтобы мы могли принять те жестокие мучения, враждебные хрупкой нашей оболочке, которыми, точно колючей оградой, окружены страсти, разве не нужны совершенно особые

чары? От неумеренного употребления табака курильщик корчится в судорогах и переживает своего рода агонию, зато в каких только странах, на каких только великолепных праздниках не побывал он! Разве Европа, не успев вытереть ноги, в крови по щиколотку, не затевала войны вновь и вновь? Быть может, людские массы тоже испытывают опьянение, как у природы бывают свои приступы любви? Для отдельного человека, для какого-нибудь Мирабо мирного времени, прозябающего и мечтающего о бурях, в разгуле заключено все; кутеж — это непрестанная схватка, или, лучше сказать, поединок всей жизни с какой-то неведомой силой, с чудовищем; поначалу чудовище пугает, нужно схватить его за рога; это неимоверно трудно. Допустим, природа наделила вас слишком маленьким или слишком ленивым желудком; вы подчиняете его своей воле, расширяете его, учитесь усваивать вино, вы приручаете пьянство, проводите бессонные ночи — и вырабатываете у себя, наконец, телосложение гусарского полковника, вторично создаете себя, точно наперекор господу богу! Когда человек преобразился, подобно тому как ветеран приучил свою душу к артиллерийской пальбе, а ноги — к походам, когда новопосвященный еще

не принадлежит чудовищу и между ними пока еще не установлено, кто из них господин, — они бросаются друг на друга, и то один, то другой одолевает противника, а происходит это в такой сфере, где все — чудо, где дремлют сердечные муки и оживают только призраки идей. Ожесточенная эта борьба становится уже необходимой. Воскрешая в себе баснословных героев, которые, согласно легендам, продали душу дьяволу, дабы стать могущественными в злодеяниях, расточитель платит своей смертью за все радости жизни, но зато как изобильны, как плодоносны эти радости! Вместо того чтобы вяло струиться вдоль однообразных берегов Прилавка или Конторы, жизнь его кипит и бежит, как поток. Наконец, для тела разгул — это, вероятно, то же самое, что мистические радости для души. Пьянство погружает нас в грезы, полные таких же любопытных фантасмагорий, как и экстатические видения. Тогда у нас бывают часы, очаровательные, как причуды молодой девушки, бывают приятные беседы с друзьями, слова, воссоздающие всю жизнь, радости бескорыстные и непосредственные, путешествия без утомления, целые поэмы в нескольких фразах. После того как мы потешили в себе зверя, в котором науке долго пришлось бы

отыскивать душу, наступает волшебное оцепенение, по которому вздыхают те, кому опостылел рассудок. Не ощущают ли они необходимости полного покоя, не есть ли разгул подобие налога, который гений платит злу?

Взгляни на всех великих людей: либо они сладострастники, либо природа создает их хилыми. Некая насмешливая или ревнивая власть портит им душу или тело, чтобы уравновесить действие их дарований. В пьяные часы люди и вещи предстают перед тобой в образах, созданных твоей фантазией. Венец творения, ты видоизменяешь мир как тебе заблагорассудится. Во время этой беспрерывной горячки игра, по твоей доброй воле, вливает тебе в жилы расплавленный свинец. И вот в один прекрасный день ты весь во власти чудовища; тогда у тебя настает, как это было со мною, грозное пробуждение: у твоего изголовья сидит бессилие. Ты старый вояка — тебя снедает чахотка, ты дипломат — у тебя аневризм сердца, и жизнь твоя висит на волоске; может быть, и мне грудная болезнь скажет:

«Пора! «, как когда-то сказала она Рафаэлю из Урбино, которого погубили излишества в любви. Вот как я жил! Я появился на свет слишком рано или слишком поздно; конечно, моя сила стала бы

здесь опасна, если б я не притупил ее таким образом, — ведь геркулесова чаша на исходе оргии избавила вселенную от Александра[63]. В конце концов тем, у кого жизнь не удалась, необходим рай или ад, разгул или богадельня. Сейчас у меня не хватило мужества читать мораль этим двум существам, — сказал он, указывая на Евфрасию и Акилину. — Разве они не олицетворение моей истории, не воплощение моей жизни? Я не мог обвинять их, — они сами явились передо мной как судьи.

На середине этой живой поэмы, в объятиях этой усыпляющей болезни все же был два раза у меня приступ, причинивший мне жгучую боль. Первый приступ случился несколько дней спустя после того как я, подобно Сарданапалу, бросился в костер; в вестибюле Итальянского театра я встретил Феодору. Мы ждали экипажей. «А, вы еще живы!»— так можно было понять ее улыбку и те коварные невнятные слова, с которыми она обратилась к своему чичисбею, разумеется, поведав ему мою историю и определив мою любовь как любовь пошлую. Она радовалась мнимой

[63] Примечания: 63

…геркулесова чаша… избавила вселенную от Александра — Согласно преданию, причиной смерти Александра Македонского послужила выпитая им на пиру колоссальная чаша вина.

своей прозорливости. О, умирать из-за нее, все еще обожать ее, видеть ее перед собой, даже предаваясь излишествам в миг опьянения на ложе куртизанок, — и сознавать себя мишенью для ее насмешек!

Быть не в силах разорвать себе грудь, вырвать оттуда любовь и бросить к ее ногам!

Я скоро растратил свое богатство, однако три года правильной жизни наделили меня крепчайшим здоровьем, а в тот день, когда я очутился без денег, я чувствовал себя превосходно. Чтобы продолжить свое самоубийство, я выдал несколько краткосрочных векселей, и день платежа настал. Жестокие волнения! А как бодрят они юные души! Я не рожден для того, чтобы рано состариться; моя душа все еще была юной, пылкой, бодрой. Мой первый вексель пробудил было все прежние мои добродетели; они пришли медленным шагом и, опечаленные, предстали передо мной. Мне удалось уговорить их, как старых тетушек, которые сначала ворчат, но в конце концов расплачутся и дадут денег. Мое воображение было более сурово, оно рисовало мне, как мое имя странствует по Европе, из города в город. Наше имя — это мы сами! — сказал

Евсевий Сальверт[64]. Как двойник одного немца, я после скитаний возвращался в свое жилище, откуда в действительности и не думал выходить, и внезапно просыпался. Когда-то, встречаясь на улицах Парижа с банковскими посыльными, этими укорами коммерческой совести, одетыми в серое, носящими ливрею с гербом своего хозяина — с серебряной бляхой, я смотрел на них равнодушно; теперь я заранее их ненавидел. Разве не явится ко мне кто-нибудь из них однажды утром и не потребует ответа относительно одиннадцати выданных мной векселей? Моя подпись стоила три тысячи франков — столько, сколько не стоил я сам! Судебные пристава, бесчувственные ко всякому горю, даже к смерти, вставали передо мною, как палачи, говорящие приговоренному: «Половина четвертого пробило!»Их писцы имели право схватить меня, нацарапать мое имя в своих бумажонках, пачкать его, насмехаться над ним. Я был должником! Кто задолжал, тот разве может принадлежать себе? Разве другие люди не вправе требовать с меня отчета, как я жил? Зачем я поедал пудинги а-ля чиполлата? Зачем я пил шампанское? Зачем я спал, ходил, думал, развле-

[64] Примечания: 64

Евсевий Сальверт — автор книги «Философский и исторический опыт об именах людей, народов и географических названиях» (1823).

кался, не платя им? В минуту, когда я упиваюсь стихами, или углублен в какую-нибудь мысль, или же, сидя за завтраком, окружен друзьями, радостями, милыми шутками, — передо мной может предстать господин в коричневом фраке, с потертой шляпой в руке. И обнаружится, что господин этот — мой Вексель, мой Долг, призрак, от которого угаснет моя радость; он заставит меня выйти из-за стола и разговаривать с ним; он похитит у меня мою веселость, мою возлюбленную — все, вплоть до постели.

Да, укоры совести более снисходительны, они не выбрасывают нас на улицу и не сажают в Сент-Пелажи, не толкают в гнусный вертеп порока; они никуда не тащат нас, кроме эшафота, где палач нас облагораживает: во время самой казни все верят в нашу невинность, меж тем как у разорившегося кутилы общество не признает ни единой добродетели. Притом эти двуногие долги, одетые в зеленое сукно, в синих очках, с выгоревшими зонтиками, эти воплощенные долги, с которыми мы сталкиваемся лицом к лицу на перекрестке в то самое мгновение, когда на лице у нас улыбка, пользуются особым, ужасным правом — правом сказать: «Господин де Валантен мне должен и не платит. Он в моих руках. О,

посмей он только подать вид, что ему неприятно со мной встречаться! «

Кредиторам необходимо кланяться, и кланяться приветливо. «Когда вы мне заплатите?»— говорят они. И ты обязан лгать, выпрашивать деньги у кого-нибудь другого, кланяться дураку, восседающему на своем сундуке, встречать его холодный взгляд, взгляд лихоимца, более оскорбительный, чем пощечина, терпеть его Баремову мораль[65] и грубое его невежество. Долги — это спутники сильного воображения, чего не понимают кредиторы. Порывы души увлекают и часто порабощают того, кто берет взаймы, тогда как ничто великое не порабощает, ничто возвышенное не руководит теми, кто живет ради денег и ничего, кроме денег, не знает. Мне деньги внушали ужас. Наконец, вексель может преобразиться в старика, обремененного семейством и наделенного всяческими добродетелями. Я мог бы стать должником какой-нибудь одушевленной картины Греза, паралитика, окруженного детьми, вдовы солдата, и все они стали бы протягивать ко мне руки с мольбой. Ужасны

[65] Примечания: 65

Баремова мораль — Бертран Барем (XVII в.) составил справочник по счетоводству. В данном случае слово «Баремова» употребляется в смысле мелочно-расчетливая.

те кредиторы, с которыми надо плакать; когда мы им заплатим, мы должны еще оказывать им помощь. Накануне срока платежа я лег спать с тем мнимым спокойствием, с каким спят люди перед казнью, перед дуэлью, позволяя обманчивой надежде убаюкивать их. Но когда я проснулся и пришел в себя, когда я почувствовал, что душа моя запрятана в бумажнике банкира, покоится в описях, записана красными чернилами, то отовсюду, точно кузнечики, стали выскакивать мои долги: они были в часах, на креслах; ими была инкрустирована моя любимая мебель. Мои вещи станут добычею судейских гарпий, и милых моих неодушевленных рабов судебные пристава уволокут и как попало свалят на площади. Ах, мой скарб был еще частью меня самого! Звонок моей квартиры отзывался у меня в сердце, поражая меня в голову, куда и полагается разить королей. То было мученичество — без рая в качестве награды. Да, для человека благородного долг — это ад, но только ад с судебными приставами, с поверенными в делах. Неоплаченный долг — это низость, это мошенничество в зародыше, хуже того — ложь. Он замышляет преступления, он собирает доски для эшафота. Мои векселя были опротестованы. Три дня спустя я заплатил по ним.

Вот каким образом: ко мне явился перекупщик с предложением продать ему принадлежавший мне остров на Луаре, где находится могила моей матери; я согласился. Подписывая контракт с покупщиком у его нотариуса, я почувствовал, как в этой темной конторе на меня пахнуло погребом. Я вздрогнул, вспомнив, что такая же сырость и холод охватили меня на краю могилы, куда опустили моего отца. Мне это показалось дурною приметою. Мне почудился голос матери, ее тень; не знаю, каким чудом сквозь колокольный звон мое собственное имя чуть слышно раздалось у меня в ушах! От денег, полученных за остров, у меня, по уплате всех долгов, осталось две тысячи франков. Конечно, я мог бы снова повести мирную жизнь ученого, вернуться после всех экспериментов на свою мансарду — вернуться с огромным запасом наблюдений и пользуясь уже некоторой известностью. Но Феодора не выпустила своей добычи. Я часто сталкивался с нею. Я заставил ее поклонников протрубить ей уши моим именем — так все были поражены моим умом, моими лошадьми, успехами, экипажами. Она оставалась холодной и бесчувственной ко всему, даже к ужасным словам: «Он губит себя из-за вас», которые произнес Растиньяк. Всему

свету поручал я мстить за себя, но счастлив я не был. Я раскопал всю грязь жизни, и мне все больше не хватало радостей разделенной любви, я гонялся за призраком среди случайностей моего разгульного существования, среди оргий. К несчастью, я был обманут в лучших своих чувствах, за благодеяния наказан неблагодарностью, а за провинности вознагражден тысячью наслаждений. Философия мрачная, но для кутилы правильная! К тому же Феодора заразила меня проказой тщеславия. Заглядывая к себе в душу, я видел, что она поражена гангреной, что она гниет. Демон оставил у меня на лбу отпечаток своей петушиной шпоры. Отныне я уже не мог обойтись без трепета жизни, в любой момент подвергающейся риску, и без проклятых утонченностей богатства. Будь я миллионером, я бы все время играл, пировал, суетился. Мне больше никогда не хотелось побыть одному. Мне нужны были куртизанки, мнимые друзья, изысканные блюда, вино, чтобы забыться.

Нити, связывающие человека с семьей, порвались во мне навсегда. Я был приговорен к каторге наслаждений, я должен был до конца осуществить то, что подсказывал мой роковой жребий — жребий самоубийцы. Расточая последние

остатки своего богатства, я предавался излишествам невероятным, но каждое утро смерть отбрасывала меня к жизни. Подобно некоему владельцу пожизненной ренты, я мог бы спокойно войти в горящее здание. В конце концов у меня осталась единственная двадцатифранковая монета, и тогда мне пришла на память былая удача Растиньяка…

— Эге! — вспомнив вдруг про талисман, вскричал Рафаэль и вытащил его из кармана.

То ли борьба за долгий этот день утомила его, и он не в силах был править рулем своего разума в волнах вина и пунша, то ли воспоминания возбуждали его и незаметно опьянил его поток собственных слов — словом, Рафаэль воодушевился, впал в восторженное состояние и как будто обезумел.

— К черту смерть! — воскликнул он, размахивая шагреневой кожей. — Теперь я хочу жить! Я богат — значит, обладаю всеми достоинствами! Ничто не устоит передо мною. Кто не стал бы добродетельным, раз ему доступно все?

Хе-хе! Ого! Я хотел двухсот тысяч дохода, и они у меня будут. Кланяйтесь мне, свиньи, развалившиеся на коврах, точно на навозе! Вы принадлежите мне, вот так славное имущество!

Я богат, я всех вас могу купить, даже вон того депутата, который так громко храпит. Ну что ж, благословляйте меня, великосветская сволочь! Я папа римский!

Восклицания Рафаэля, до сих пор заглушавшиеся густым непрерывным храпом, неожиданно были расслышаны. Большинство спавших проснулось с криком; но, заметив, что человек, прервавший их сон, плохо держится на ногах и шумит во хмелю, они выразили свое возмущение целым концертом брани.

— Молчать! — крикнул Рафаэль. — На место, собаки! Эмиль, я сказочно богат, я подарю тебе гаванских сигар.

— Я внимательно слушаю, — отозвался поэт. — Феодора или смерть!

Продолжай свой рассказ. Эта кривляка Феодора надула тебя. Все женщины — дщери Евы. В твоей истории нет ничего драматического.

— А, ты спал, притворщик?

— Нет… Феодора или смерть!.. Продолжай…

— Проснись! — вскричал Рафаэль, хлопая Эмиля шагреневой кожей, точно желая извлечь из нее электрический ток.

— Черт побери! — сказал Эмиль, вскакивая и обхватывая Рафаэля руками.

— Друг мой, помни, что ты здесь среди женщин дурного поведения.

— Я миллионер!

— Миллионер ты или нет, но уж во всяком случае пьян.

— Пьян властью. Я могу тебя убить!.. Молчать! Я Нерон! Я Навуходоносор!

— Рафаэль, мы ведь в дурном обществе, ты бы хоть из чувства собственного достоинства помолчал.

— Я слишком долго молчал в жизни. Теперь я отомщу за себя всему миру!

Мне больше не доставит удовольствия швырять направо и налево презренный металл, — в малом виде я буду повторять свою эпоху, буду пожирать человеческие жизни, умы, души. Вот она, роскошь настоящая, а не какая-то жалкая роскошь. Разгул во время чумы. Не боюсь ни желтой лихорадки, ни голубой, ни зеленой, не боюсь ни армий, ни эшафотов. Могу завладеть Феодорой… Нет, не хочу Феодоры, это моя болезнь, я умираю от Феодоры! Хочу забыть Феодору!

— Если ты будешь так кричать, я утащу тебя в столовую.

— Ты видишь эту кожу? Это завещание Соломона. Он мне принадлежит, Соломон, царь-педант!

И Аравия моя, и Петрея в придачу. Вся вселенная — моя! И ты — мой, если захочу. Да, если захочу — берегись! Могу купить всю твою лавочку, журналист, и будешь ты моим лакеем. Будешь мне сочинять куплеты, линовать бумагу. Лакей! Это значит ему все нипочем — он не думает ни о чем.

При этих словах Эмиль утащил Рафаэля в столовую.

— Ну, хорошо, друг мой, я твой лакей, — сказал он. — А ты будешь главным редактором газеты. Молчи! Из уважения ко мне веди себя прилично! Ты меня любишь?

— Люблю ли? У тебя будут гаванские сигары, раз я владею этой кожей. А все — кожа, друг мой, всемогущая кожа! Превосходное средство, выводит даже мозоли. У тебя есть мозоли? Я выведу их…

— До такой глупости ты еще никогда не доходил!

— Глупости? Нет, мой друг! Эта кожа съеживается, когда у меня является хоть какое-нибудь желание… Это точно вопрос и ответ. Брамин… Тут замешан брамин!.. Так вот этот брамин — шутник, потому что, видишь ли, желания должны растягивать…

— Ну, да.

— Я хочу сказать…

— Да, да, совершенно верно, я тоже так думаю. Желание растягивает…

— Я хочу сказать — кожу!

— Да, да.

— Ты мне не веришь? Я тебя знаю, друг мой: ты лжив, как новый король.

— Сам посуди, можно ли принимать всерьез твою пьяную болтовню?

— Ручаюсь, что докажу тебе. Снимем мерку…

— Ну, теперь он не заснет! — воскликнул Эмиль, видя, что Рафаэль начал шарить по столовой.

Благодаря тем странным проблескам сознания, которые чередуются у пьяных с сонными грезами хмеля, Рафаэль с обезьяньим проворством отыскал чернильницу и салфетку; при этом он все повторял:

— Снимем мерку! Снимем мерку!

— Ну что ж, — сказал Эмиль, — снимем мерку. Два друга расстелили салфетку и положили на нее шагреневую кожу. В то время как Эмиль, у которого рука была, казалось, увереннее, чем у Рафаэля, обводил чернилами контуры талисмана, его друг говорил ему:

— Я пожелал себе двести тысяч франков дохода, не правда ли? Так вот, когда они у меня будут, ты

увидишь, что шагрень уменьшится.

— Ну, конечно, уменьшится. А теперь спи. Хочешь, я устрою тебя на этом диванчике? Вот так, удобно тебе?

— Да, питомец Печати. Ты будешь забавлять меня, отгонять мух. Тот, кто был другом в несчастье, имеет право быть другом в могуществе. Значит, я подарю тебе га-ван-ских си…

— Ладно, проспи свое золото, миллионер.

— Проспи свои статьи. Покойной ночи. Пожелай же покойной ночи Навуходоносору!.. Любовь! Пить! Франция…. Слава и богатство… богатство…

Вскоре оба друга присоединили свой храп к той музыке, что раздавалась в гостиных. Дикий концерт! Одна за другой гасли свечи, трескались хрустальные розетки. Ночь окутала своим покрывалом долгую оргию, среди которой рассказ Рафаэля был как бы оргией речей, лишенных мысли, и мыслей, для которых не хватало слов.

На другой день, около двенадцати, прекрасная Акилина встала, зевая, не выспавшись; на щеке ее мраморными жилками отпечатался узор бархатной обивки табурета, на котором лежала ее голова. Евфрасия, разбуженная движениями подруги, вскочила с хриплым криком; ее миловидное личико, такое беленькое, такое свежее

накануне, теперь было желто и бледно, как у девушки, которая идет в больницу. Гости один за другим с тяжкими стонами начинали шевелиться; руки и ноги у них затекли, каждый чувствовал при пробуждении страшную слабость во всем теле. Лакей открыл в гостиных жалюзи и окна. Теплые лучи солнца заиграли на лицах спящих, и все сборище поднялось на ноги. Женщины, ворочаясь во сне, разрушили изящное сооружение своих причесок, измяли свои туалеты — и теперь, при дневном свете, представляли собой отвратительное зрелище: волосы висели космами, черты приобрели совсем другое выражение, глаза, прежде такие блестящие, потускнели от усталости. Смуглые лица, такие яркие при свечах, теперь были ужасны, лица лимфатические, такие белые, такие нежные, когда они не изнурены усталостью, позеленели; губы, еще недавно такие прелестные, алые, а теперь сухие и бледные, носили на себе постыдные стигматы пьянства. Мужчины, видя, как увяли, как помертвели их ночные возлюбленные — точно цветы, затоптанные процессией молящихся, — отреклись от них. Но сами эти надменные мужчины были еще ужаснее. Каждый невольно вздрогнул бы при взгляде на эти человеческие лица с кругами у впалых

глаз, которые остекленели от пьянства, отупели от беспокойного сна, скорее расслабляющего, чем восстанавливающего силы, и, казалось, ничего не видели; что-то дикое, холодно-зверское было в этих осунувшихся лицах, на которых физическое вожделение проступало в обнаженном виде, без той поэзии, какою приукрашает их наша душа. Такое пробуждение порока, представшего без покровов и румянца, как скелет зла, ободранный, холодный, пустой, лишенный софизмов ума и очарований роскоши, ужаснуло неустрашимых этих атлетов, как ни привыкли они вступать в схватку с разгулом. Художники и куртизанки хранили молчание, блуждающим взором окидывая беспорядок в зале, где все было опустошено и разрушено огнем страстей. Вдруг поднялся сатанинский хохот — это Тайфер, услыхав хриплые голоса своих гостей, попытался приветствовать их гримасой; глядя на его потное, налившееся кровью лицо, казалось, что над этой адской сценой встает образ преступления, не знающего укоров совести.

(См. «Красную гостиницу».) Картина получилась завершенная. То была грязь на фоне роскоши, чудовищная смесь великолепия и человеческого убожества, образ пробудившегося

разгула после того, как он алчными своими руками выжал все плоды жизни, расшвыряв вокруг себя лишь мерзкие объедки — обманы, в которые он уже не верит. Казалось, что Смерть улыбается среди зачумленной семьи: ни благовоний, ни ослепительного света, ни веселья, ни желаний, только отвращение с его тошнотворными запахами и убийственной философией. Но солнце, сияющее, как правда, но воздух, чистый, как добродетель, составляли контраст с духотой, насыщенной миазмами — миазмами оргии! Несмотря на привычку к пороку, не одна из этих молодых девушек вспомнила, как она пробуждалась в былые дни и как она, невинная, чистая, глядела в окно деревенского домика, обвитое жимолостью и розами, любовалась утреннею природой, завороженною веселыми трелями жаворонка, освещенною пробившимися сквозь туман лучами зари и прихотливо разубранною алмазами росы. Другие рисовали себе семейный завтрак, стол, вокруг которого невинно смеялись дети и отец, где все дышало невыразимым обаянием, где кушанья были просты, как и сердца. Художник думал о мирной своей мастерской, о целомудренной статуе, о прелестной натурщице, ожидавшей его. Молодой адвокат, вспомнив

о процессе, от которого зависела судьба целой семьи, думал о важной сделке, требовавшей его присутствия. Ученый тосковал по своему кабинету, где его ожидал благородный труд. Почти все были недовольны собой. В это время, смеясь, появился Эмиль, свежий и розовый, как самый красивый приказчик модного магазина.

— Вы безобразнее судебных приставов! — воскликнул он. — Сегодня вы ни на что не годны, день потерян, мой совет — завтракать.

При этих словах Тайфер вышел распорядиться. Женщины расслабленной походкой двинулись к зеркалам, чтобы привести себя в порядок. Все очнулись.

Самые порочные поучали благоразумнейших. Куртизанки посмеивались над теми, кто, по-видимому, не находил в себе сил продолжать это изнурительное пиршество. В одну минуту призраки оживились, стали собираться кучками, обратились друг к другу с вопросами, заулыбались. Ловкие и проворные лакеи быстро расставили в комнатах все по местам. Был подан роскошный завтрак.

Гости ринулись в столовую. Здесь все носило неизгладимый отпечаток вчерашней оргии, но сохранялся хоть проблеск жизни и мысли, как

в последних судорогах умирающего. Точно во время карнавала, разгульная масленица была похоронена масками, которые устали плясать, упились пьянством, но, несмотря ни на что, упорно желали продолжать наслаждение, только чтобы не признаться в собственном бессилии. Когда бесстрашные гости уселись вокруг стола банкира, Кардо, накануне предусмотрительно исчезнувший после обеда, чтобы закончить оргию в супружеской постели, вдруг появился опять, угодливо и сладко улыбаясь. Казалось, он пронюхал о каком-то наследстве и готовился его посмаковать, составляя опись, перебеляя ее и подвергая имущество разделу, — о наследстве, обильном всякого рода нотариальными актами, чреватом гонорарами, столь же лакомом, как сочное филе, в которое амфитрион втыкал сейчас нож.

— Итак, мы будем завтракать в нотариальном порядке! — воскликнул де Кюрси.

— Вы являетесь кстати, чтобы произвести учет всей этой движимости, — сказал банкир, обращаясь к Кардо и указывая на пиршественный стол.

— Завещаний составлять не придется, а вот разве брачные контракты, — сказал ученый, который год тому назад в высшей степени удачно женился первым браком.

— Ого!

— Ага!

— Одну минутку, — сказал Кардо, оглушенный хором плоских шуток, — я пришел по важному делу. Я принес одному из вас шесть миллионов. — (Глубокое молчание.) — Милостивый государь, — сказал он, обращаясь к Рафаэлю, который в это время бесцеремонно протирал глаза уголком салфетки, — ваша матушка — урожденная О'Флаэрти?

— Да, — машинально отвечал Рафаэль. — Варвара-Мария.

— Имеются ли у вас акты о рождении вашем и госпожи де Валантен? — продолжал Кардо.

— Конечно.

— Ну, так вот, милостивый государь, вы единственный и полноправный наследник майора О'Флаэртн, скончавшегося в августе тысяча восемьсот двадцать восьмого года в Калькутте.

— Калькуттского богатства не прокалькулируешь! — вскричал знаток.

— Майор в своем завещании отказал значительные суммы некоторым общественным учреждениям, и французское правительство вытребовало наследство у Ост-Индской компании, — продолжал нотариус. — В настоящий

момент оно учтено и свободно от долгов. Я две недели тщетно разыскивал лиц, заинтересованных в наследстве госпожи Варвары-Марии О'Флаэрти, как вдруг вчера за столом…

Но тут Рафаэль вскочил и сделал такое резкое движение, как будто его ранили. Присутствующие словно вскрикнули беззвучно; первым чувством гостей была глухая зависть; все обратили к Рафаэлю горящие взоры. Затем поднялся шум, какой бывает в раздраженном партере, волнение все усиливалось, каждому хотелось что-нибудь сказать в виде приветствия огромному состоянию, принесенному нотариусом. Сразу отрезвев от внезапной услужливости судьбы, Рафаэль быстро разостлал на столе салфетку, на которой он недавно отметил размеры шагреневой кожи. Не слушая, что говорят, он положил на нее талисман и невольно вздрогнул, заметив небольшое расстояние между краями кожи и чертежом на салфетке.

— Что с ним? — воскликнул Тайфер. — Богатство досталось ему дешево.

— На помощь, Шатильон! — сказал Бисиу Эмилю. — Он сейчас умрет от радости.

Ужасная бледность обозначила каждый мускул на помертвевшем лице наследника, черты

исказились, выпуклости побелели, впадины потемнели, лицо стало свинцовым, взгляд застыл неподвижно. Он увидел перед собой смерть.

Великолепный банкир, окруженный увядшими куртизанками, пресыщенными собутыльниками, — вся эта агония радости была олицетворением его жизни.

Рафаэль трижды взглянул на талисман, свободно укладывавшийся среди неумолимых линий, начертанных на салфетке; он пытался усомниться, но некое ясное предчувствие преодолевало его недоверчивость. Мир принадлежал ему, он все мог — и не хотел уже ничего. Как у странника в пустыне, у него осталось совсем немного воды, чтобы утолить жажду, и жизнь его измерялась числом глотков. Он видел, скольких дней будет ему стоить каждое желание. Он начинал верить в шагреневую кожу, прислушиваться к своему дыханию, он уже чувствовал себя больным и думал: «Не чахотка ли у меня? Не от грудной ли болезни умерла моя мать? «

— Ах, Рафаэль, то-то вы теперь повеселитесь! Что вы мне подарите? — спрашивала Акилина.

— Выпьем за кончину его дядюшки, майора О'Флаэрти! Вот это, я понимаю, человек!

— Рафаэль будет пэром Франции.

— Э, что такое пэр Франции после июльских событий! — заметил знаток.

— Будет у тебя ложа в Итальянском театре?

— Надеюсь, вы всех нас угостите? — осведомился Бисиу.

— У такого человека все будет на широкую ногу, — сказал Эмиль.

Приветствия насмешливого этого сборища раздавались в ушах Валантена, но он не мог разобрать ни единого слова; в голове у него мелькала неясная мысль о механическом и бесцельном существовании многодетного бретонского крестьянина, который обрабатывает свое поле, питается гречневой кашей, пьет сидр из одного и того же кувшина, почитает божью матерь и короля, причащается на пасху, по воскресеньям пляшет на зеленой лужайке и не понимает проповедей своего духовника. От зрелища, которое являли его взорам золоченые панели, куртизанки, яства, роскошь, у него спирало дыхание и першило в горле.

— Хотите спаржи? — крикнул ему банкир.

— Я ничего не хочу! — громовым голосом крикнул Рафаэль.

— Браво! — воскликнул Тайфер. — Вы знаете толк в богатстве, — это право на дерзости. Вы

наш! Господа, выпьем за могущество золота. Став шестикратным миллионером, господин де Валантен достигает власти. Он король, он все может, он выше всего, как все богачи. Слова: Французы равны перед законом — отныне для него ложь, с которой начинается хартия. Не он будет подчиняться законам, а законы — ему. Для миллионеров нет ни эшафота, ни палачей!

— Да, — отозвался Рафаэль, — они сами себе палачи!

— Вот еще один предрассудок! — вскричал банкир.

— Выпьем! — сказал Рафаэль, кладя в карман шагреневую кожу.

— Что ты там прячешь? — воскликнул Эмиль, хватая его за руку. — Господа, — продолжал он, обращаясь к собранию, которому поведение Рафаэля представлялось несколько загадочным, — да будет вам известно, что наш друг де Валантен... но что я говорю? — господин маркиз де Валантен обладает тайной обогащения. Стоит только ему задумать какое-нибудь желание, и оно мгновенно исполняется. Чтобы не сойти за лакея или же за человека бессердечного, он всех нас должен сейчас обогатить.

— Ах, миленький Рафаэль, я хочу жемчужный

убор! — вскричала Евфрасия.

— Если он человек благородный, он подарит мне две кареты и отличных, быстрых лошадей, — сказала Акилина.

— Пожелайте мне сто тысяч ливров дохода!

— Кашемировую шаль!

— Заплатите мои долги!

— Нашлите апоплексию на моего дядюшку, отчаянного скрягу!

— Рафаэль, десять тысяч ливров дохода — и мы с тобой в расчете.

— Сколько же здесь дарственных! — вскричал нотариус.

— Он во что бы то ни стало должен вылечить меня от подагры!

— Сделайте так, чтобы упала рента! — крикнул банкир.

Как искры из огненного фонтана, завершающего фейерверк, посыпались эти фразы. И все эти яростные желания выражались скорее всерьез, чем в шутку.

— Милый мой друг, — с важным видом заговорил Эмиль, — я удовольствуюсь двумястами тысячами ливров дохода, — будь добр, сделай мне такую милость.

— Эмиль, — сказал Рафаэль, — ведь ты же зна-

ешь, какой ценой это дается!

— Вот так оправдание! — вскричал поэт. — Разве мы не должны жертвовать собою ради друзей?

— Я готов всем вам пожелать смерти! — отвечал Валантен, окинув гостей взором мрачным и глубоким.

— Умирающие зверски жестоки, — со смехом сказал Эмиль. — Вот ты богат, — добавил он уже серьезно, — и не пройдет двух месяцев, как ты станешь гнусным эгоистом. Ты уже поглупел, не понимаешь шуток. Не хватает еще, чтобы ты поверил в свою шагреневую кожу…

Рафаэль, боясь насмешек, хранил молчание в этом сборище, пил сверх меры и напился допьяна, чтобы хоть на мгновение забыть о губительном своем могуществе.

III. АГОНИЯ

В первых числах декабря по улице Варен шел под проливным дождем семидесятилетний старик; поднимая голову у каждого особняка, он с наивностью ребенка и самоуглубленным видом философа разыскивал, где живет маркиз Рафаэль де Валантен. Борьба властного характера с тяжкой скорбью оставила явственный след на его лице, обрамленном длинными седыми волосами, высохшем, как старый пергамент, который коробится на огне. Если бы какой-нибудь художник встретил эту странную фигуру в черном, худую и костлявую, то, придя к себе в мастерскую, он, конечно, занес бы ее в свой альбом и подписал под портретом: «Поэт-классик в поисках рифмы». Найдя нужный ему номер, этот воскресший Ролен[66] тихо постучал в дверь великолепного особняка.

— Господин Рафаэль дома? — спросил старик у швейцара в ливрее.

— Маркиз никого не принимает, — отвечал швейцар, запихивая в рот огромный кусок хлеба,

---

[66] Примечания: 66
Ролен Шарль (1661-1741) — французский историк и педагог.

предварительно обмакнув его в большую чашку кофе.

— Его карета здесь, — возразил старик, показывая на блестящий экипаж, который стоял у подъезда, под резным деревянным навесом, изображавшим шатер.

— Он сейчас выезжает, я его подожду.

— Ну, дедушка, этак вы можете прождать до утра, карета всегда стоит наготове для маркиза, — заметил швейцар. — Пожалуйста, уходите, — ведь я потеряю шестьсот франков пожизненной пенсии, если хоть раз самовольно пущу в дом постороннего человека.

В это время высокий старик, которого по одежде можно было принять за министерского курьера, вышел из передней и быстро пробежал вниз, смерив взглядом оторопевшего просителя.

— Впрочем, вот господин Ионафан, — сказал швейцар, — поговорите с ним.

Два старика, подчиняясь, вероятно, чувству взаимной симпатии, а быть может, любопытства, сошлись среди просторного двора на круглой площадке, где между каменных плит пробивалась трава. В доме стояла пугающая тишина. При взгляде на Ионафана невольно хотелось проникнуть в тайну, которою дышало его лицо,

тайну, о которой говорила всякая мелочь в этом мрачном доме. Первой заботой Рафаэля, после того как он получил огромное наследство дяди, было отыскать своего старого, преданного слугу, ибо на него он мог положиться.

Ионафан заплакал от счастья, увидев Рафаэля, ведь он думал, что простился со своим молодым господином навеки; и как же он обрадовался, когда маркиз возложил на него высокие обязанности управителя! Старый Ионафан был облечен властью посредника между Рафаэлем и всем остальным миром. Верховный распорядитель состояния своего хозяина, слепой исполнитель его неведомого замысла, он был как бы шестым чувством, при помощи которого житейские волнения доходили до Рафаэля.

— Мне нужно поговорить с господином Рафаэлем, — сказал старик Ионафану, поднимаясь на крыльцо, чтобы укрыться от дождя.

— Поговорить с господином маркизом? — воскликнул управитель. — Он и со мной почти не разговаривает, со мной, своим молочным отцом!

— Но ведь и я его молочный отец! — вскричал старик. — Если ваша жена некогда кормила его грудью, то я вскормил его млеком муз. Он мой воспитанник, мое дитя, carus alumnus (Дорогой

питомец (лат.)). Я образовал его ум, я взрастил его мышление, развил его таланты — смею сказать, к чести и славе своей! Разве это не один из самых замечательных людей нашего времени? Под моим руководством он учился в шестом классе, в третьем и в классе риторики. Я его учитель.

— Ах, так вы — господин Поррике?

— Он самый. Но…

— Тс! Тс! — цыкнул Ионафан на двух поварят, голоса которых нарушали монастырскую тишину, царившую в доме.

— Но послушайте, — продолжал учитель, — уж не болен ли маркиз?

— Ах, дорогой господин Поррике, один бог ведает, что приключилось с маркизом, — отвечал Ионафан. — Право, в Париже и двух таких домов не найдется, как наш. Понимаете? Двух домов. Честное слово, не найдется. Маркиз велел купить этот дом, прежде принадлежавший герцогу, пэру. Истратил триста тысяч франков на обстановку. А ведь триста тысяч франков — большие деньги!

Зато уж что ни вещь в нашем доме-то чудо. «Хорошо! — подумал я, когда увидел все это великолепие. — Это как у их покойного дедушки! Молодой маркиз будет у себя принимать весь город и двор!»Не тут-то было. Он никого не пожелал

видеть. Чудную он ведет жизнь, — понимаете ли, господин Поррике?

Порядок соблюдает каллиграфически. Встает каждый день в одно и то же время.

Кроме меня, никто, видите ли, не смеет войти к нему в комнату. Я открываю дверь в семь часов, что летом, что зимой. Такой уж странный заведен у нас обычай. Вхожу и говорю: «Господин маркиз, пора вставать и одеваться». Маркиз встает и одевается. Я должен подать халат, который всегда шьется одного и того же покроя из одной и той же материи. Я обязан сам заказать ему другой, когда старый износится, только чтобы маркиз не трудился спрашивать себе новый халат. Выдумает же! Что ж, милое мое дитятко смело может тратить тысячу франков в день, вот он и делает, что хочет. Да ведь я так его люблю, что, ежели он меня ударит по правой щеке, я подставлю левую! Прикажет сделать самое что ни на есть трудное, — все, понимаете ли, сделаю. Ну, да на мне лежит столько всяких забот, что и так времени не вижу. Читает он газеты, конечно. Приказ — класть их всегда на то же самое место, на тот же самый стол. В один и тот же час самолично брею его, и руки при этом не дрожат. Повар потеряет тысячу экю пожизненной пенсии, которая ожи-

дает его после кончины маркиза, ежели завтрак не будет — это уж каллиграфически требуется — стоять перед маркизом ровно в десять утра, а обед — ровно в пять. Меню на каждый день составлено на год вперед. Маркизу нечего желать.

Когда появляется клубника, ему подают клубнику, первая же макрель, которую привозят в Париж, — у него на столе. Карточка отпечатана, еще утром он знает наизусть, что у него на обед. Одевается, стало быть, в один и тот же час, платье и белье всегда одно и то же, и кладу я платье и белье всегда, понимаете ли, на то же самое кресло. Я должен еще следить за тем, чтоб и сукно было одинаковое; в случае надобности, если сюртук, положим, износится, я должен заменить его новым, а маркизу ни слова про это не говорить. Если погода хорошая, я вхожу и говорю: «Не нужно ли вам проехаться? „ Он отвечает: „да“ или „нет“. Придет в голову прокатиться — лошадей ждать не надо: они всегда запряжены; кучеру каллиграфически приказано сидеть с бичом в руке, — вот, сами видите. После обеда маркиз едет нынче в Оперу, завтра в Италь… ах, нет, в Итальянском театре он еще не был, я достал ложу только вчера. Потом, ровно в одиннадцать, возвращается и ложится. Когда он ничем не занят, то все чи-

тает, читает, и вот что, видите ли, пришло ему на ум. Мне приказано первому читать «Вестник книготорговли“ и покупать новые книги — как только они поступят в продажу, маркиз в тот же день находит их у себя на камине. Я получил распоряжение входить к нему каждый час — присматривать за огнем, за всем прочим, следить, чтобы у него ни в чем не было недостатка.

Дал он мне выучить наизусть книжечку, а там записаны все мои обязанности, — ну, прямо катехизис! Летом у меня уходят целые груды льда, так как воздух в комнатах должен быть всегда одинаково прохладный, а свежие цветы должны у нас повсюду стоять круглый год. Он богат! Он может тратить тысячу франков в день, может исполнять все свои прихоти. Бедняжка так долго нуждался! Никого он не обижает, мягок, как воск, никогда слова не скажет, — но зато уж, правда, и сам требует полной тишины в саду и в доме. Так вот, никаких желаний у моего господина не бывает, все само идет к нему в руки и попадает на глаза, и баста! И он прав: если прислугу не держать в руках, все пойдет вразброд. Я ему говорю, что он должен делать, и он слушается. Вы не поверите, до чего это у него доходит. Покои его идут анф… ан… как это?

Да, анфиладой! Вот отворяет он, положим, дверь из спальни или из кабинета-трах! — все двери отворяются сами: такой механизм. Значит, он может обойти дом из конца в конец и при этом не найдет ни одной запертой двери. Это ему удобно и приятно, и нам хорошо. А уж стоило это нам!..

Словом, дошло до того, господин Поррике, что он мне сказал: «Ионафан, ты должен заботиться обо мне, как о грудном младенце». О грудном младенце! Да, сударь, так и сказал: о грудном младенце. «Ты за меня будешь думать, что мне нужно...»Я, выходит, как бы господин, понимаете? А он — как бы слуга. И к чему это? А, да что там толковать: этого никто на свете не знает, только он сам да господь бог. Каллиграфически!

— Он пишет поэму! — вскричал старый учитель.

— Вы думаете, пишет поэму? Стало быть, это каторжный труд — писать-то! Только что-то не похоже. Он часто говорит, что хочет жить простительной жизнью. Не далее как вчера, господин Поррике, он, когда одевался, посмотрел на тюльпан и сказал: «Вот моя жизнь... Я живу простительной жизнью, бедный мой Ионафан!»А другие полагают, что у него мания. Каллиграфи-

чески ничего не поймешь!

— Все мне доказывает, Ионафан, — сказал учитель с наставительной важностью, внушавшей старому камердинеру глубокое уважение к нему, — что ваш господин работает над большим сочинением. Он погружен в глубокие размышления и не желает, чтобы его отвлекали заботы повседневной жизни. За умственным трудом гениальный человек обо всем забывает. Однажды знаменитый Ньютон…

— Как? Ньютон?.. Такого я не знаю, — сказал Ионафан.

— Ньютон, великий геометр, — продолжал Поррике, — провел двадцать четыре часа в размышлении, облокотившись на стол; когда же он на другой день вышел из задумчивости, то ему показалось, что это еще вчерашний день, точно он проспал… Я пойду к нему, к моему дорогому мальчику, я ему пригожусь…

— Стойте! — крикнул Ионафан. — Будь вы французским королем — прежним, разумеется! — и то вы вошли бы не иначе, как выломав двери и перешагнув через мой труп. Но вот что, господин Поррике: я сбегаю сказать, что вы здесь, и спрошу: нужно ли впустить? Он ответит «да» или «нет». Я никогда не говорю: «Не угодно ли

вам? «, «Не хотите ли? «, «Не желаете ли? «

Эти слова вычеркнуты из разговора. Как-то раз одно такое слово вырвалось у меня, он разгневался: «Ты, говорит, уморить меня хочешь? «

Ионафан оставил старого учителя в прихожей, сделав знак не ходить за ним, но вскоре вернулся с благоприятным ответом и повел почтенного старца через великолепные покои, все двери которых были отворены настежь. Поррике издали заметил своего ученика — тот сидел у камина. Закутанный в халат с крупным узором, усевшись в глубокое мягкое кресло, Рафаэль читал газету.

Крайняя степень меланхолии, которою он, видимо, был охвачен, сказывалась в болезненной позе его расслабленного тела, отпечатлелась на лбу, на всем его лице, бледном, как чахлый цветок. Какое-то женственное изящество, а также странности, свойственные богатым больным, отличали его. Как у хорошенькой женщины, руки его были белы, мягки и нежны. Белокурые поредевшие волосы утонченно-кокетливо вились у висков. Греческая скуфейка из легкого кашемира под тяжестью кисти сползла набок. Он уронил на пол малахитовый с золотом нож для разрезания бумаги. На коленях у него лежал янтарный мундштук великолепной индийской гука, эмале-

вая спираль которой, точно змея, извивалась на полу, и он уже не впивал в себя освежающее ее благоухание.

Общей слабости его юного тела не соответствовали, однако, его глаза; казалось, в этих синих глазах сосредоточилась вся его жизнь, в них сверкало необычайное чувство, поражавшее с первого взгляда. В такие глаза больно было смотреть. Одни могли прочесть в них отчаяние, другие — угадать внутреннюю борьбу, грозную, как упреки совести. Такой глубокий взор мог быть у бессильного человека, скрывающего свои желания в тайниках души, или же у скупца, мысленно вкушающего все наслаждения, которые могло бы доставить ему богатство и отказывающего себе в них из страха уменьшить свои сокровища; такой взор мог быть у скованного Прометея или же у свергнутого Наполеона, когда в 1815 году, узнав в Елисейском дворце о стратегической ошибке неприятеля, он требовал, чтоб ему на двадцать четыре часа доверили командование, и получил отказ. То был взор завоевателя и обреченного! Вернее сказать — такой же взор, каким за несколько месяцев до того сам Рафаэль смотрел на воды Сены или же на последнюю золотую монету, которую он ставил на карту. Он подчинял

свою волю, свой разум грубому здравому смыслу старика крестьянина, чуть только тронутого цивилизацией за время пятидесятилетней его службы у господ. Почти радуясь тому, что становится чем-то вроде автомата, он отказывался от жизни для того, чтобы только жить, и отнимал у души всю поэзию желаний. Чтобы лучше бороться с жестокой силой, чей вызов он принял, он стал целомудренным наподобие Оригена, — он оскопил свое воображение. На другой день после того, как он внезапно получил богатое наследство и обнаружил сокращение шагреневой кожи, он был в доме у своего нотариуса. Там некий довольно известный врач совершенно серьезно рассказывал за десертом, как вылечился один чахоточный швейцарец. В течение десяти лет он не произнес ни слова, приучил себя дышать только шесть раз в минуту густым воздухом хлева и пищу принимал исключительно пресную. «Я буду, как он!»— решил Рафаэль, желая жить во что бы то ни стало. Окруженный роскошью, он превратился в автомат. Когда старик Поррике увидел этот живой труп, он вздрогнул: все показалось ему искусственным в этом хилом, тщедушном теле. Взгляд у маркиза был жадный, лоб нахмурен от постоянного раздумья, и учитель не узнал сво-

его ученика, — он помнил его свежим, розовым, по юному гибким. Если бы этот простодушный классик, тонкий критик, блюститель хорошего вкуса читал лорда Байрона, он подумал бы, что увидел Манфреда там, где рассчитывал встретить Чайльд-Гарольда.

— Здравствуйте, дорогой Поррике, — сказал Рафаэль, пожимая ледяную руку старика своей горячей и влажной рукой. — Как поживаете?

— Я-то недурно, — отвечал старик, и его ужаснуло прикосновение этой руки, точно горевшей в лихорадке. — А вы?

— По-моему, я в добром здравии.

— Вы, верно, трудитесь над каким-нибудь прекрасным произведением?

—

Нет, — отвечал Рафаэль. — Exegi monuroentum… (Памятник я воздвиг (лат.)). Я, дорогой Поррике, написал свою страницу и навеки простился с наукой. Хорошо не знаю даже, где и рукопись.

— Вы позаботились о чистоте слога, не правда ли? — спросил учитель.

— Надеюсь, вы не усвоили варварского языка новой школы, которая воображает, что сотворила чудо, вытащив на свет Ронсара?

— Моя работа — произведение чисто физиоло-

гическое.

— О, этим все сказано! — подхватил учитель. — В научных работах требования грамматики должны применяться к требованиям исследования. Все же, дитя мое, слог ясный, гармонический, язык Массильона, Бюффона, великого Расина — словом, стиль классический ничему не вредит… Но, друг мой, — прервав свои рассуждения, сказал учитель, — я позабыл о цели моего посещения. Я к вам явился по делу.

Слишком поздно вспомнив об изящном многословии и велеречивых перифразах, к которым привык его наставник за долгие годы преподавания, Рафаэль почти раскаивался, что принял его, и уже готов был пожелать, чтобы тот поскорее ушел, но тотчас же подавил тайное свое желание, украдкой взглянув на висевшую перед его глазами шагреневую кожу, прикрепленную к куску белой ткани, на которой зловещие контуры были тщательно обведены красной чертой. Со времени роковой оргии Рафаэль заглушал в себе малейшие прихоти и жил так, чтобы даже легкое движение не пробегало по этому грозному талисману. Шагреневая кожа была для него чем-то вроде тигра, с которым приходится жить в близком соседстве под постоянным страхом, как бы

не пробудить его свирепость. Поэтому Рафаэль терпеливо слушал разглагольствования старого учителя. Битый час папаша Поррике рассказывал о том, как его преследовали после Июльской революции. Старичок Поррике, сторонник сильного правительства, выступил в печати с патриотическим пожеланием, требуя, чтобы лавочники оставались за своими прилавками, государственные деятели — при исполнении общественных обязанностей, адвокаты — в суде, пэры Франции — в Люксембургском дворце; но один из популярных министров короля-гражданина обвинил его в карлизме и лишил кафедры. Старик очутился без места, без пенсии и без куска хлеба. Он был благодетелем своего бедного племянника, платил за него в семинарию св.

Сульпиция, где тот учился, и теперь он пришел не столько ради себя, сколько ради своего приемного сына, просить бывшего своего ученика, чтобы тот похлопотал у нового министра — не о восстановлении его, Поррике, в прежней должности, а хотя бы о месте инспектора в любом провинциальном коллеже.

Рафаэль находился во власти неодолимой дремоты, когда монотонный голос старика перестал раздаваться у него в ушах. Принужденный из веж-

ливости смотреть в тусклые, почти неподвижные глаза учителя, слушать его медлительную и витиеватую речь, он был усыплен, заворожен какой-то необъяснимой силой инерции.

— Так вот, дорогой Поррике, — сказал он, сам толком не зная, на какой вопрос отвечает, — я ничего не могу тут поделать, решительно ничего. От души желаю, чтобы вам удалось…

И мгновенно, не замечая, как отразились на желтом, морщинистом лбу старика банальные эти слова, полные эгоистического равнодушия, Рафаэль вскочил, словно испуганная косуля. Он увидел тоненькую белую полоску между краем черной кожи и красной чертой и испустил крик столь ужасный, что бедняга учитель перепугался.

— Вон, старая скотина; — крикнул Рафаэль. — Вас назначат инспектором! И не могли вы попросить у меня пожизненной пенсии в тысячу экю, вместо того чтобы вынудить это смертоносное пожелание? Ваше посещение не нанесло бы мне тогда никакого ущерба. Во Франции сто тысяч должностей, а у меня только одна жизнь! Жизнь человеческая дороже всех должностей в мире…

Ионафан!

Явился Ионафан.

— Вот что ты наделал, дурак набитый! Зачем ты предложил принять его?

— сказал он, указывая на окаменевшего старика. — Для того ли вручил я тебе свою душу, чтобы ты растерзал ее? Ты вырвал у меня сейчас десять лет жизни!

Еще одна такая ошибка — и тебе придется провожать меня в то жилище, куда я проводил своего отца. Не лучше ли обладать красавицей Феодорой, чем оказывать услугу старой рухляди? А ему можно было бы просто дать денег…

Впрочем, умри с голоду все Поррике на свете, что мне до этого?

Рафаэль побледнел от гнева, пена выступила на его дрожащих губах, лицо приняло кровожадное выражение. Оба старика задрожали, точно дети при виде змеи. Молодой человек упал в кресло; какая-то реакция произошла в его душе, из горящих глаз хлынули слезы.

— О моя жизнь! Прекрасная моя жизнь!.. — повторял он. — Ни благодетельных мыслей, ни любви! Ничего! — Он обернулся к учителю. — Сделанного не исправишь, мой старый друг, — продолжал он мягко. — Что ж, вы получите щедрую награду за ваши заботы, и мое несчастье по крайней мере послужит ко благу

славному, достойному человеку.

Он произнес эти малопонятные слова с таким глубоким чувством, что оба старика расплакались, как плачут, слушая трогательную песню на чужом языке.

— Он эпилептик! — тихо сказал Поррике.

— Узнаю ваше доброе сердце, друг мой, — все так же мягко продолжал Рафаэль, — вы хотите найти мне оправдание. Болезнь — это случайность, а бесчеловечность — порок. А теперь оставьте меня, — добавил он. — Завтра или послезавтра, а может быть, даже сегодня вечером, вы получите новую должность, ибо сопротивление возобладало над движением…[67] Прощайте.

Объятый ужасом и сильнейшей тревогой за Валантена, за его душевное здоровье, старик удалился. Для него в этой сцене было что-то сверхъестественное. Он не верил самому себе и допрашивал себя, точно после тяжелого сна.

— Послушай, Ионафан, — обратился молодой человек к старому слуге. — Постарайся наконец понять, какие обязанности я на тебя возложил.

---

[67] Примечания: 67

…сопротивление возобладало над движением… — Имеется в виду борьба двух французских буржуазных партий после 1830 года: «партии движения», настаивавшей на либеральных реформах, и консервативной «партии сопротивления», вполне удовлетворенной политикой своего ставленника Луи-Филиппа.

— Слушаюсь, господин маркиз.

— Я нахожусь как бы вне жизни.

— Слушаюсь, господин маркиз.

— Все земные радости играют вокруг моего смертного ложа и пляшут передо мной, будто прекрасные женщины. Если я позову их, я умру. Во всем смерть! Ты должен быть преградой между миром и мною.

— Слушаюсь, господин маркиз, — сказал старый слуга, вытирая капли пота, выступившие на его морщинистом лбу. — Но если вам не угодно видеть красивых женщин, то как же вы нынче вечером поедете в Итальянский театр?

Одно английское семейство уезжает в Лондон и уступило мне свой абонемент.

Так что, у вас отличная, великолепная, можно сказать, ложа в бенуаре.

Рафаэль впал в глубокую задумчивость и перестал его слушать.

Посмотрите на эту роскошную карету, снаружи скромную, темного цвета, на дверцах которой блистает, однако, герб старинного знатного рода. Когда карета проезжает, гризетки любуются ею, жадно разглядывают желтый атлас ее обивки, пушистый ее ковер, нежно-соломенного цвета позумент, мягкие подушки и зеркальные стекла.

На запятках этого аристократического экипажа — два ливрейных лакея, а внутри, на шелковой подушке, — бледное лицо с темными кругами у глаз, с лихорадочным румянцем, — лицо Рафаэля, печальное и задумчивое. Фатальный образ богатства! Юноша летит по Парижу, как ракета, подъезжает к театру Фавар; подножка кареты откинута, два лакея поддерживают его, толпа провожает его завистливым взглядом.

— И за что ему выпало такое богатство? — говорит бедный студент-юрист, который за неимением одного экю лишен возможности слушать волшебные звуки Россини.

Рафаэль неспешным шагом ходил вокруг зрительного зала; его уже не привлекали наслаждения, некогда столь желанные. В ожидании второго акта «Семирамиды» он гулял по фойе, бродил по коридорам, позабыв о своей ложе, в которую он даже не заглянул. Чувства собственности больше не существовало в его сердце. Как все больные, он думал только о своей болезни. Опершись о выступ камина, мимо которого, расхаживая по фойе, сновали молодые и старые франты, бывшие и новые министры, пэры непризнанные или же мнимые, порожденные Июльской революцией, множество дельцов

и журналистов, — Рафаэль заметил в толпе в нескольких шагах от себя странную, сверхъестественную фигуру. Он пошел навстречу необыкновенному этому существу, бесцеремонно прищурив глаза, чтобы рассмотреть его получше. «Вот так расцветка!»— подумал он. Брови, волосы, бородка в виде запятой, как у Мазарини, которою незнакомец явно гордился, были выкрашены черной краской, но так как седины, вероятно, у него было очень много, то косметика придала его растительности неестественный лиловатый цвет, и оттенки его менялись в зависимости от освещения. Узкое и плоское его лицо, на котором морщины были замазаны густым слоем румян и белил, выражало одновременно и хитрость и беспокойство. Не накрашенные места, где проступала дряблая кожа землистого цвета, резко выделялись; нельзя было без смеха смотреть на эту физиономию с острым подбородком, с выпуклым лбом, напоминающую те уморительные фигурки, которые в часы досуга вырезают из дерева немецкие пастухи. Если бы какой-нибудь наблюдательный человек всмотрелся сначала в этого старого Адониса, а потом в Рафаэля, он заметил бы, что у маркиза — молодые глаза за старческой маской, а у незнакомца — тусклые

стариковские глаза за маской юноши. Рафаэль силился припомнить, где он видел этого сухонького старичка, в отличном галстуке, в высоких сапогах, позвякивающего шпорами и скрестившего руки с таким видом, точно он сохранил весь пыл молодости. В его походке не было ничего деланного, искусственного. Элегантный фрак, тщательно застегнутый на все пуговицы, создавал впечатление, что обладатель его по-старинному крепко сложен, подчеркивал статность старого фата, который еще следил за модой.

Валантен смотрел на эту ожившую куклу как зачарованный, словно перед ним появился призрак. Смотрел на него как на старое, закопченное полотно Рембрандта, недавно реставрированное, покрытое лаком и вставленное в новую раму. Это сравнение навело его на след истины: отдавшись смутным воспоминаниям, он вдруг узнал торговца редкостями, человека, которому он был обязан своим несчастьем. В ту же минуту на холодных губах этого фантастического персонажа, прикрывавших вставные зубы, заиграла немая усмешка. И вот живому воображению Рафаэля открылось разительное сходство этого человека с той идеальной головой, какою живописцы наделяют гетевского Мефистофеля. Множество суеверных

мыслей овладело душой скептика Рафаэля, в эту минуту он верил в могущество демона, во все виды колдовства, о которых повествуют средневековые легенды, воспроизводимые поэтами. С ужасом отвергнув путь Фауста, он вдруг пламенно, как это бывает с умирающими, поверил в бога, в деву Марию и воззвал к небесам. В ярком, лучезарном свете увидел он небо Микеланджело и облака Санцо Урбинского, головки с крыльями, седобородого старца, прекрасную женщину, окруженную сиянием. Теперь он постигал эти изумительные создания: фантастические и вместе с тем столь близкие человеку, они разъясняли ему то, что с ним произошло, и еще оставляли надежду. Но когда взор его снова упал на фойе Итальянской оперы, то вместо девы Марии он увидел очаровательную девушку, презренную Евфрасию, танцовщицу с телом гибким и легким, в блестящем платье, осыпанном восточным жемчугом; она неторопливо подошла к нетерпеливому своему старику, — бесстыдная, с гордо поднятой головой, сверкая очами, она показывала себя завистливому и наблюдательному свету, чтобы все видели, как богат купец, чьи несметные сокровища она расточала. Рафаэль вспомнил о насмешливом пожелании, каким он ответил

на роковой подарок старика, и теперь он вкушал всю радость мести при виде глубокого унижения этой высшей мудрости, падение которой еще так недавно представлялось невозможным. Древний старик улыбнулся Евфрасии иссохшими устами, та в ответ сказала ему что-то ласковое; он предложил ей свою высохшую руку и несколько раз обошел с нею фойе, с радостью ловя страстные взоры и комплименты толпы, относящиеся к его возлюбленной, и не замечая презрительных улыбок, не слыша злобных насмешек по своему адресу.

— На каком кладбище девушка-вампир выкопала этот труп? — вскричал самый элегантный из романтиков.

Евфрасия усмехнулась. Остряк был белокурый, стройный усатый молодой человек, с блестящими голубыми глазами, в куцем фраке, в шляпе набекрень; бойкий на язык, он так и сыпал модными словечками из романтического лексикона.

«Как часто старики кончают безрассудством свою честную, трудовую, добродетельную жизнь! — подумал Рафаэль. — У него уже ноги холодеют, а он волочится… «

— Послушайте! — крикнул он, останавливая торговца и подмигивая Евфрасии. — Вы что же,

забыли строгие правила вашей философии?..

— Ах, теперь я счастлив, как юноша, — надтреснутым голосом проговорил старик. — Я неверно понимал бытие. Вся жизнь — в едином часе любви.

В это время зрители, заслышав звонок, направились к своим местам.

Старик и Рафаэль расстались. Войдя к себе в ложу, маркиз как раз напротив себя, в другом конце зала, увидел Феодору. Очевидно, она только что приехала и теперь отбрасывала назад шарф, открывая грудь и делая при этом множество мелких, неуловимых движений, как подобает кокетке, выставляющей себя напоказ; все взгляды устремились на нее. Ее сопровождал молодой пэр Франции; она попросила у него свой лорнет, который давала ему подержать. По ее жесту, по манере смотреть на нового своего спутника Рафаэль понял, как тиранически поработила она его преемника. Очарованный, по всей вероятности, не менее, чем Рафаэль в былое время, одураченный, как и он, и, как он, всею силою подлинного чувства боровшийся с холодным расчетом этой женщины, молодой человек должен был испытывать те муки, от которых избавился Валантен.

Несказанная радость озарила лицо Феодо-

ры, когда, наведя лорнет на все ложи и быстро осмотрев туалеты, она пришла к заключению, что своим убором и красотой затмила самых хорошеньких, самых элегантных женщин Парижа; она смеялась, чтобы показать свои белые зубы; красуясь, поворачивала головку, убранную цветами, переводила взгляд с ложи на ложу, издевалась над неловко сдвинутым на лоб беретом у одной русской княгини или над неудачной шляпой, безобразившей дочь банкира. Внезапно она встретилась глазами с Рафаэлем и побледнела; отвергнутый любовник сразил ее своим пристальным, нестерпимо презрительным взором. В то время как все отвергнутые ею поклонники не выходили из-под ее власти, Валантен, один в целом свете, освободился от ее чар. Власть, над которой безнаказанно глумятся, близка к гибели. Эта истина глубже запечатлена в сердце женщины, нежели в мозгу королей. И вот Феодора увидела в Рафаэле смерть своему обаянию и кокетству. Остроту, брошенную им накануне в Опере, подхватили уже и парижские салоны. Укол этой ужасной насмешки нанес графине неизлечимую рану. Во Франции мы научились прижигать язвы, но мы еще не умеем успокаивать боль, причиняемую одной единственной

фразой. В ту минуту, когда все женщины смотрели то на маркиза, то на графиню, она готова была посадить его в один из каменных мешков какой-нибудь новой Бастилии, ибо, несмотря на присущий Феодоре дар скрытности, ее соперницы поняли, что она страдает.

Но вот и последнее утешение упорхнуло от нее. В упоительных словах: «Я всех красивее! «, в этой неизменной фразе, умерявшей все горести уязвленного тщеславия, уже не было правды. Перед началом второго акта какая-то дама села в соседней с Рафаэлем ложе, которая до тех пор оставалась пустой. По всему партеру пронесся шепот восхищения. По морю лиц человеческих заходили волны, все внимание, все взгляды обратились на незнакомку. Все: и стар и млад, так зашумели, что, когда поднимался занавес, музыканты из оркестра обернулись, желая водворить тишину, — но и они присоединились к восторгам толпы, так что гул еще усилился. Во всех ложах заговорили. Дамы вооружились лорнетами, старички, сразу помолодев, стали протирать лайковыми перчатками стекла биноклей. Но постепенно шум восторга утих, со сцены раздалось пение, порядок восстановился. Высшее общество, устыдившись того, что поддалось естественному

порыву, вновь обрело аристократически чопорный светский тон.

Богатые стараются ничему не удивляться; они обязаны с первого же взгляда отыскать в прекрасном произведении недостаток, чтобы избавиться от изумления — чувства весьма вульгарного. Впрочем, некоторые мужчины так и не могли очнуться: не слушая музыки, погрузившись в наивный восторг, они, не отрываясь, смотрели на соседку Рафаэля. Валантен заметил в бенуаре, рядом с Акилиной, омерзительное, налитое кровью лицо Тайфера, одобрительно подмигивавшего ему. Потом увидел Эмиля, который, стоя у оркестра, казалось, говорил ему: «Взгляни же на прекрасное создание, сидящее рядом с тобою!»А вот и Растиньяк, сидя с г-жой де Нусинген и ее дочерью, принялся теребить свои перчатки, всем своим видом выдавая отчаяние оттого, что прикован к месту и не может подойти к божественной незнакомке. Жизнь Рафаэля зависела от договора с самим собой, до тех пор еще не нарушенного: он дал себе зарок не смотреть внимательно ни на одну женщину и, чтобы избежать искушения, завел лорнет с уменьшительными стеклами искусной выделки, которые уничтожали гармонию прекраснейших черт и уродовали их. Рафаэль

еще не превозмог страха, охватившего его утром, когда из-за обычного любезного пожелания талисман так быстро сжался, и теперь он твердо решил не оглядываться на соседку. Он повернулся спиной к ее ложе и, развалившись, пренагло заслонил от красавицы половину сцены, якобы пренебрегая соседкой и не желая знать, что рядом находится хорошенькая женщина. Соседка в точности копировала позу Валантена: она облокотилась о край ложи и, вполоборота к сцене, смотрела на певцов так, словно позировала перед художником. Оба напоминали поссорившихся любовников, которые дуются, поворачиваются друг к другу спиной, но при первом же ласковом слове обнимутся. Минутами легкие перья марабу в прическе незнакомки или же ее волосы касались головы Рафаэля и вызывали в нем сладостное ощущение, с которым он, однако, храбро боролся; вскоре он почувствовал нежное прикосновение кружева, послышался женственный шелест платья — легкий трепет, исполненный колдовской неги; наконец, вызванное дыханием этой красивой женщины неприметное движение ее груди, спины, одежды, всего ее пленительного существа передалось Рафаэлю, как электрическая искра; тюль и кружева, пощекотав плечо, как

будто донесли до него приятную теплоту ее белой обнаженной спины. По прихоти природы эти два существа, разлученные светскими условностями, разделенные безднами смерти, в один и тот же миг вздохнули и, может быть, подумали друг о друге. Вкрадчивый запах алоэ окончательно опьянил Рафаэля. Воображение, подстрекаемое запретом, ставшее поэтому еще более пылким, в один миг огненными штрихами нарисовало ему эту женщину. Он живо обернулся. Испытывая, должно быть, чувство неловкости из-за того, что она прикоснулась к чужому мужчине, незнакомка тоже повернула голову; их взгляды, оживленные одной и той же мыслью, встретились…

— Полина!

— Господин Рафаэль!

С минуту оба, окаменев, молча смотрели друг на друга. Полина была в простом и изящном платье. Сквозь газ, целомудренно прикрывавший грудь, опытный взор мог различить лилейную белизну и представить себе формы, которые привели бы в восхищение даже женщин. И все та же девственная скромность, небесная чистота, все та же прелесть движений. Ткань ее рукава слегка дрожала, выдавая трепет, охвативший тело, так

же как он охватил ее сердце.

— О, приезжайте завтра, — сказала она, — приезжайте в гостиницу «Сен-Кантен» за своими бумагами. Я там буду в полдень. Не запаздывайте.

Она сейчас же встала и ушла. Рафаэль хотел было за нею последовать, но побоялся скомпрометировать ее и остался; он взглянул на Феодору и нашел, что та уродлива; он был не в силах постигнуть ни единой музыкальной фразы, он задыхался в этом зале и наконец с переполненным сердцем уехал домой.

— Ионафан, — сказал он старому слуге, когда лег в постель, — дай мне капельку опия на кусочке сахара и завтра разбуди без двадцати двенадцать.

— Хочу, чтобы Полина любила меня! — вскричал он наутро, с невыразимой тоской глядя на талисман.

Кожа не двинулась, — казалось, она утратила способность сокращаться.

Она, конечно, не могла осуществить уже осуществленного желания.

— А! — вскричал Рафаэль, чувствуя, что он точно сбрасывает с себя свинцовый плащ, который он носил с того самого дня, когда ему подарен

был талисман. — Ты обманул меня, ты не повинуешься мне, — договор нарушен. Я свободен, я буду жить. Значит, все это было злой шуткой?

Произнося эти слова, он не смел верить своему открытию. Он оделся так же просто, как одевался в былые дни, и решил дойти пешком до своего прежнего жилища, пытаясь мысленно перенестись в те счастливые времена, когда он безбоязненно предавался ярости желаний, когда он еще не изведал всех земных наслаждений. Он шел и видел перед собой не Полину из гостиницы «Сен-Кантен», а вчерашнюю Полину, идеал возлюбленной, столь часто являвшийся ему в мечтах, молодую, умную, любящую девушку с художественной натурой, способную понять поэта и поэзию, притом девушку, которая живет в роскоши; словом — Феодору, но только с прекрасной душой, или Полину, но только ставшую графиней и миллионершей, как Феодора. Когда он очутился у истертого порога, на треснувшей плите у двери того ветхого дома, где столько раз он предавался отчаянию, из залы вышла старуха и спросила его:

— Не вы ли будете господин Рафаэль де Валантен?

— Да, матушка, — отвечал он.

— Вы помните вашу прежнюю квартиру? — продолжала она. — Вас там ожидают.

— Гостиницу все еще содержит госпожа Годэн? — спросил Рафаэль.

— О, нет, сударь! Госпожа Годэн теперь баронесса. Она живет в прекрасном собственном доме, за Сеной. Ее муж возвратился. Сколько он привез с собой денег!.. Говорят, она могла бы купить весь квартал Сен-Жак, если б захотела. Она подарила мне все имущество, какое есть в гостинице, и даром переуступила контракт до конца срока. Добрая она все-таки женщина. И такая же простая, как была.

Рафаэль быстро поднялся к себе в мансарду и, когда взошел на последние ступеньки лестницы, услышал звук фортепьяно. Полина ждала его; на ней было скромное перкалевое платьице, но по его покрою, по шляпе, перчаткам и шали, небрежно брошенным на кровать, было видно, как она богата.

— Ах! Вот и вы наконец! — воскликнула она, повернув голову и вставая ему навстречу в порыве наивной радости.

Рафаэль подошел и сел рядом с Полиной, залившись румянцем, смущенный, счастливый; он молча смотрел на нее.

— Зачем же вы покинули нас? — спросила Полина и, краснея, опустила глаза. — Что с вами сталось?

— Ах, Полина! Я был, да и теперь еще остаюсь, очень несчастным человеком.

— Увы! — растроганная, воскликнула она. — Вчера я поняла все…

Вижу, вы хорошо одеты, как будто бы богаты, а на самом деле — ну, извольте-ка признаться, господин Рафаэль, все обстоит, как прежде, не так ли?

На глаза Валантена навернулись непрошеные слезы, он воскликнул:

— Полина! Я…

Он не договорил, в глазах его светилась любовь, взгляд его был полон нежности.

— О, ты любишь меня, ты любишь меня! — воскликнула Полина.

Рафаэль только наклонил голову, — он не в силах был произнести ни слова.

И тогда девушка взяла его руку, сжала ее в своей и заговорила, то смеясь, то плача:

— Богаты, богаты, счастливы, богаты! Твоя Полина богата… А мне… мне бы нужно быть нынче бедной. Сколько раз я говорила себе, что за одно только право сказать: «Он меня любит» — я от-

дала бы все сокровища мира! О мой Рафаэль! У меня миллионы. Ты любишь роскошь, ты будешь доволен, но ты должен любить и мою душу, она полна любви к тебе! Знаешь, мой отец вернулся.

Я богатая наследница. Родители всецело предоставили мне распоряжаться моей судьбой. Я свободна, понимаешь?

Рафаэль держал руки Полины и, словно в исступлении, так пламенно, так жадно целовал их, что поцелуй его, казалось, был подобен конвульсии. Полина отняла руки, положила их ему на плечи и привлекла его к себе; они обнялись, прижались друг к другу и поцеловались с тем святым и сладким жаром, свободным от всяких дурных помыслов, каким бывает отмечен только один поцелуй, первый поцелуй, — тот, которым две души приобретают власть одна над другою.

— Ах! — воскликнула Полина, опускаясь на стул. — Я не могу жить без тебя… Не знаю, откуда взялось у меня столько смелости! — краснея, прибавила она.

— Смелости, Полина? Нет, тебе бояться нечего, это не смелость, а любовь, настоящая любовь, глубокая, вечная, как моя, не правда ли?

— О, говори, говори, говори! — сказала она. — Твои уста так долго были немы для меня…

— Так, значит, ты любила меня?

— О, боже! Любила ли я? Послушай, сколько раз я плакала, убирая твою комнату, сокрушаясь о том, как мы с тобою бедны. Я готова была продаться демону, лишь бы рассеять твою печаль. Теперь, мой Рафаэль… ведь ты же мой: моя эта прекрасная голова, моим стало твое сердце! О да, особенно сердце, это вечное богатство!.. На чем же я остановилась? — сказала она. — Ах, да!

У нас три-четыре миллиона, может быть, пять. Если б я была бедна, мне бы, вероятно, очень хотелось носить твое имя, чтобы меня звали твоей женой, а теперь я отдала бы за тебя весь мир, с радостью была бы всю жизнь твоей служанкой. И вот, Рафаэль, предлагая тебе свое сердце, себя самое и свое состояние, я все же даю тебе сейчас не больше, чем в тот день, когда положила сюда, — она показала на ящик стола, — монету в сто су. О, какую боль причинило мне тогда твое ликование!

— Зачем ты богата? — воскликнул Рафаэль. — Зачем в тебе нет тщеславия? Я ничего не могу сделать для тебя!

Он ломал себе руки от счастья, от отчаяния, от любви.

— Я тебя знаю, небесное создание: когда ты

станешь маркизой де Валантен, ни титул мой, ни богатство не будут для тебя стоить…

— … одного твоего волоска! — договорила она, — У меня тоже миллионы, но что теперь для нас богатство! Моя жизнь — вот что я могу предложить тебе, возьми ее!

— О, твоя любовь, Рафаэль, твоя любовь для меня дороже целого мира!

Как, твои мысли принадлежат мне? Тогда я счастливейшая из счастливых.

— Нас могут услышать, — заметил Рафаэль.

— О, тут никого нет! — сказала она, задорно тряхнув кудрями.

— Иди же ко мне! — вскричал Валантен, протягивая к ней руки.

Она вскочила к нему на колени и обвила руками его шею.

— Обнимите меня за все огорчения, которые вы мне доставили, — сказала она, — за все муки, причиненные мне вашими радостями, за все ночи, которые я провела, раскрашивая веера…

— Веера?

— Раз мы богаты, сокровище мое, я могу сказать тебе все. Ах, дитя! Как легко обманывать умных людей! Разве у тебя могли быть два раза в неделю белые жилеты и чистые сорочки при трех фран-

ках в месяц на прачку? А молока ты выпивал вдвое больше, чем можно было купить на твои деньги! Я обманывала тебя на всем: на топливе, на масле, даже на деньгах. О мой Рафаэль, не бери меня в жены, — прибавила она со смехом, — я очень хитрая.

— Как же тебе это удавалось!

— Я работала до двух часов утра и половину того, что зарабатывала на веерах, отдавала матери, а половину тебе.

С минуту они смотрели друг на друга, обезумев от радости и от любви.

— О, когда-нибудь мы, наверно, заплатим за такое счастье каким-нибудь страшным горем! — воскликнул Рафаэль.

— Ты женат? — спросила Полина. — Я никому тебя не уступлю.

— Я свободен, моя дорогая.

— Свободен! — повторила она. — Свободен — и мой! Она опустилась на колени, сложила руки и с молитвенным жаром взглянула на Рафаэля.

— Я боюсь сойти с ума. Какой ты прелестный! — продолжала она, проводя рукой по белокурым волосам своего возлюбленного. — Как она глупа, эта твоя графиня Феодора! Какое наслаждение испытала я вчера, когда все меня приветствовали!

Ее так никогда не встречали! Послушай, милый, когда я коснулась спиной твоего плеча, какой-то голос шепнул мне: «Он здесь!»Я обернулась — и увидела тебя. О, я убежала, чтобы при всех не броситься тебе на шею!

— Счастлива ты, что можешь говорить! — воскликнул Рафаэль. — А у меня сердце сжимается. Хотел бы плакать — и не могу. Не отнимай у меня своей руки. Кажется, так бы вот всю жизнь и смотрел на тебя, счастливый, довольный.

— Повтори мне эти слова, любовь моя!

— Что для нас слова! — отвечал Рафаэль, и горячая слеза его упала на руку Полины. — Когда-нибудь я постараюсь рассказать о моей любви; теперь я могу только чувствовать ее…

— О, чудная душа, чудный гений, сердце, которое я так хорошо знаю, — воскликнула она, — все это мое, и я твоя?

— Навсегда, нежное мое создание, — в волнении проговорил Рафаэль. — Ты будешь моей женой, моим добрым гением. Твое присутствие всегда рассеивало мои горести и дарило мне отраду; сейчас ангельская твоя улыбка как будто очистила меня. Я будто заново родился на свет. Жестокое прошлое, жалкие мои безумства — все это кажется мне дурным сном. Я очищаюсь ду-

шою подле тебя.

Чувствую дыхание счастья. О, останься здесь навсегда! — добавил он, благоговейно прижимая ее к своему бьющемуся сердцу.

— Пусть смерть приходит, когда ей угодно, — в восторге вскричала Полина, — я жила!

Блажен тот, кто поймет их радость, — значит, она ему знакома!

— Дорогой Рафаэль, — сказала Полина после того, как целые часы протекли у них в молчании, — я бы хотела, чтобы никто никогда не ходил в милую нашу мансарду.

— Нужно замуровать дверь, забрать окно решеткой и купить этот дом, — решил маркиз.

— Да, ты прав! — сказала она. И, помолчав с минуту, добавила:

— Мы несколько отвлеклись от поисков твоих рукописей!

Оба засмеялись милым, невинным смехом.

— Я презираю теперь всякую науку! — воскликнул Рафаэль.

— А как же слава, милостивый государь?

— Ты — моя единственная слава.

— У тебя было очень тяжело на душе, когда ты писал эти каракули, — сказала она, перелистывая бумаги.

— Моя Полина…

— Ну да, твоя Полина… Так что же?

— Где ты живешь?

— На улице Сен-Лазар. А ты?

— На улице Варен.

— Как мы будем далеко друг от друга, пока… Не договорив, она кокетливо и лукаво взглянула на своего возлюбленного.

— Но ведь мы будем разлучены самое большее на две недели, — возразил Рафаэль.

— Правда! Через две недели мы поженимся. — Полина подпрыгнула, как ребенок. — О, я бессердечная дочь! — продолжала она. — Я не думаю ни об отце, ни о матери, ни о чем на свете. Знаешь, дружочек, мой отец очень хворает. Он вернулся из Индии совсем больной. Он чуть не умер в Гавре, куда мы поехали его встречать. Ах, боже! — воскликнула она, взглянув на часы. — Уже три часа! Я должна быть дома, — он просыпается в четыре. Я хозяйка в доме, мать исполняет все мои желания, отец меня обожает, но я не хочу злоупотреблять их добротой, это было бы дурно! Бедный отец, это он послал меня вчера в Итальянский театр… Ты придешь завтра к нему?

— Маркизе де Валантен угодно оказать мне

честь и пойти со мной под руку?

— Ключ от комнаты я унесу с собой! — объявила она. — Ведь это дворец, это наша сокровищница!

— Полина, еще один поцелуй!

— Тысячу! Боже мой, — сказала она, взглянув на Рафаэля, — и так будет всегда? Мне все это кажется сном.

Они медленно спустились по лестнице; затем, идя в ногу, вместе вздрагивая под бременем одного и того же счастья, прижимаясь друг к другу, как два голубка, дружная эта пара дошла до площади Сорбонны, где стояла карета Полины.

— Я хочу заехать к тебе, — воскликнула она. — Хочу посмотреть на твою спальню, на твой кабинет, посидеть за столом, за которым ты работаешь.

Это будет, как прежде, — покраснев, добавила она. — Жозеф, — обратилась она к лакею, — я заеду на улицу Варен и уж потом домой. Теперь четверть четвертого, а дома я должна быть в четыре. Пусть Жорж погоняет лошадей.

И несколько минут спустя влюбленные подъезжали к особняку Валантена.

— О, как я довольна, что все здесь осмотрела! — воскликнула Полина, теребя шелковый полог у кровати Рафаэля. — Когда я стану засыпать,

то мысленно буду здесь. Буду представлять себе твою милую голову на подушке.

Скажи, Рафаэль, ты ни с кем не советовался, когда меблировал свой дом?

— Ни с кем.

— Правда? А не женщина ли здесь…

— Полина!

— О, я страшно ревнива! У тебя хороший вкус. Завтра же добуду себе такую кровать.

Вне себя от счастья, Рафаэль обнял Полину.

— Но мой отец! Мой отец! — сказала она.

— Я провожу тебя, хочу как можно дольше не расставаться с тобой! — воскликнул Валантен.

— Как ты мил! Я не смела тебе предложить…

— Разве ты не жизнь моя?

Было бы скучно в точности приводить здесь всю эту болтовню влюбленных, которой лишь тон, взгляд, непередаваемый жест придают настоящую цену.

Валантен проводил Полину до дому и вернулся с самым радостным чувством, какое здесь, на земле, может испытать и вынести человек. Когда же он сел в кресло подле огня, думая о внезапном и полном осуществлении своих мечтаний, мозг его пронзила холодная мысль, как сталь кинжала пронзает грудь; он взглянул на шагреневую ко-

жу, — она слегка сузилась. Он крепко выругался на родном языке, без всяких иезуитских недомолвок андуйлетской аббатисы[68], откинулся на спинку кресла и устремил неподвижный, невидящий взгляд на розетку, поддерживавшую драпри.

— Боже мой! — воскликнул он. — Как! Все мои желания, все… Бедная Полина!

Он взял циркуль и измерил, сколько жизни стоило ему это утро.

— Мне осталось только два месяца! — сказал он. Его бросило в холодный пот, но вдруг в неописуемом порыве ярости он схватил шагреневую кожу и крякнул:

— Какой же я дурак!

С этими словами он выбежал из дому и, бросившись через сад к колодцу, швырнул в него талисман.

— Что будет, то будет… — сказал он. — К черту весь этот вздор!

Итак, Рафаэль предался счастью любви и зажил душа в душу с Полиной. Их свадьбу, отложен-

---

[68] Примечания: 68

Андуйлетская аббатиса — действующее лицо романа английского писателя Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди джентльмена», произнося ругательства, она выговаривала лишь половину слова, чтобы «уменьшить грех».

ную по причинам, о которых здесь не интересно рассказывать, собирались отпраздновать в первых числах марта. Они проверили себя и уже не сомневались в своем чувстве, а так как счастье обнаружило перед ними всю силу их привязанности, то и не было на свете двух душ, двух характеров, более сроднившихся, нежели Рафаэль и Полина, когда их соединила любовь. Чем больше они узнавали друг друга, тем больше любили: с обеих сторон — та же чуткость, та же стыдливость, та же страсть, но только чистейшая, ангельская страсть; ни облачка на их горизонте; желания одного — закон для другого.

Оба они были богаты, могли удовлетворять любую свою прихоть — следовательно, никаких прихотей у них не было. Супругу Рафаэля отличали тонкий вкус, чувство изящного, истинная поэтичность; ко всяким женским безделушкам она была равнодушна, улыбка любимого человека ей казалась прекраснее ормузского жемчуга, муслин и цветы составляли богатейшее ее украшение. Впрочем, Полина и Рафаэль избегали общества, уединение представлялось им таким чудесным, таким живительным! Зеваки ежевечерне видели эту прекрасную незаконную чету в Итальянском театре или же в Опере.

Вначале злоязычники прохаживались на их счет в салонах, но вскоре пронесшийся над Парижем вихрь событий заставил забыть о безобидных влюбленных; к тому же ведь была объявлена их свадьба. Это несколько оправдывало их в глазах блюстителей нравственности; да и слуги у них подобрались, против обыкновения, скромные, — таким образом, за свое счастье они не были наказаны какими-либо слишком неприятными сплетнями.

В конце февраля, когда стояли довольно теплые дни, уже позволявшие мечтать о радостях весны, Полина и Рафаэль завтракали вместе в небольшой оранжерее, представлявшей собой нечто вроде гостиной, полной цветов; дверь ее выходила прямо в сад. Бледное зимнее солнце, лучи которого пробивались сквозь редкий кустарник, уже согревало воздух. Пестрая листва деревьев, купы ярких цветов, причудливая игра светотени — все ласкало взор. В то время как парижане еще грелись возле унылых очагов, эти юные супруги веселились среди камелий, сирени и вереска. Их радостные лица виднелись над нарциссами, ландышами и бенгальскими розами. Эта сладострастная и пышная оранжерея была устлана африканской циновкой, окрашенной под цвет лу-

жайки. На обитых зеленым тиком стенах не было ни пятнышка сырости. Мебель была деревянная, на вид грубоватая, но прекрасно отполированная и сверкавшая чистотой. Полина вымазала в кофе мордочку котенка, присевшего на столе, куда его привлек запах молока; она забавлялась с ним, — то подносила к его носу сливки, то отставляла, чтобы подразнить его и затянуть игру; она хохотала над каждой его ужимкой и пускалась на всякие шутки, чтобы помешать Рафаэлю читать газету, которая и так уже раз десять выпадала у него из рук. Как все естественное и искреннее, эта утренняя сцена дышала невыразимым счастьем.

Рафаэль прикидывался углубленным в газету, а сам украдкой посматривал на Полину, резвившуюся с котенком, на свою Полину в длинном пеньюаре, который лишь кое-как ее прикрывал, на ее рассыпавшиеся волосы, на ее белую ножку с голубыми жилками в черной бархатной туфельке. Она была прелестна в этом домашнем туалете, очаровательна как фантастические образы Вестолла[69], ее можно было принять и за девушку и за женщину, скорее даже за девушку, чем за женщину; она наслаждалась чистым счастьем

[69] Примечания: 69

Вестолл Ричард (1765-1836) — английский художник, иллюстратор Мильтона и Шекспира.

и познала только первые радости любви. Едва лишь Рафаэль, окончательно погрузившись в тихую мечтательность, забыл про газету, Полина выхватила ее, смяла, бросила этот бумажный комок в сад, и котенок побежал за политикой, которая, как всегда, вертелась вокруг самой себя. Когда же Рафаэль, внимание которого было поглощено этой детской забавой, возымел охоту читать дальше и нагнулся, чтобы поднять газету, каковой уже не существовало, послышался смех, искренний, радостный, заливчатый, как песня птицы.

— Я ревную тебя к газете, — сказала Полина, вытирая слезы, выступившие у нее на глазах от этого по-детски веселого смеха. — Разве это не вероломство, — продолжала она, внезапно вновь становясь женщиной, — увлечься в моем присутствии русскими воззваниями и предпочесть прозу императора Николая[70] словам и взорам любви?

— Я не читал, мой ангел, я смотрел на тебя. В эту минуту возле оранжереи раздались тяжелые шаги садовника, — песок скрипел под его сапогами с подковками.

---

[70] Примечания: 70

Проза императора Николая — Имеется в виду воззвание Николая I к полякам после подавления восстания в Польше в 1830 году.

— Прошу прощения, господин маркиз, что помешал вам, и у вас также, сударыня, но я принес диковинку, какой я еще сроду не видывал. Я только что, дозвольте сказать, вместе с ведром воды вытащил из колодца редкостное морское растение. Вот оно! Нужно же так привыкнуть к воде, — ничуть не смокло и не отсырело. Сухое, точно из дерева, и совсем не осклизлое.

Конечно, господин маркиз ученее меня, вот я и подумал: нужно им это отнести, им будет любопытно.

И садовник показал Рафаэлю неумолимую шагреневую кожу, размеры которой не превышали теперь шести квадратных дюймов.

— Спасибо, Ваньер, — сказал Рафаэль. — Вещь очень любопытная.

— Что с тобой, мой ангел? Ты побледнел! — воскликнула Полина.

— Ступайте, Ваньер.

— Твой голос меня пугает, — сказала Полина, — он как-то странно вдруг изменился… Что с тобой? Как ты себя чувствуешь? Что у тебя болит? Ты нездоров? Доктора! — крикнула она. — Ионафан, на помощь!

— Не надо, Полина, — сказал Рафаэль, уже овладевая собой. — Пойдем отсюда. Здесь от какого-то

цветка идет слишком сильный запах. Может быть, от вербены?

Полина набросилась на ни в чем не повинное растение, вырвала его с корнем и выбросила в сад.

— Ах ты, мой ангел! — воскликнула она, сжимая Рафаэля в объятиях таких же пылких, как их любовь, и с томной кокетливостью подставляя свои алые губы для поцелуя. — Когда ты побледнел, я поняла, что не пережила бы тебя: твоя жизнь — это моя жизнь. Рафаэль, проведи рукой по моей спине. Там у меня все еще холодок, ласка смерти. Губы у тебя горят. А рука?.. Ледяная!

— добавила она.

— Пустое! — воскликнул Рафаэль.

— А зачем слеза? Дай я ее выпью.

— Полина, Полина, ты слишком сильно меня любишь!

— С тобой творится что-то неладное, Рафаэль… Говори, все равно я узнаю твою тайну. Дай мне это, — сказала она и взяла шагреневую кожу.

— Ты мой палач! — воскликнул молодой человек, с ужасом глядя на талисман.

— Что ты говоришь! — пролепетала Полина и выронила вещий символ судьбы — Ты любишь меня? — спросил он.

— Люблю ли? И ты еще спрашиваешь!

— В таком случае оставь меня, уйди! Бедняжка ушла.

— Как! — оставшись один, вскричал Рафаэль. — В наш просвещенный век, когда мы узнали, что алмазы суть кристаллы углерода, в эпоху, когда всему находят объяснение, когда полиция привлекла бы к суду нового мессию, а сотворенные им чудеса подверглись бы рассмотрению в Академии наук, когда мы верим только в нотариальные надписи, я поверил — я! — в какой-то «Манэ-Текел-Фарес». Но, клянусь богом, я не могу поверить, что высшему существу приятно мучить добропорядочное создание… Надо поговорить с учеными.

Вскоре он очутился между Винным рынком, этим огромным складом бочек, и приютом Сальпетриер, этим огромным рассадником пьянства, около небольшого пруда, где плескались утки самых редкостных пород, сверкая на солнце переливами своих красок, напоминавших тона церковных витражей. Здесь были собраны утки со всего света; крякая, кувыркаясь, барахтаясь, образуя нечто вроде утиной палаты депутатов, созванной помимо их воли, но, по счастью, без хартии и без политических принципов, они жили

здесь, не опасаясь охотников, но порою попадая в поле зрения естествоиспытателя.

— Вот господин Лавриль, — сказал сторож Рафаэлю, который разыскивал этого великого жреца зоологии.

Маркиз увидел невысокого роста господина, с глубокомысленным видом рассматривавшего двух уток. Ученый этот был человек средних лет; приятным чертам его лица придавало особую мягкость выражение радушия; во всем его облике чувствовалась беспредельная преданность науке; из-под парика, который он беспрестанно теребил и в конце концов забавно сдвинул на затылок, видны были седые волосы, — такая небрежность изобличала в нем страсть к науке и ее открытиям, а эта страсть — как, впрочем, и всякая другая — столь властно обособляет нас от внешнего мира, что заставляет забывать о самом себе. В Рафаэле заговорил ученый и исследователь, и он пришел в восторг от этого естествоиспытателя, который не спал ночей, расширяя круг человеческих познаний, и самими ошибками своими служил славе Франции; впрочем, щеголиха, наверно, посмеялась бы над тем, что между поясом панталон и полосатым жилетом ученого виднелась щелочка, стыдливо прикрываемая, однако же,

сорочкою, которая собралась складками оттого, что г-н Лавриль беспрестанно то наклонялся, то выпрямлялся, как этого требовали его зоогенетические наблюдения.

После первых приветственных слов Рафаэль счел своим долгом обратиться к г-ну Лаврилю с банальными комплиментами по поводу его уток.

— О, утками мы богаты! — ответил естествоиспытатель. — Впрочем, как вы, вероятно, знаете, это самый распространенный вид в отряде перепончатолапых. Он заключает в себе сто тридцать семь разновидностей, резко отличающихся одна от другой, начиная с лебедя и кончая уткой зинзин; у каждой свое наименование, свой особый нрав, свое отечество, особая внешность и не больше сходства с другой разновидностью, чем у белого с негром. В самом деле, когда мы едим утку, мы часто и не подозреваем, как распространена…

Тут он увидел небольшую красивую птицу, которая поднималась на берег.

— Смотрите, вот галстучный лебедь, бедное дитя Канады, явившееся издалека, чтобы показать нам свое коричневато-серое оперение, свой черный галстучек! Смотрите, чешется… Вот

знаменитый пуховый гусь, или иначе утка-гага, под пухом которой спят наши франтихи. Как она красива!

Полюбуйтесь на ее брюшко, белое с красноватым отливом, на ее зеленый клюв. Я только что присутствовал при соединении, на которое я не смел и надеяться, — продолжал он. — Бракосочетание совершилось довольно счастливо, с огромным нетерпением буду ждать результатов. Льщу себя надеждой получить сто тридцать восьмую разновидность, которой, возможно, будет присвоено мое имя.

Вон они, новобрачные, — сказал он, показывая на двух уток. — Вот это гусь-хохотун (anas albifrons), это большая утка-свистун (anas ruffina, по Бюффону). Я долго колебался между уткой-свистуном, уткой-белобровкой и уткой-широконосом (anas clypeata). Смотрите, вон широконос, толстый коричневато-черный злодей с кокетливой зеленовато-радужной шеей. Но утка-свистун была хохлатая, и, вы понимаете, я более не колебался. Нам не хватает здесь только утки черноермольчатой. Наши господа естествоиспытатели единогласно утверждают, что она ненужное повторение утки-чирка с загнутым клювом; что же касается меня… — (Тут он одной

удивительной ужимкой выразил одновременно скромность и гордость ученого — гордость, в которой сквозило упрямство, скромность, в которой сквозило чувство удовлетворения)-… то я так не думаю, — прибавил он. — Видите, милостивый государь, мы здесь времени не теряем. Я сейчас занят монографией об утке, как особом виде… Впрочем, я к вашим услугам.

Пока они подошли к красивому дому на улице Бюффона, Рафаэль уже успел передать шагреневую кожу на исследование г-ну Лаврилю.

— Это изделие мне знакомо, — сказал наконец ученый, осмотрев талисман в лупу. — Оно служило покрышкой для какого-то ларца. Шагрень очень старинная! Теперь футлярщики предпочитают тигрин. Тигрин, как вы, вероятно, знаете, это кожа raja sephen, рыбы Красного моря.

— Но что же это такое, скажите, пожалуйста?

— Это нечто совсем другое, — отвечал ученый. — Между тигрином и шагренью такая же разница, как между океаном и землей, рыбой и четвероногим.

Однако рыбья кожа прочнее кожи наземного животного. А это, — продолжал он, показывая на талисман, — это, как вы, вероятно, знаете, один из любопытнейших продуктов зоологии.

— Что же именно? — воскликнул Рафаэль.

— Это кожа осла, — усаживаясь поглубже в кресло, отвечал ученый.

— Я знаю, — сказал молодой человек.

— В Персии существует чрезвычайно редкая порода осла, — продолжал естествоиспытатель, — древнее название его онагр, equus asinus, татары называют его кулан. Паллас произвел над ним наблюдения и сделал его достоянием науки. В самом деле, это животное долгое время слыло фантастическим. Оно, как вам известно, упоминается в священном писании;

Моисей запретил его случать с ему подобными. Но еще большую известность доставил онагру тот вид разврата, объектом которого он бывал и о котором часто говорят библейские пророки. Паллас, как вы, вероятно, знаете, в Acta Acad Petropolitana, том второй, сообщает, что персы и ногайцы еще и теперь благоговейно чтят эти странные эксцессы, как превосходное средство при болезни почек и воспалении седалищного нерва. Мы, бедные парижане, понятия не имеем об онагре! В нашем музее его нет. Какое замечательное животное! — продолжал ученый. — Это-существо таинственное, его глаза снабжены отражающей оболочкой, которой жители Востока приписы-

вают волшебную силу; шкура у него тоньше и глаже, чем у лучших наших коней, она вся в ярко-рыжих и бледно-рыжих полосах и очень похожа на кожу зебры. Шерсть у него мягкая, волнистая, шелковистая на ощупь; зрение его по своей остроте не уступает зрению человека; онагр несколько крупнее наших лучших домашних ослов и наделен чрезвычайной храбростью. Если на него нападут, он поразительно успешно отбивается от самых свирепых животных; что же касается быстроты бега, то его можно сравнить лишь с полетом птицы; лучшие арабские и персидские кони не угнались бы за онагром. По определению, данному еще отцом добросовестного ученого Нибура — недавнюю кончину коего мы, как вы, вероятно, знаете, оплакиваем, — средняя скорость бега этих удивительных созданий равна семи географическим милям в час. Наш выродившийся осел и представления не может дать об этом осле, независимом и гордом животном.

Онагр проворен, подвижен, взгляд у него умный и хитрый, внешность изящная, движения полны игривости. Это зоологический царь Востока! Суеверия турецкие и персидские приписывают ему таинственное происхождение, и

имя Соломона примешивается к повествованиям тибетских и татарских рассказчиков о подвигах этих благородных животных. Надо заметить, что прирученный онагр стоит огромных денег: поймать его в горах почти невозможно, он скачет, как косуля, летает, как птица. Басни о крылатых конях, о нашем Пегасе, без сомнения, родились в тех странах, где пастухи могли часто видеть, как онагр прыгает со скалы на скалу. Верховых ослов, происшедших в Персии от скрещивания ослицы с прирученным онагром, красят в красноватый цвет, — так повелось с незапамятных времен. Быть может, отсюда ведет начало наша пословица: «Зол, как красный осел». В те времена, когда естествознание было во Франции в большом пренебрежении, какой-нибудь путешественник завез к нам, вероятно, это любопытное животное, которое очень плохо переносит жизнь в неволе.

Отсюда и пословица. Кожа, которую вы мне показали, — продолжал ученый, — это кожа онагра. Ее название толкуется по-разному. Одни полагают, что Шагри — слово турецкое, другие склонны думать, что Шагри — город, где эти зоологические останки подвергаются химической обработке, недурно описанной у Палласа, она-то и придает коже своеобразную зернистость, которая нас так

поражает. Мартеленс писал мне, что Шаагри — это ручей…

— Благодарю вас за разъяснения; если бы бенедиктинцы еще существовали, то какому-нибудь аббату Кальмэ все это послужило бы основой для превосходных примечаний, но я имею честь обратить ваше внимание на то, что этот лоскут кожи первоначально был величиною… вот с эту географическую карту, — сказал Рафаэль, показывая на открытый атлас, — но за три месяца он заметно сузился…

— Да, — отвечал ученый, — понимаю. Останки живых организмов подвержены естественному уничтожению, которое легко обнаруживается и в своем ходе зависит от атмосферических условий. Даже металлы расширяются и сжимаются чувствительным образом, ибо инженеры наблюдали довольно значительные промежутки между большими камнями, которые первоначально были скреплены железными полосами. Наука обширна, а жизнь человеческая очень коротка. Поэтому мы не претендуем на то, чтобы познать все явления природы.

— Заранее прошу прощения за свой вопрос, — несколько смущенно продолжал Рафаэль. — Вполне ли вы уверены в том, что эта кожа под-

чинена общим законам зоологии, что она может расширяться?

— О, разумеется!.. А, черт! — проворчал г-н Лавриль, пытаясь растянуть талисман. — Впрочем, милостивый государь, — добавил он, — сходите к Планшету, знаменитому профессору механики, — он наверняка найдет способ воздействовать на эту кожу, смягчить ее, растянуть.

— Ах, я вам обязан жизнью!

Рафаэль раскланялся с ученым-естествоиспытателем и, оставив доброго Лавриля в его кабинете, среди банок и гербариев, помчался к Планшету.

Теперь, после этого посещения, он, сам того не сознавая, владел всей человеческой наукой-номенклатурой! Добряк Лавриль, как Санчо Панса, когда тот рассказывал Дон-Кихоту историю с козами, забавлялся тем, что перечислял животных и перенумеровывал их. Стоя одной ногой в гробу, ученый знал лишь крохотную частицу того неисчислимого стада, которое бог с неведомою целью рассеял по океану миров.

Рафаэль был доволен.

— Буду держать своего осла в узде! — воскликнул он.

Еще до него Стерн сказал: «Побережем осла, если хотим дожить до старости!»Но скотина

норовиста!

Планшет был высок, сухощав — настоящий поэт, погруженный в непрестанное созерцание, вечно заглядывающий в бездонную пропасть, имя которой движение. Обыватели считают безумцами ученых — людей с возвышенным умом, этих непонятных, удивительно равнодушных к роскоши и светскости людей, которые по целым дням сосут потухшую сигару и входят в гостиную, застегнувшись вкривь и вкось. Настает день, когда они, долго перед тем измеряя пустое пространство или же нагромождая иксы под Aa-Gg, проанализируют какой-нибудь естественный закон и разложат какое-нибудь простейшее начало; и вот толпа уже любуется новой машиной или какой-нибудь тележкой, устройство которых поражает и сбивает нас с толку своей простотой.

Скромный ученый с улыбкой говорит своим почитателям: «Что же я создал!

Ничего. Человек не изобретает силу, он направляет ее, наука заключается в подражании природе».

Когда Рафаэль вошел к механику, тот стоял как вкопанный, и можно было подумать, что это повешенный, который, сорвавшись с виселицы, стал стоймя.

Планшет следил за агатовым шариком, катавшимся по циферблату солнечных часов, и ждал, когда он остановится. У бедняги не было ни ордена, ни пенсии, ибо он не умел показать товар лицом. Он был счастлив тем, что стоит на страже открытия, и не думал ни о славе, ни о свете, ни о самом себе, он жил наукой, ради науки.

— Это неизъяснимо! — сказал он. — Ах! — воскликнул он, заметив Рафаэля. — Я к вашим услугам. Как поживает ваша матушка?.. Зайдите к жене.

«Ведь я и сам мог бы жить так», — подумал Рафаэль. Он показал ученому талисман и, спросив, как на него воздействовать, вывел Планшета из задумчивости.

— Вы, может быть, посмеетесь над моим легковерием, — сказал в заключение маркиз, — но я не скрою от вас ничего. Мне кажется, что эта кожа обладает такой силой сопротивления, которую ничто не может преодолеть.

— Светские люди весьма вольно обращаются с наукой, — начал Планшет, — все они в беседе с нами напоминают некоего франта, который сказал астроному Лалан-ду, приведя к нему после затмения нескольких дам: «Будьте добры, начните сначала». Какое действие угодно вам

произвести? Цель механики — применять законы движения или же нейтрализовать их. Что касается движения самого по себе, то я со всем смирением вынужден объявить вам: мы бессильны его определить. Ограничив себя таким образом, мы наблюдаем некие постоянные явления, которые управляют действием твердых и жидких тел. Воспроизведя первопричины подобных явлений, мы можем перемещать тела, сообщать им движущую силу при определенной скорости, метать их, делить их на части или на бесконечно малые частицы, смотря по тому, дробим мы их или же распыляем; можем скручивать их, сообщать им вращательное движение, видоизменять их, сжимать, расширять, растягивать. Вся наша наука зиждется на одном только факте. Видите шарик? — продолжал Планшет. — Он вот на этом камне. А теперь он там. Как мы назовем это действие, физически столь естественное, но непостижимое для ума? Движение, передвижение, перемещение? Но ведь ничего же не стоит за этими пустыми словами. Разве наименование есть уже решение задачи? Вот, однако, и вся наука. Наши машины используют или разлагают это действие, этот факт. Этот маловажный феномен, если применить его к веществам, взорвет Париж.

Мы можем увеличить скорость за счет силы и силу за счет скорости. Что такое сила и скорость? Наша наука не может на это ответить, как не может создать движение. Движение, каково бы оно ни было, есть огромная энергия, а человек энергии не изобретает. Энергия едина, как и движение, представляющее собой самую сущность энергии. Все есть движение.

Мысль есть движение. Природа основана на движении. Смерть есть движение, цели коего нам мало известны. Если бог вечен, — поверьте, и он постоянно в движении. Бог, может быть, и есть само движение. Вот почему движение неизъяснимо, как он, глубоко, как он, безгранично, непостижимо, неосязаемо.

Кто когда-либо осязал движение, постиг и измерил его? Мы ощущаем следствия, не видя самого движения. Мы можем даже отрицать его, как отрицаем бога. Где оно? И где его нет? Откуда оно исходит? Где его начало? Где его конец? Оно объемлет нас, воздействует на нас и ускользает. Оно очевидно, как факт; темно, как абстракция; оно и следствие и причина вместе. Ему, как и нам, нужно пространство, а что такое пространство? Оно открывается нам только в движении; без движения оно только пустое слово. Это про-

блема неразрешимая; подобно пустоте, подобно сотворению мира, бесконечности, — движение смущает мысль человеческую, и человеку дано постигнуть лишь одно: что он никогда не постигнет движения. Между каждыми двумя точками, последовательно занимаемыми в пространстве этим шариком для разума человеческого находится пропасть, бездна, куда низвергся Паскаль. Чтобы воздействовать на неведомое вещество, которое вы хотите подчинить неведомой силе, мы должны сначала изучить это вещество; в зависимости от природных своих свойств оно или лопнет от применения силы, или же окажет ей сопротивление; если оно распадется на части, а в ваши намерения не входило делить его, мы не достигнем цели. Если вы хотите сжать его — необходимо сообщить равное движение всем частицам вещества, так, чтобы в равной степени уменьшить разделяющие их промежутки.

Угодно вам растянуть его — мы должны постараться сообщить каждой молекуле равную центробежную силу, ибо без точного соблюдения этого закона мы произведем разрывы непрерывности. Существуют бесконечные способы, безграничные комбинации движения. Какого результата вы хотите добиться?

— Я хочу добиться такого давления, которое могло бы растянуть эту кожу до бесконечности… — в нетерпении проговорил Рафаэль.

— Вещество — явление конечное, а потому и не может быть растянуто до бесконечности, — возразил математик, — однако сплющивание неизбежно расширит его поверхность за счет толщины: кожу можно расплющивать до тех пор, пока хватит ее вещества.

— Добейтесь такого результата, и вы получите миллионы! — воскликнул Рафаэль.

— Брать за это большие деньги просто нечестно, — с флегматичностью голландца сказал профессор. — В двух словах я расскажу вам о машине, которая раздавила бы самого бога, как муху. Она способна сплющить человека, так что он будет похож на лист пропускной бумаги, — человека в сапогах со шпорами, в галстуке, шляпе, с золотом, с драгоценностями, со всем…

— Какая ужасная машина!

— Вместо того чтобы бросать детей в воду, китайцы должны были бы утилизировать их так, — продолжал ученый, не думая о том, как возмутительно его отношение к потомству.

Весь отдавшись своей идее, Планшет взял пустой цветочный горшок с дырой в донышке и

поставил его на плиту солнечных часов, затем пошел в сад за глиной. Рафаэль был в восторге, как ребенок, которому няня рассказывает волшебную сказку. Положив глину на плиту. Планшет вынул из кармана садовый нож, срезал две ветки бузины и принялся выдалбливать их, насвистывая, точно он был один в комнате.

— Вот составные части машины, — сказал он. При помощи вылепленного из глины коленца он прикрепил одну из этих деревянных трубочек ко дну цветочного горшка так, чтобы ее отверстие примыкало к отверстию горшка.

Сооружение напоминало огромную курительную трубку. Затем он размял на плите слой глины, придал ему форму лопаты с рукояткой, поставил цветочный горшок на широкую ее часть и укрепил трубочку из бузины вдоль той части глиняной лопатки, которая напоминала рукоятку. Потом он прилепил комочек глины у другого конца бузинной трубки и, воткнув здесь такую же трубку совсем вертикально, при помощи еще одного коленца соединил ее с горизонтальной трубкой, так что воздух или какая-либо жидкость могли циркулировать в этой импровизированной машине и бежать из вертикальной трубки через промежуточный канал в пустой цветоч-

ный горшок.

— Этот аппарат, — заявил он Рафаэлю с серьезностью академика, произносящего вступительное слово, — одно из самых неоспоримых свидетельств о праве великого Паскаля на наше преклонение.

— Я не понимаю…

Ученый улыбнулся. Он отвязал от фруктового дерева пузырек, в котором аптекарь прислал ему липучее снадобье от муравьев, отбил дно и, превратив пузырек в воронку, вставил ее в вертикальную бузинную трубку, которая прилажена была к горизонтальной трубке, соединенной с большим резервуаром в виде цветочного горшка; затем налил из лейки столько воды, что она наполнила до одного уровня большой сосуд и вертикальную трубочку…

Рафаэль думал о своей шагреневой коже.

— Вода, милостивый государь, все еще считается телом несжимаемым, не забудьте этого основного положения, — предупредил механик, — правда, она сжимается, но так незначительно, что сжимаемость ее мы должны приравнять к нулю. Видите поверхность воды, заполнившей до краев цветочный горшок?

— Да.

— Так вот, предположите, что эта поверхность в тысячу раз больше перпендикулярного сечения бузинной трубочки, через которую я налил жидкость.

Смотрите, я снимаю воронку…

— Так.

— И вот, милостивый государь, если я каким-нибудь образом увеличу объем этой массы, введя еще некоторое количество воды через отверстие трубочки, то жидкость принуждена будет переместиться и станет подниматься в резервуаре, коим является цветочный горшок, пока опять не достигнет одного уровня и там и тут.

— Это ясно! — воскликнул Рафаэль.

— Но, — продолжал ученый, — разница вот в чем: если тонкий столбик воды, добавленный в вертикальную трубочку, представляет собою силу, равную, положим, одному фунту, ее давление неизбежно передается всей массе жидкости, и его испытает в каждой своей точке поверхность воды в цветочном горшке, — так что тысяча столбиков воды, стремясь подняться, как если бы к каждому была приложена сила, равная той, которая заставляет опускаться жидкость в вертикальной бузинной трубочке, неминуемо произведут здесь… — Планшет показал на цветочный гор-

шок, — энергию в тысячу раз большую, чем та, которая действует оттуда.

И ученый показал пальцем на деревянную трубочку, воткнутую в глину стоймя.

— Все это очень просто, — сказал Рафаэль. Планшет улыбнулся.

— Другими словами, — продолжал он с той упрямой логичностью, которая свойственна математикам, — чтобы вода не выливалась из большого резервуара, следовало бы применить к каждой частице ее поверхности силу, равную силе, действующей в вертикальной трубке, но если высота нашего водяного столбика будет равна целому футу, то высота тысячи маленьких столбиков в большом сосуде будет весьма незначительна. А теперь, — щелкнув по бузинным палочкам, сказал Планшет, — заменим этот смешной аппаратишко металлическими трубами соответствующей прочности и размера, и вот, если мы покроем поверхность жидкости в большом резервуаре крепкой и подвижной металлической доской и параллельно ей неподвижно укрепим другую, тоже достаточной прочности, а при этом получим возможность беспрестанно прибавлять воду к жидкой массе через вертикальную трубу, то предмет, зажа-

тый между двумя прочными поверхностями, неминуемо должен будет все больше и больше сплющиваться под действием приложенных к нему огромных сил. Непрерывно вводить воду в трубку и передавать энергию жидкой массы доске — это для механики дело пустячное. Достаточно двух поршней и нескольких клапанов.

Понятно вам, дорогой мой, — спросил он, взяв Валантена под руку, — что нет такого вещества, которое, будучи помещено между двумя неограниченно увеличивающимися силами давления, не принуждено было бы расплющиваться?

— Как! Это изобрел автор «Писем к провинциалу»? — воскликнул Рафаэль.

— Да, именно он. Механика не знает ничего более простого и более прекрасного. На противоположном принципе — расширяемости воды — основана паровая машина. Но вода расширяется только до известной степени, тогда как ее несжимаемость, будучи в некотором роде силой отрицательной, неизбежно оказывается бесконечно большой.

— Если эта кожа растянется, — сказал Рафаэль, — я обещаю вам воздвигнуть колоссальный памятник Блезу Паскалю, учредить премию в сто тысяч франков за решение важнейших проблем

механики, присуждаемую каждые десять лет, дать приданое вашим двоюродным и троюродным сестрам, наконец, построить богадельню для математиков, впавших в безумие или же в нищету.

— Это было бы очень хорошо, — отозвался Планшет. — Завтра пойдем с вами к Шпигхальтеру, — продолжал он со спокойствием человека, живущего в сфере исключительно интеллектуальной. — Шпигхальтер — превосходный механик, и он только что построил по моему проекту усовершенствованную машину, при помощи которой ребенок может уложить в своей шляпе тысячу копен сена.

— До завтра.

— До завтра.

— Вот так механика! — вскричал Рафаэль. — Разве то не прекраснейшая из наук! Лавриль со своими онаграми, классификациями, утками, разновидностями, со всякими уродцами в банках годился бы разве что в маркеры.

На другой день Рафаэль в отличном расположении духа заехал за Планшетом, и они вместе отправились на улицу Здоровья, в каковом названии можно было видеть хорошую примету. Вскоре молодой человек очутился в огромной

мастерской Шпигхальтера, среди множества раскаленных и ревущих горнов. То был целый ливень огня, потоп гвоздей, океан поршней, винтов, рычагов, брусьев, напильников, гаек, море чугуна, дерева, клапанов и стальных полос. От железных опилок першило в горле. Железо было в воздухе, железом были покрыты люди, от всего разило железом; у железа была своя жизнь, оно было организовано, плавилось, ходило, думало, принимая все формы, подчиняясь всем прихотям. Под гудение мехов, под все нарастающий грохот молотов, под свист станков, на которых скрежетало железо, Рафаэль прошел в большое помещение, чистое и хорошо проветренное, и там ему была предоставлена возможность осмотреть во всех подробностях огромный пресс, о котором вчера толковал Планшет. Его поразила толщина чугунных досок и железные стойки, соединенные несокрушимой подушкой.

— Если вы быстро повернете семь раз вот эту рукоятку, — сказал Шпигхальтер, показывая на балансир из полированного железа, — то стальная доска разлетится на множество осколков, и они вопьются вам в ноги, как иголки.

— Черт возьми! — вскричал Рафаэль.

Планшет собственноручно сунул шагреневую

кожу между двумя досками всемогущего пресса и, проникнутый тою уверенностью, которую придает научное мировоззрение, живо повернул рукоять балансира.

— Ложитесь все, иначе убьет! — неожиданно крикнул Шпигхальтер и сам бросился на пол.

В мастерской послышался пронзительный свист. Вода, находившаяся в машине, проломила чугун, хлынула со страшной силой, но, к счастью, устремилась на старый горн, который она опрокинула, перевернула, скрутила винтом, подобна тому, как смерч обвивается вокруг какого-нибудь дома и уносит его с собой.

— Ого! — хладнокровно заметил Планшет. — Шагрень цела и невредима!

Господин Шпигхальтер, вероятно, была трещина в чугуне или же скважина в большой трубе?

— Нет, нет, я знаю свой чугун. Берите, сударь, эту штуку, в ней сидит черт!

Немец схватил кузнечный молот, бросил кожу на наковальню и с той силой, которую придает гнев, нанес талисману самый страшный удар, какой когда-либо раздавался в его мастерских.

— На ней и следа не осталось! — воскликнул Планшет, поглаживая непокорную шагрень.

Сбежались рабочие. Подмастерье взял кожу

и бросил ее в каменноугольную топку горна. Выстроившись полукругом возле огня, все с нетерпением ожидали действия огромных мехов. Рафаэль, Шпигхальтер и профессор стояли в центре притихшей черной толпы. Глядя на эти сверкавшие белки глаз, на эти лица, испачканные опилками железа, на черную и лоснящуюся одежду, на волосатые груди, Рафаэль мысленно перенесся в ночной фантастический мир немецких баллад. Помощник мастера, подержав кожу минут десять в печи, вынул ее щипцами.

— Дайте, — сказал Рафаэль.

Помощник мастера шутя протянул ее Рафаэлю. Тот, как ни в чем не бывало, смял кожу голыми руками — она была все такая же холодная и гибкая. Раздался крик ужаса, рабочие разбежались, в опустевшей мастерской остались только Валантен и Планшет, — Положительно, в ней есть что-то дьявольское! — с отчаянием в голосе вскричал Рафаэль. — Неужели никакая человеческая сила не властна подарить мне ни одного лишнего дня?

— Милостивый государь, это моя вина, — сокрушенно отвечал математик, — нужно было подвергнуть эту необыкновенную кожу действию прокатных вальцов. Как это мне взбрело в

голову предложить вам пресс?

— Я сам вас просил об этом, — возразил Рафаэль. Ученый вздохнул, как обвиняемый, которого двенадцать присяжных признали невиновным. Однако, заинтересовавшись удивительной загадкой, которую задала ему кожа, он подумал с минуту и сказал:

— Нужно воздействовать на это неизвестное вещество реактивами. Сходим к Жафе, — быть может, химия будет удачливее механики.

Валантен в надежде застать знаменитого химика Жафе в его лаборатории пустил лошадь рысью.

— Ну, старый друг, — сказал Планшет, обращаясь к Жафе, который сидел в кресле и рассматривал какой-то осадок, — как поживает химия?

— Она засыпает. Нового ничего. Впрочем, Академия признала существование салицина, но салицин, аспарагин, вокелин, дигиталин — это все не открытия…

— Будучи не в силах изобретать вещи, вы, кажется, дошли до того, что изобретаете наименования, — заметил Рафаэль.

— Совершенно верно, молодой человек!

— Послушай, — сказал профессор Планшет химику, — попробуй разложить вот это веще-

ство. Если ты извлечешь из него какой-нибудь элемент, то я заранее называю его дьяволин, ибо, пытаясь его сжать, мы только что сломали гидравлический пресс.

— Посмотрим, посмотрим! — радостно вскричал химик. — Быть может, оно окажется новым простым телом.

— Это просто-напросто кусок ослиной кожи, — сказал Рафаэль.

— Сударь!.. — негодующе заметил химик.

— Я не шучу, — возразил маркиз и подал ему шагреневую кожу.

Барон Жафе прикоснулся к коже шершавым своим языком, привыкшим пробовать соли, щелочи, газы, и, несколько раз попробовав, сказал:

— Никакого вкуса! Дадим-ка ему немножко фтористой кислоты.

Кожу подвергли действию этого вещества, столь быстро разлагающего животные ткани, но в ней не произошло никаких изменений.

— Это не шагрень! — воскликнул химик. — Примем таинственного незнакомца за минерал и щелкнем его по носу, то есть положим в огнеупорный тигель, где у меня, как нарочно, красный поташ.

Жафе вышел и сейчас же вернулся.

— Позвольте мне взять кусочек этого необычайного вещества, — сказал он Рафаэлю, — оно так необыкновенно…

— Кусочек? — вскричал Рафаэль. — И с волосок бы не дал. Впрочем, попробуйте, — прибавил он печально и в то же время насмешливо.

Ученый сломал бритву, стремясь надрезать кожу, он попытался рассечь ее сильным электрическим током, подверг ее действию вольтова столба — все молнии науки ничего не могли поделать со страшным талисманом. Было семь часов вечера. Планшет, Жафе и Рафаэль в ожидании результата последнего опыта не замечали, как бежит время. Шагрень вышла победительницей из ужасающего столкновения с немалым количеством хлористого азота.

— Я погиб! — воскликнул Рафаэль. — Это — воля самого бога. Я умру.

Он оставил обоих ученых в полном недоумении. Они долго молчали, не решаясь поделиться друг с другом впечатлениями; наконец. Планшет заговорил:

— Только не будем рассказывать об этом происшествии в Академии, а то коллеги засмеют нас.

Оба ученых были похожи на христиан, которые вышли из гробов своих, а бога в небесах не

узрели.

Наука? Бессильна! Кислоты? Чистая вода! Красный поташ? Оскандалился!

Вольтов столб и молния? Игрушки!

— Гидравлический пресс разломился, как кусок хлеба, — добавил Планшет.

— Я верю в дьявола, — после минутного молчания заявил барон Жафе.

— А я — в бога, — отозвался Планшет. Каждый был верен себе. Для механики вселенная — машина, которой должен управлять рабочий, для химии — создание демона, который разлагает все, а мир есть газ, обладающий способностью двигаться.

— Мы не можем отрицать факт, — продолжал химик.

— Э, чтоб нас утешить, господа доктринеры выдумали туманную аксиому: глупо, как факт.

— Но не забывай, что твоя аксиома — ведь тоже факт! — заметил химик.

Они рассмеялись и преспокойно сели обедать: для таких людей чудо — только любопытное явление природы.

Когда Валантен возвратился домой, его охватило холодное бешенство; теперь он ни во что уже не верил, мысли у него путались, кружи-

лись, разбегались, как у всякого, кто встретится с чем-то невозможным. Он еще допустил бы предположение о каком-нибудь скрытом изъяне в машине Шпигхальтера, — бессилие механики и огня не удивляло его; но гибкость кожи, которую он ощутил, когда взял ее в руки, а вместе с тем несокрушимость, которую она обнаружила, когда все находившиеся в распоряжении человека разрушительные средства были направлены против нее, — вот что приводило его в ужас. От этого неопровержимого факта кружилась голова.

«Я сошел с ума, — думал он, — с утра я ничего не ел, но мне не хочется ни есть, ни пить, а в груди точно жжет огнем».

Он повесил шагреневую кожу на прежнее место и, снова обведя контуры талисмана красными чернилами, сел в кресло.

— Уже восемь часов! — воскликнул он. — День прошел, как сон.

Он облокотился на ручку кресла и, подперев голову рукой, долго сидел так, погруженный в то мрачное раздумье, в те гнетущие размышления, тайну которых уносят с собою осужденные на смерть.

— Ах, Полина, бедная девочка! — воскликнул он. — Есть бездны, которых не преодолеет даже

любовь, как ни сильны ее крылья.

Но тут он явственно услышал подавленные вздохи и, благодаря одному из самых трогательных свойств, которыми обладают влюбленные, узнал дыхание Полины.

«О, вот и приговор! — подумал Рафаэль. — Если действительно она здесь, я хотел бы умереть в ее объятиях».

Послышался веселый, непринужденный смех. Рафаэль повернулся лицом к кровати и сквозь прозрачный полог увидел лицо Полины; она улыбалась, как ребенок, довольный тем, что удалась его хитрость; прекрасные ее кудри рассыпались по плечам; в это мгновение она была подобна бенгальской розе посреди букета белых роз.

— Я подкупила Ионафана, — сказала она. — Я твоя жена, так разве эта кровать не принадлежит мне? Не сердись на меня, мой дорогой, мне только хотелось уснуть возле тебя, неожиданно появиться перед тобою. Прости мне эту глупость.

Она как кошка прыгнула из постели, вся словно сияя в белом муслине, и села к Рафаэлю на колени.

— О какой бездне ты говорил, любовь моя? — спросила она, и лицо ее приняло озабоченное выражение.

— О смерти.

— Ты меня мучаешь, — сказала она. — Есть такие мысли, к которым нам, бедным женщинам, лучше не обращаться, они нас убивают. От силы ли это любви, от недостатка ли мужества — не знаю. Смерть меня не пугает, — продолжала она со смехом. — Умереть вместе с тобой, хотя бы завтра утром, в последний раз целуя тебя, было бы для меня счастьем. Мне кажется, я прожила бы за это время больше столетия. Что для нас число дней, если в одну ночь, в один час мы исчерпали всю жизнь, полную мира и любви?

— Ты права, твоими милыми устами говорит само небо. Дай я поцелую тебя, и умрем, — сказал Рафаэль.

— Что ж, и умрем! — со смехом отозвалась она. Было около девяти часов утра, свет проникал сквозь щели жалюзи; его смягчал муслин занавесок, и все же были видны яркие краски ковра и обитая шелком мебель, которой была уставлена спальня, где почивали влюбленные. Кое-где искрилась позолота. Луч солнца скользнул по мягкому пуховому одеялу, которое среди игр любви было сброшено на пол. Платье Полины, висевшее на высоком зеркале, казалось неясным призраком. Крохотные туфельки валялись далеко

от постели. Соловей прилетел на подоконник; его щелканье и шелест крыльев, когда он вспорхнул, улетая, разбудили Рафаэля.

— Если мне положено умереть, — сказал он, додумывая то, что ему пришло в голову во сне, — значит, в моем организме — в этой машине из костей и мяса, одушевленной моею волей, что и делает из меня личность, — имеются серьезные повреждения. Врачи должны знать симптомы смертельной опасности и могут мне сказать, здоров я или болен.

Он посмотрел на спящую жену, которая одной рукой обнимала его голову, выражая и во сне нежную заботливость любви. Прелестно раскинувшись, как ребенок, и повернувшись к нему лицом, Полина, казалось, все еще смотрела на него, протягивая ему красивые свои губы, полуоткрытые чистым и ровным дыханием. Мелкие, точно фарфоровые, зубки оттеняли алость свежих уст, на которых порхала улыбка; в этот миг на ее лице играл румянец, и белизна ее кожи была, если можно так выразиться, еще белее, чем в дневные часы, как ни были полны они страсти. Грациозная непринужденность ее позы, милая ее доверчивость придавали очарованию возлюбленной прелесть уснувшего ребенка; даже самые

искренние женщины — и те в дневные часы еще подчиняются некоторым светским условностям, сковывающим их наивные сердечные излияния, но сон точно возвращает их к непосредственности чувства, составляющего украшение детского возраста. Одно из тех милых небесных созданий, чьи движения лишены всякой нарочитости, в чьих глазах не сквозит затаенная мысль, Полина ни от чего не краснела. Ее профиль отчетливо вырисовывался на тонком батисте подушек; пышные кружевные оборки перепутались с растрепанными волосами, придававшими ей задорный вид; но она заснула в минуту наслаждения, длинные ее ресницы были опущены, как бы защищая взор ее от слишком яркого света или помогая сосредоточиться душе, которая стремится продлить миг страсти, всеобъемлющий, но скоротечный; ее розовое ушко, окаймленное прядью волос и обрисовывавшееся на фландрских кружевах, свело бы с ума художника, живописца, старика, а безумному, быть может, вернуло бы разум. Видеть, как ваша возлюбленная спит и улыбается во сне, уютно прижавшись к вам, и продолжает любить вас в сонном забытьи, когда всякое творение как бы перестает существовать, как она все еще протягивает к вам уста, молчали-

во говорящие вам о последнем поцелуе; видеть женщину доверчивую, полунагую, но облаченную покровом любви и целомудренную среди беспорядка постели; смотреть на разбросанные ее одежды, на шелковый чулок, который она вчера для вас так торопливо сдернула; на развязанный пояс, свидетельствующий о бесконечном доверии к вам, — разве это не несказанная радость? Разве не целая поэма этот пояс? Женщина, которую он охранял, больше не существует вне вас, она принадлежит вам, она стала частью вас самих. Растроганный Рафаэль обвел глазами комнату, напоенную любовью, полную воспоминаний, где само освещение принимало сладострастные оттенки, и вновь обратил взор на эту женщину, формы которой были чисты и юны, которая и сейчас еще излучала любовь и, что важнее всего, всеми чувствами своими безраздельно принадлежала ему. Он хотел бы жить вечно. Когда его взгляд упал на Полину, она тотчас же открыла глаза, словно в них ударил солнечный луч.

— Доброе утро, милый, — сказала она, улыбаясь. — Как ты красив, злодей!

Эти две головы, дыша прелестью, придаваемой им и любовью и молодостью, полумраком и тишиной, представляли собою божествен-

ную картину, очарование которой преходяще и принадлежит лишь первым дням страсти, как наивность и чистота свойственны детству. Увы, этим весенним радостям любви, как и улыбкам юного нашего возраста, суждено исчезнуть и жить лишь в нашей памяти, чтобы по прихоти наших тайных дум доводить нас до отчаяния или же веять на нас утешительным благоуханием.

— Зачем ты проснулась? — спросил Рафаэль. — Я с таким наслаждением смотрел, как ты спишь, я плакал.

— И я тоже, — сказала она, — и я плакала ночью, глядя, как ты спишь, но плакала не слезами радости. Слушай, Рафаэль, слушай! Во сне ты тяжело дышишь, что-то отдается у тебя в груди, и мне становится страшно. У тебя такой же короткий, сухой кашель, как у моего отца, который умирает от чахотки. Я уловила признаки этой болезни по особому шуму в твоих легких. А затем тебя лихорадило, я в этом уверена, — у тебя была влажная и горячая рука… Дорогой мой… Ты еще молод, — добавила она, вздрогнув, — ты еще можешь выздороветь, если, к несчастью… Но нет, — радостно воскликнула она, — никакого несчастья нет: врачи говорят, что эта болезнь заразительна.

— Обеими руками обняла она Рафаэля и поймала его дыхание тем поцелуем, в котором впиваешь душу. — Я не хочу жить до старости, — сказала она. Умрем оба молодыми и перенесемся на небо со снопами цветов в руках.

— Такие желания тешат нас, пока мы вполне здоровы, — заметил Рафаэль, играя волосами Полины.

Но тут он вдруг закашлялся тем глубоким и гулким кашлем, что как будто исходит из гроба, зловещим кашлем, от которого больные бледнеют и их бросает в дрожь и в пот, — до такой степени напрягаются у них все нервы, сотрясается тело, утомляется спинной мозг и наливаются тяжестью кровеносные сосуды. Бледный, измученный, Рафаэль медленно откинулся на подушку, — он ослабел так, как будто у него иссякли последние силы. Полина пристально взглянула на него широко раскрытыми глазами и замерла бледная, онемевшая от ужаса.

— Не надо больше безумствовать, мой ангел, — наконец сказала она, стараясь утаить от Рафаэля свои ужасные предчувствия.

Она закрыла лицо руками, — перед глазами у нее стоял отвратительный скелет смерти. Лицо Рафаэля посинело, глаза ввалились, оно напо-

минало череп, который извлекли из могилы с научной целью. Полине вспомнилось восклицание, вырвавшееся вчера у Валантена, и она подумала: «Да, есть бездны, которых даже любовь не преодолеет. Но тогда ей нужно похоронить там себя».

Однажды мартовским утром, спустя несколько дней после этой тяжелой сцены, Рафаэль находился у себя в спальне, окруженный четырьмя врачами, которые посадили его в кресло у окна, поближе к свету, и по очереди с подчеркнутым вниманием щупали пульс, осматривали его и расспрашивали.

Больной старался угадать их мысли, следил за каждым их движением, за малейшей складкой, появлявшейся у них на лбу. Этот консилиум был его последней надеждой. Верховный суд должен был вынести ему приговор: жизнь или смерть. Для того чтобы вырвать у человеческой науки ее последнее слово, и созвал Валантен оракулов современной медицины. Благодаря его богатству и знатности сейчас перед ним предстали все три системы, между которыми колеблется человеческая мысль. Трое из этих докторов, олицетворявшие борьбу между спиритуализмом, анализом и некиим насмешливым эклектизмом,

принесли с собой всю философию медицины. Четвертый врач был Орас Бьяншон[71], всесторонне образованный ученый, с большим будущим, пожалуй, крупнейший из новых врачей, умный и скромный представитель трудолюбивой молодежи, которая готовится унаследовать сокровища, за пятьдесят лет собранные Парижским университетом, и, быть может, воздвигнет, наконец, памятник из множества разнообразных материалов, накопленных предшествующими веками. Друг маркиза и Растиньяка, он уже несколько дней лечил Рафаэля, а теперь помогал ему отвечать на вопросы трех профессоров и порой с некоторой настойчивостью обращал их внимание на симптомы, свидетельствовавшие, по его мнению, о чахотке.

— Вы, вероятно, позволяли себе излишества, вели рассеянную жизнь? Или же много занимались умственным трудом? — спросил Рафаэля один из трех знаменитых докторов, у которого высокий лоб, широкое лицо и внушительное телосложение, казалось, говорили о более мощном даровании, чем у его противников.

— Три года занял у меня один обширный труд,

[71] Примечания: 71

Орас Бьяншон — врач, действующее лицо многих произведений «Человеческой комедии» Бальзака.

которым вы, может быть, когда-нибудь займетесь, а потом я решил истребить себя, прожигая жизнь…

Великий врач в знак удовлетворения кивнул головой, как бы говоря: «Я так и знал!»Это был знаменитый Бриссе, глава органической школы, преемник наших Кабанисов и наших Биша, один из тех позитивных, материалистически мыслящих умов, которые смотрят на всякого человека как на существо, раз навсегда определившееся, подчиненное исключительно законам своей собственной организации, так что для них причины нормального состояния здоровья, а равно и смертельных аномалий, всегда очевидны.

Получив ответ, Бриссе молча посмотрел на человека среднего роста, своим багровым лицом и горящими глазами напоминавшего античных сатиров, — тот, прислонившись к углу амбразуры, молча и внимательно разглядывал Рафаэля.

Человек экзальтированный и верующий, доктор Камеристус, глава виталистов, выспренний защитник абстрактных доктрин Ван-Гельмонта, считал жизнь человеческую некиим высшим началом, необъяснимым феноменом, который глумится над хирургическим ножом, обманывает хирургию, ускользает от медикаментов,

от алгебраических иксов, от анатомического изучения и издевается над нашими усилиями, — считал своего рода пламенем, неосязаемым и невидимым, которое подчинено некоему божественному закону и нередко продолжает гореть в теле, обреченном, по общему мнению, на скорую смерть, а в то же время угасает в организме самом жизнеспособном.

Сардоническая улыбка играла на устах у третьего — доктора Могреди, чрезвычайно умного, но крайнего скептика и насмешника, который верил только в скальпель, допускал вместе с Бриссе, что человек цветущего здоровья может умереть, и признавал вместе с Камеристусом, что человек может жить и после смерти. В каждой теории он признавал известные достоинства, но ни одну из них не принимал, считая лучшей медицинской системой — не иметь никакой системы и придерживаться только фактов. Панург в медицине, бог наблюдательности, великий исследователь и великий насмешник, готовый на любые, самые отчаянные попытки, он рассматривал сейчас шагреневую кожу.

— Мне очень хотелось бы самому понаблюдать совпадение, существующее между вашими желаниями и сжатием кожи, — сказал он маркизу.

— Чего ради? — воскликнул Бриссе.

— Чего ради? — повторил Камеристус.

— А, значит, вы держитесь одного мнения! — заметил Могреди.

— Да ведь сжатие объясняется весьма просто, — сказал Бриссе.

— Оно сверхъестественно, — сказал Камеристус.

— В самом деле, — снова заговорил Могреди, прикидываясь серьезным и возвращая Рафаэлю шагреневую кожу, — затвердение кожи — факт необъяснимый и, однако, естественный; от сотворения мира приводит он в отчаяние медицину и красивых женщин.

Наблюдая за тремя докторами, Валантен ни в ком из них не видел сострадания к его болезни. Все трое спокойно выслушивали его ответы, равнодушно осматривали его и расспрашивали без всякого к нему участия.

Сквозь их учтивость проглядывало полное пренебрежение. От уверенности в себе или от задумчивости, но только слова их были столь скупы, столь вялы, что по временам Рафаэлю казалось, будто они думают о другом. На какие бы грозные симптомы ни указывал Бьяншон, один только Бриссе изредка цедил в ответ:

«Хорошо! Так!»Камеристус был погружен в глубокое раздумье. Могреди походил на драматурга, который, стараясь ничего не упустить, изучает двух чудаков, чтобы вывести их в комедии. Лицо Ораса выдавало глубокую муку и скорбное сочувствие. Слишком недавно стал он врачом, чтобы оставаться равнодушным к мучениям больных и бесстрастно стоять у смертного ложа; он не научился еще сдерживать слезы сострадания, которые застилают человеку глаза и не дают ему выбирать, как это должен делать полководец, благоприятный для победы момент, не слушая стонов умирающих. Около получаса доктора, если можно так выразиться, снимали мерку с болезни и с больного, как портной снимает мерку для фрака с молодого человека, заказавшего ему свадебный костюм; они отделывались общими фразами, поговорили даже о последних новостях, а затем пожелали пройти в кабинет к Рафаэлю, чтобы обменяться впечатлениями и поставить диагноз.

— Мне можно будет присутствовать на вашем совещании? — спросил Рафаэль.

Бриссе и Могреди решительно восстали против этого и, невзирая на настойчивые просьбы больного, отказались вести обсуждение в его

присутствии.

Рафаэль покорился обычаю, решив проскользнуть в коридор, откуда можно было хорошо слышать медицинскую дискуссию трех профессоров.

— Милостивые государи, позвольте мне вкратце высказать свое мнение, — сказал Бриссе. — Я не намерен ни навязывать его вам, ни выслушивать опровержения: во-первых, это мнение определенное, окончательно сложившееся, и вытекает оно из полного сходства между одним из моих больных и субъектом, коего мы приглашены исследовать; во-вторых, меня ждут в больнице. Важность дела, которое требует моего присутствия, послужит мне оправданием в том, что я первый взял слово. Занимающий нас субъект в равной мере утомлен и умственным трудом… Над чем это он работал, Орас? — обратился он к молодому врачу.

— Над теорией воли.

— Черт возьми, тема обширная! Повторяю: он утомлен и слишком напряженной работой мысли и нарушением правильного образа жизни, частым употреблением сильных стимулирующих средств, повышенная деятельность тела и мозга подорвала его организм. Ряд признаков,

как в общем облике, так и обнаруживаемых при обследовании, явственно указывает, господа, на сильную раздраженность желудка, на воспаление главного симпатического нерва, на чувствительность надчревной области и сжатие подбрюшия. Вы заметили, как у него увеличена печень? Наконец, господин Орас Бьяншон, наблюдавший за пищеварением у больного, сообщил нам, что оно проходит мучительно, с трудом.

Собственно говоря, желудка больше не существует; человека нет. Интеллект атрофирован, потому что человек более не переваривает пищи. Прогрессирующее перерождение надчревной области, этого жизненного центра, испортило всю систему. Отсюда постоянная и явная иррадиация; при посредстве нервного сплетения расстройство затронуло мозг, отсюда крайняя раздражительность этого органа. Появилась мономания. У больного навязчивая идея. В его представлении шагреневая кожа действительно суживается, хотя, может быть, она всегда была такой, как мы ее сейчас видели; но сжимается она или нет, эта шагрень для него все равно что муха, которая сидела на носу у некоего великого визиря. Поставьте поскорее пиявки на надбрюшие, умерьте раздражительность этого органа, в

котором заключен весь человек, заставьте больного придерживаться режима — и мономания пройдет. На этом я заканчиваю.

Доктор Бьяншон сам должен установить курс лечения в общем и в частностях.

Возможно, болезнь осложнилась, возможно, дыхательные пути также раздражены, но я полагаю, что лечение кишечного тракта гораздо важнее, нужнее, неотложнее, чем лечение легких. Упорный труд над отвлеченными материями и некоторые бурные страсти произвели сильнейшее расстройство жизненного механизма; однако, чтобы исправить пружины, время еще не упущено, особо важных повреждений не наблюдается. Итак, вы вполне можете спасти вашего друга, — заключил он, обращаясь к Бьяншону.

— Наш ученый коллега принимает следствие за причину, — заговорил Камеристус. — Да, изменения, прекрасно им наблюденные, действительно существуют у больного, но не от желудка постепенно возникло в организме это раздражение, идущее якобы по направлению к мозгу, как от трещины расходятся по стеклу лучи. Чтобы разбить окно, нужен был удар, а кто же его нанес?

Разве мы это знаем? Разве мы достаточно наблюдали больного? Разве нам известны все

случаи из его жизни? Господа, у него поражен жизненный нерв — архея Ван-Гельмонта; жизненная сила повреждена в самой своей основе; божественная искра, посредствующий разум, который является как бы передаточным механизмом и который порождает волю, эту науку жизни, перестал регулировать повседневную работу организма и функции каждого органа в отдельности, — отсюда и все расстройства, справедливо отмеченные моим ученым собратом. Движение шло не от надчревной области к мозгу, а от мозга к надчревной области. Нет, — воскликнул он, бия себя в грудь, — нет, я не желудок, ставший человеком! Нет, это еще не все. Я не беру на себя смелость утверждать, что если у меня исправное надбрюшие, значит все остальное несущественно… Мы не можем, — более мягким тоном продолжал он, — объяснять одною и тою же физическою причиною сильные потрясения, в той или иной мере затрагивающие различных субъектов, и предписывать им одинаковый курс лечения. Люди не похожи друг на друга. У каждого из нас имеются органы, по-разному возбуждаемые, по-разному питаемые, у которых может быть разное назначение и которые по-своему выполняют то, что им задано неведомым

нам порядком вещей. Часть великого целого, предназначенная высшей волей к тому, чтобы производить и поддерживать в нас феномен одушевленности, в каждом человеке выражается по-разному и превращает его в существо, по видимости конечное, но в какой-то одной точке сосуществующее с причиною бесконечной.

Поэтому мы должны каждого субъекта рассматривать в отдельности, изучить его насквозь, знать, как он живет, в чем его сила. Между мягкостью смоченной губки и твердостью пемзы существует бесчисленное множество переходов. То же относится и к человеку. Не делая разницы между губкообразной организацией лимфатиков и металлической крепостью мускулов у иных людей, созданных для долгой жизни, каких только ошибок не совершит единая неумолимая система, требующая лечить ослаблением, истощением человеческих сил, которые, по-вашему, всегда находятся в раздраженном состоянии! Итак, в данном случае я настаивал бы на лечении исключительно духовной области, на глубоком изучении внутреннего мира. Будем искать причину болезни в душе, а не в теле!

Врач — существо вдохновенное, обладающее особым даром, бог наделил его способностью

проникать в сущность жизненной силы, как пророкам он дал очи, чтобы прозревать будущее, поэту — способность воссоздавать природу, музыканту — располагать звуки гармоническим строем, прообраз которого, быть может, в мире ином!..

— Вечно он со своей абсолютистской, монархической, религиозной медициной! — пробормотал Бриссе.

— Господа, — прервал Могреди, поспешив заглушить восклицание Бриссе, — возвратимся к нашему больному…

Итак, вот к каким выводам приходит наука! — печально подумал Рафаэль.

— Мое излечение находится где-то между четками и пиявками, между ножом Дюпюитрена и молитвой князя Гогенлоэ. На грани между фактом и словом, материей и духом стоит Могреди со своим сомнением. Человеческие да и нет преследуют меня всюду. Вечно — Каримари-Каримара Рабле. У меня болен дух — каримари! Болит тело — каримара! Останусь ли я жив — это им неизвестно.

Планшет по крайней мере был откровеннее, он просто сказал: «Не знаю».

В это время Валантен услыхал голос доктора

Могреди.

— Больной — мономан? Хорошо, согласен! — воскликнул он. — Но у него двести тысяч ливров доходу, такие мономаны встречаются весьма редко, и мы во всяком случае должны дать ему совет. А надбрюшие ли подействовало на мозг, или же мозг на надбрюшие, это мы, вероятно, установим, когда он умрет. Итак, резюмируем. Он болен — это факт неоспоримый. Он нуждается в лечении.

Оставим в стороне доктрины. Поставим пиявки, чтобы успокоить раздражение кишечника и невроз, наличие коих мы все признаем, а затем пошлем его на воды — мы будем таким образом действовать сразу по двум системам. Если же это легочная болезнь, то мы не можем его вылечить. А потому…

Рафаэль поспешил сесть на свое место. Немного погодя четыре врача вышли из кабинета; слово было предоставлено Орасу, и он сказал Рафаэлю:

— Доктора единогласно признали необходимым немедленно поставить на живот пиявки и сейчас же приступить к лечению как физической, так и духовной области. Во-первых, диета, чтобы успокоить раздражение в вашем организме…

— (В этом месте Бриссе одобрительно кивнул

головой). — Затем режим гигиенический, который должен повлиять на ваше расположение духа. В связи с этим мы единогласно советуем вам поехать на воды в Экс, в Савойю, или же, если вы предпочитаете, на воды Мон-Дор, в Оверни. Воздух и природа в Савойе приятнее, чем в Канталe, но выбирайте по своему вкусу. — (На сей раз доктор Камеристус дал понять, что он согласен.) — Доктора, — продолжал Бьяншон, — найдя у вас небольшие изменения в дыхательном аппарате, единодушно признали полезным прежние мои предписания. Они полагают, что вы скоро поправитесь и что это будет зависеть от правильного чередования указанных мною различных средств... Вот...

— «Вот почему ваша дочь онемела!»[72] — улыбаясь, подхватил Рафаэль и увел Ораса к себе в кабинет, чтобы вручить ему гонорар за этот бесполезный консилиум.

— Они последовательны, — сказал ему молодой врач. — Камеристус чувствует, Бриссе изучает, Могреди сомневается. Ведь у человека есть и душа, и тело, и разум, не так ли? Какая-нибудь из этих первопричин действует в нас сильнее. Нату-

---

72] Примечания: 72

«Вот почему ваша дочь онемела» — фраза из комедии Мольера «Лекарь поневоле».

ра человеческая всегда скажется в человеческой науке. Поверь мне, Рафаэль: мы не лечим, мы только помогаем вылечиться Между системами Бриссе и Камеристуса находится еще система выжидательная, но, чтобы успешно применять ее, нужно знать больного лет десять. В основе медицины, равно как и всех прочих наук, лежит отрицание. Итак, возьмись за ум, попробуй съездить в Савойю; самое лучшее — и всегда будет самым лучшим — довериться природе.

Месяц спустя, прекрасным летним вечером, кое-кто из съехавшихся на воды в Экс собрался после прогулки в курзале. Рафаэль долго сидел один у окна, спиной к собравшимся; на него напала та мечтательная рассеянность, когда мысли возникают, нанизываются одна на другую, тают, не облекшись ни в какую форму, и проходят, словно прозрачные, бледные облака. Печаль тогда тиха, радость неясна и душа почти спит. Предаваясь этим приятным ощущениям, счастливый тем, что он не чувствует никакой боли, а главное, заставил, наконец, смолкнуть угрозы шагреневой кожи, Валантен купался в теплой атмосфере вечера, впивал в себя чистый и благовонный горный воздух. Когда на вершинах погасли багровые отсветы заката и начало

свежеть, он привстал, чтобы захлопнуть окно.

— Будьте добры, не закрывайте окна, — обратилась к нему пожилая дама.

— Мы задыхаемся.

Слух Рафаэля резнула эта фраза, произнесенная каким-то особенно злым тоном, — так человек, в чье дружеское расположение нам хотелось верить, неосторожно роняет слово, которое разрушает сладостную иллюзию наших чувств, обнажив бездну людского эгоизма. Рафаэль смерил старуху холодным, как у бесстрастного дипломата, взглядом, позвал лакея и, когда тот подошел, сухо сказал ему:

— Откройте окно!

При этих словах на лицах собравшихся изобразилось полное недоумение.

Все зашептались, более или менее красноречиво поглядывая на больного, точно он совершил какой-то в высшей степени дерзкий поступок. Рафаэлю, еще не вполне освободившемуся от юношеской застенчивости, стало стыдно, но он тут же стряхнул с себя оцепенение, овладел собой и попытался дать себе отчет в этом странном происшествии. В голове у него все сразу прояснилось, перед ним отчетливо выступило прошлое, и тогда причины внушаемого им чув-

ства обрисовались, как вены на трупе, малейшие ответвления которых естествоиспытатели умело окрашивают — при помощи инъекции; он узнал себя в мимолетной этой картине, он проследил за своей жизнью день за днем, мысль за мыслью; не без удивления обнаружил Рафаэль, что он мрачен и рассеян среди этого беззаботного общества; постоянно думает о своей судьбе, вечно занят своей болезнью; с презрением избегает самых обычных разговоров; пренебрегает той кратковременной близостью, которая так быстро устанавливается между путешественниками, — по всей вероятности потому, что они не рассчитывают встретиться когда-нибудь еще; ко всему решительно равнодушен — словом, похож на некий утес, нечувствительный ни к ласкам, ни к бешенству волн.

Необычайное интуитивное прозрение позволило ему сейчас читать в душе у окружающих; заметив освещенный канделябром желтый череп и сардонический профиль старика, он вспомнил, что как-то раз выиграл у него и не предложил отыграться; немного подальше он увидел хорошенькую женщину, к заигрываниям которой он остался холоден; каждый ставил ему в вину какую-нибудь обиду, на первый взгляд ничтож-

ную, но незабываемую из-за того, что она нанесла незаметный укол самолюбию. Он бессознательно задевал суетные чувства всех, с кем только ни сталкивался. Тех, кого он звал к себе в гости, кому он предлагал своих лошадей, раздражала роскошь, которою он был окружен; уязвленный их неблагодарностью, он избавил их от этого унижения, — тогда они решили, что он презирает их, и обвинили его в аристократизме. Заглядывая к людям в душу, угадывая самые затаенные мысли, он пришел в ужас от общества, от того, что скрывалось под этой учтивостью, под этим лоском. Ему завидовали, его ненавидели только потому, что он был богат и исключительно умен; своим молчанием он обманывал надежды любопытных; людям мелочным и поверхностным его скромность казалась высокомерием. Он понял, какое тайное и непростительное преступление совершал по отношению к ним: он ускользал от власти посредственности. Непокорный инквизиторскому их деспотизму, он осмеливался обходиться без них; стремясь отомстить ему за гордую независимость, таящуюся под этим, все инстинктивно объединились, чтобы дать ему почувствовать их силу, подвергнуть его своего рода остракизму, показать, что они тоже могут

обойтись без него. Этот облик светского общества внушил ему сперва чувство жалости, но затем он невольно содрогнулся, сам испугавшись своей проницательности, которая услужливо снимала перед ним пелену плоти, окутывающую душевный мир, и он закрыл глаза, как бы не желая ничего больше видеть. Эта мрачная фантасмагория истины сразу же задернулась занавесом, но Рафаэль очутился в страшном одиночестве, сопряженном со всякой властью и господством. В ту же минуту он сильно закашлялся. Никто не сказал ему ни единого слова, пусть равнодушного и пошлого, но все же выражающего нечто похожее на учтивое сочувствие, как это в таких случаях принято среди случайно собравшихся людей из хорошего общества, — напротив, до него донеслись враждебные возгласы и негодующий шепот. Общество даже не считало нужным прибегать перед ним к каким-нибудь прикрасам, может быть, понимая, что оно разгадано Рафаэлем до конца.

— Его болезнь заразительна.

— Распорядителю не следовало бы пускать его в зал.

— Честное слово, в порядочном обществе так кашлять не разрешается!

— Раз человек так болен, он не должен ездить на воды…

Здесь невозможно больше оставаться.

Чтобы скрыться от этого злопыхательства, Рафаэль встал и начал ходить по залу. В надежде найти хоть в ком-нибудь защиту он подошел к одиноко сидевшей молодой даме и хотел было сказать ей любезность, но при его приближении она повернулась спиной и притворилась, что смотрит на танцующих.

Рафаэль боялся, что за этот вечер он уже истратил весь свой талисман; не желая да и не решаясь завязать с кем-нибудь разговор, он бежал из зала в бильярдную. В бильярдной никто с ним не заговорил, никто ему не поклонился, никто не посмотрел на него хоть сколько-нибудь благожелательным взглядом. От природы наделенный способностью к глубоким размышлениям, он интуитивно открыл истинную и всеобщую причину вызываемого им отвращения. Этот мирок — быть может, сам того не зная, — подчинился великому закону, управляющему высшим обществом, вся беспощадная мораль которого прошла перед глазами Рафаэля. Оглянувшись на свое прошлое, он увидел законченный ее образ в Феодоре. Здесь он мог встретить не больше участия к своему

недугу, чем в былое время у нее — к сердечным своим страданиям. Светское общество изгоняет из своей среды несчастных, как человек крепкого здоровья удаляет из своего тела смертоносное начало. Свет гнушается скорбями и несчастьями, страшится их, как заразы, и никогда не колеблется в выборе между ними и пороком: порок — та же роскошь. Как бы ни было величественно горе, общество всегда умеет умалить его, осмеять в эпиграмме; оно рисует карикатуры, бросая в лицо свергнутому королю оскорбления, якобы мстя за свои обиды; подобно юным римлянкам в цирке, эта каста беспощадна к поверженным гладиаторам; золото и издевательства — основа ее жизни… Смерть слабым! — вот завет высшего сословия, возникавшего у всех народов мира, ибо всюду возвышаются богатые, и это изречение запечатлено в сердцах, рожденных в довольстве и вскормленных аристократизмом. Посмотрите на детей в школе. Вот вам в уменьшенном виде образ общества, особенно правдивый из-за детской наивности и откровенности: здесь вы непременно найдете бедных рабов, детей страдания и скорби, к которым всегда испытывают нечто среднее между презрением и соболезнованием; а евангелие обещает им рай. Спуститесь вниз

по лестнице живых существ. Если какая-нибудь птица заболеет в птичнике, другие налетают на нее, щиплют ее, клюют и в конце концов убивают. Верный этой хартии эгоизма, свет щедр на суровость к несчастным, осмелившимся портить ему праздничное настроение и мешать наслаждаться. Кто болеет телом или же духом, кто беден и беспомощен, тот пария. И пусть он пребывает в своей пустыне! За ее пределами всюду, куда он ни глянет, его встречает зимняя стужа — холодные взгляды, холодное обращение, холодные слова, холодные сердца; счастье его, если он еще не пожнет обиды там, где должно бы расцвести для него утешение! Умирающие, оставайтесь забытыми на своем ложе! Старики, сидите в одиночестве у своих остывших очагов! Бесприданницы, мерзните или задыхайтесь от жары на своих чердаках, — вы никому не нужны. Если свет терпимо относится к какому-нибудь несчастью, то не для того ли, чтобы приспособить его для своих целей, извлечь из него пользу, навьючить его, взнуздать, оседлать, сесть на него верхом для собственного удовольствия?

Обидчивые компаньонки, состройте веселые лица, покорно сносите дурное расположение духа вашей так называемой благодетельницы;

таскайте на руках ее собачонок; соревнуясь с ними, забавляйте ее, угадывайте ее желания и — молчите! А ты, король лакеев без ливреи, бесстыдный приживальщик, оставь свое самолюбие дома; переваривай пищу, когда переваривает ее твой амфитрион, плачь его слезами, смейся его смехом, восхищайся его эпиграммами; если хочешь перемыть ему косточки, дождись его падения. Так высшее общество чтит несчастье; оно убивает его или гонит, унижает или казнит.

Эти мысли забили ключом в сердце Рафаэля с быстротой поэтического вдохновения; он посмотрел вокруг и ощутил тот зловещий холод, который общество источает, чтобы выжить несчастливцев, и который охватывает душу быстрее, чем декабрьский леденящий ветер пронизывает тело. Он скрестил руки и прислонился к стене; он впал в глубокое уныние. Он думал о том, как мало радостей достается свету из-за этого мрачного благочиния. И что это за радости? Развлечения без наслаждения, увеселения без удовольствия, праздники без веселья, исступление без страсти — иными словами, не загоревшиеся дрова в камине или остывший пепел, без искорки пламени. Рафаэль поднял голову и увидел, что он один, — игроки разбежались.

«Если бы я обнаружил перед ними свою силу, они стали бы обожать мой кашель!»— подумал он.

При этой мысли он, точно плащ, набросил на себя презрение и закрылся им от мира.

На другой день его навестил курортный врач и любезно осведомился о его здоровье. Слушая ласковые его слова, Рафаэль испытывал радостное волнение.

Он нашел, что в лице доктора много мягкости и доброты, что букли его белокурого парика дышат человеколюбием, что покрой его фрака, складки его панталон, его башмаки, широконосые, как у квакера, — все, вплоть до пудры, которая с косицы парика сыпалась полукругом на его сутуловатую спину, свидетельствовало о характере апостольском, выражало истинно христианское милосердие, самопожертвование, простирающееся до того, чтобы из любви к больным играть с ними в вист и трик-трак — да не как-нибудь, а постоянно обыгрывая их.

— Господин маркиз, — сказал он наконец в заключение беседы, — я могу вас сейчас порадовать. Теперь мне достаточно известны особенности вашего телосложения и я утверждаю, что высокоталантливые парижские врачи ошиблись

относительно природы вашего заболевания. Вы, господин маркиз, проживете мафусаилов век, если, конечно, не погибнете от несчастного случая. Ваши легкие — это кузнечные мехи, ваш желудок не уступит желудку страуса; однако, если вы и дальше будете жить в горном климате, то рискуете скорейшим и прямейшим образом очутиться в сырой земле. Вы поймете меня с полуслова, господин маркиз. Химия доказала, что человеческое дыхание есть не что иное, как горение, сила которого зависит от нагнетания или разрежения горючего вещества, скопляющегося в организме, особом у каждого индивидуума. У вас горючее вещество в изобилии: вы, если можно так выразиться, сверхокислорожены, обладая пылкой конституцией человека, рожденного для великих страстей. Вдыхая свежий и чистый воздух, ускоряющий жизненные процессы у людей слабого сложения, вы таким образом еще способствуете сгоранию, и без того слишком быстрому. Следовательно, одно из условий вашего существования — это долины и густая атмосфера хлева. Да, животворный воздух для человека, изнуренного работой мысли, можно найти на тучных пастбищах Германии, в Баден-Бадене, в Теплице, Если Англия вас не пугает, то ее ту-

манный воздух охладит ваш внутренний жар; но наш курорт, расположенный на высоте тысячи футов над уровнем Средиземного моря, — для вас гибель. Таково мое мнение, — заметил он, приняв нарочито скромный вид, — высказываю вам его, хотя это и не в наших интересах, так как, согласившись с ним, вы огорчите нас своим отъездом.

Не произнеси медоточивый лекарь этих последних слов, показное его добродушие подкупило бы Рафаэля, но он был наблюдателен и по интонациям врача, по жестам и взглядам, сопровождавшим эту шутливую фразу, догадался о том, что этот человек исполняет поручение, данное ему сборищем веселых больных. Итак, эти бездельники с цветущими лицами, скучающие старухи, кочующие англичане, щеголихи, улизнувшие с любовниками от мужей, придумали способ изгнать с курорта бедного умирающего человека, слабого, хилого, неспособного, казалось бы, оградить себя от повседневных преследований!

Рафаэль принял вызов, увидя в этой интриге возможность позабавиться.

— Чтобы не огорчить вас моим отъездом, я постараюсь воспользоваться вашим советом, продолжая жить здесь, — объявил он доктору. — Завтра же я начну строить дом, и там у

меня будет воздух, какой вы находите для меня необходимым.

Правильно поняв горькую усмешку, кривившую губы Рафаэля, врач не нашелся что сказать и счел за благо откланяться.

Озеро Бурже — это большая чаша в горах, чаша с зазубренными краями, в которой на высоте семисот-восьмисот футов над уровнем Средиземного моря сверкает капля воды такой синей, какой нет в целом свете. С высоты Кошачьего Зуба озеро — точно оброненная кем-то бирюза. Эта чудная капля воды имеет девять миль в окружности и в некоторых местах достигает около пятисот футов глубины. Очутиться в лодке среди водной глади, под ясным небом и слышать только скрип весел, видя вдали одни лишь горы, окутанные облаками, любоваться блещущими снегами французской Морьены, плыть то мимо гранитных скал, одетых в бархат папоротника или же низкорослых кустарников, то мимо веселых холмов, видеть с одной стороны роскошную природу, с другой — пустыню (точно бедняк пришел к пирующему богачу) — сколько гармонии и сколько противоречий в этом зрелище, где все велико и все мало! В горах — свои особые условия оптики и перспективы; сосна в сто футов кажется

тростинкой, широкие долины представляются узкими, как тропка. Это озеро — единственное место, где сердце может открыться сердцу. Здесь мыслишь и здесь любишь. Нигде больше вы не встретите такого дивного согласия между водою и небом, горами и землей. Здесь найдешь целебный бальзам от любых жизненных невзгод. Это место сохранит тайну страданий, облегчит их, заглушит, придаст любви какую-то особую значительность, сосредоточенность, отчего страсть будет глубже и чище, поцелуй станет возвышеннее. Но прежде всего это — озеро воспоминаний; оно способствует им, окрашивая их в цвет своих волн, а его волны — зеркало, где все отражается. Только среди этой прекрасной природы Рафаэль не чувствовал своего бремени, только здесь он мог быть беспечным, мечтательным, свободным от желаний. После посещения доктора он отправился на прогулку и велел лодочнику причалить у выступа пустынного живописного холма, по другому склону которого расположена деревня Сент-Инносан. С этого высокого мыса взор обнимает и горы Бюже, у подножия которых течет Рона, и дно озера. Но Рафаэль особенно любил смотреть отсюда на противоположный берег, на меланхолическое аббатство От-Комб, эту усы-

пальницу сардинских королей, покоившихся у обрывов скал точно пилигримы, окончившие свои странствия. Вдруг ровный и мерный скрип весел, однообразный, как пение монахов, нарушил тишину природы. Удивленный тем, что еще кто-то совершает прогулку в этой части озера, обычно безлюдной, Рафаэль, не выходя из своей задумчивости, бросил взгляд на людей, сидевших в лодке, и увидел на корме пожилую даму, которая так резко говорила с ним накануне. Когда лодка поравнялась с Рафаэлем, ему поклонилась только компаньонка этой дамы, бедная девушка из хорошей семьи, которую он как будто видел впервые. Лодка скрылась за мысом, и через несколько минут Рафаэль уже забыл о дамах, как вдруг услышал возле себя шелест платья и шум легких шагов. Обернувшись, он увидел компаньонку; по ее смущенному лицу он догадался, что ей надо что-то ему сказать, и подошел к ней. Особа лет тридцати шести, высокая и худая, сухая и холодная, она, как все старые девы, смущалась из-за того, что выражение ее глаз не соответствовало ее походке, нерешительной, неловкой, лишенной гибкости. Старая и вместе с тем юная, она держалась с достоинством, давая понять, что она высокого мнения о своих драгоценных каче-

ствах и совершенствах. Притом движения у нее были по-монашески осторожные, как у многих женщин, которые перенесли на самих себя всю нерастраченную нежность женского сердца.

— Ваша жизнь в опасности, не ходите больше в курзал! — сказала она Рафаэлю и тотчас отошла назад, точно она уже запятнала свою честь.

— Сударыня, прошу вас, выскажитесь яснее, раз уж вы так добры, что явились сюда, — с улыбкой обратился к ней Валантен.

— Ах, без важной причины я ни за что не решилась бы навлечь на себя недовольство графини, ведь если она когда-нибудь узнает, что я предупредила вас…

— А кто может ей рассказать? — воскликнул Рафаэль.

— Вы правы, — отвечала старая дева, хлопая глазами, как сова на солнце. — Но подумайте о себе, — добавила она, — молодые люди, желающие изгнать вас отсюда, обещали вызвать вас на дуэль и заставить с ними драться.

Вдали послышался голос пожилой дамы.

— Сударыня, благодарю вас… — начал маркиз.

Но его покровительница уже исчезла, заслышав голос своей госпожи, снова пискнувшей где-то в горах.

«Бедная девушка! Несчастливцы всегда поймут и поддержат друг друга», — подумал Рафаэль и сел под деревом.

Ключом ко всякой науке, бесспорно, является вопросительный знак; вопросу: Как? — мы обязаны большею частью великих открытий. Житейская мудрость, быть может, в том и состоит, чтобы при всяком случае спрашивать:

Почему? Но, с другой стороны, выработанная привычка все предвидеть разрушает наши иллюзии.

Так и Валантен, обратившись без всякой философской преднамеренности блуждающими своими мыслями к доброму поступку старой девы, почувствовал сильную горечь «Что в меня влюбилась компаньонка, в этом нет ничего необыкновенного, — решил он, — мне двадцать семь лет, у меня титул и двести тысяч ливров доходу! Но что ее госпожа, которая по части водобоязни не уступит кошкам, прокатила ее в лодке мимо меня, — вот это странно, вот это удивительно. Две дамы приехали в Савойю, чтобы спать как сурки, спрашивают в полдень, взошло ли уже солнце, — а нынче встали в восьмом часу утра и пустились за мной в погоню, чтобы развлечься случайной встречей».

Старая дева со своею сорокалетнею наивностью вскоре стала в глазах Рафаэля еще одной разновидностью коварного и сварливого света, стала воплощением низкой хитрости, неуклюжего коварства, того пристрастия к мелким дрязгам, какое бывает у женщин и попов. Была ли дуэль выдумкой, или, быть может, его хотели запугать? Нахальные и назойливые, как мухи, эти мелкие душонки сумели задеть его самолюбие, пробудили его гордость, затронули его любопытство. Не желая ни остаться в дураках, ни прослыть трусом и, видимо, забавляясь этой маленькой драмой, Рафаэль в тот же вечер отправился в курзал. Опершись на мраморную доску камина, он стоял в главном зале, решив не подавать никакого повода к ссоре, но он внимательно разглядывал лица и уже своей настороженностью в известном смысле бросал обществу вызов. Он спокойно ждал, чтобы враги сами к нему подошли, — так дог, уверенный в своей силе, не лает без толку. В конце вечера он прогуливался по игорному залу, от входной двери до двери в бильярдную, поглядывая время от времени на собравшихся там молодых игроков. Немного погодя кто-то из них произнес его имя. Хотя они разговаривали шепотом, Рафаэль без труда догадался, что стал

предметом какого-то спора, и наконец уловил несколько фраз, произнесенных вслух.

— Ты?

— Да, я!

— Не посмеешь!

— Держу пари.

— О, он не откажется!

Когда Валантен, которому не терпелось узнать, о чем идет спор, остановился, прислушиваясь к разговору, из бильярдной вышел молодой человек, высокий и широкоплечий, приятной наружности, но со взглядом пристальным и нахальным, свойственным людям, опирающимся на какую-нибудь материальную силу.

— Милостивый государь, — спокойно обратился он к Рафаэлю, — мне поручили сообщить вам то, о чем вы, кажется, не догадываетесь: ваше лицо и вся ваша особа не нравятся здесь никому, и мне в частности… Вы достаточно воспитаны для того, чтобы пожертвовать собою ради общего блага, поэтому прошу вас не являться больше в курзал.

— Милостивый государь, так шутили во времена Империи во многих гарнизонах, а теперь это стало весьма дурным тоном, — холодно отвечал Рафаэль.

— Я не шучу, — возразил молодой человек. — Повторяю: ваше здоровье может пострадать от пребывания в курзале. Жара, духота, яркое освещение, многолюдное общество вредны при вашей болезни.

— Где вы изучали медицину? — спросил Рафаэль.

— Милостивый государь, степень бакалавра я получил в тире Лепажа, в Париже, а степень доктора — у короля рапиры Серизье.

— Вам остается получить последнюю степень, — отрезал Валантен. — Изучите правила вежливости, и вы будете вполне приличным человеком.

В это время молодые люди, кто молча, кто пересмеиваясь, вышли из бильярдной; другие бросили карты и стали прислушиваться к перебранке, тешившей им душу. Одинокий среди враждебных ему людей, Рафаэль старался сохранить спокойствие и не допустить со своей стороны ни малейшей оплошности, но когда противник нанес ему оскорбление в форме чрезвычайно резкой и остроумной, Рафаэль хладнокровно заметил:

— Милостивый государь, в наше время не принято давать пощечину, но у меня нет слов, чтобы

заклеймить ваше низкое поведение.

— Будет! Будет! Завтра объяснитесь, — заговорили молодые люди и стали между противниками.

Оскорбителем был признан Рафаэль; встреча была назначена возле замка Бордо, на поросшем травою склоне, неподалеку от недавно проложенной дороги, по которой победитель мог уехать в Лион. Рафаэлю оставалось только слечь в постель или покинуть Экс. Общество торжествовало. В восемь часов утра противник Рафаэля с двумя секундантами и хирургом прибыл первым на место встречи.

— Здесь очень хорошо. И погода отличная для дуэли! — весело сказал он, окинув взглядом голубой небосвод, озеро и скалы, — в этом взгляде не было заметно ни тайных сомнений, ни печали. — Если я задену ему плечо, то наверняка уложу его в постель на месяц, — продолжал он, — не так ли, доктор?

— По меньшей мере, — отвечал хирург. — Только оставьте в покое это деревце, иначе вы утомите руку и не будете как следует владеть оружием.

Вместо того чтобы ранить, вы, чего доброго, убьете противника.

Послышался стук экипажа.

— Это он, — сказали секунданты и вскоре увидели экипаж с четверкой лошадей в упряжке; лошадьми правили два форейтора.

— Что за странный субъект! — воскликнул противник Валантена. — Едет умирать на почтовых…

На дуэли, так же как и при игре, на воображение участников, непосредственно заинтересованных в том или ином исходе, действует каждый пустяк, и оттого молодой человек с некоторым беспокойством ждал, пока карета не подъехала и не остановилась на дороге. Первым тяжело спрыгнул с подножки старый Ионафан и помог выйти Рафаэлю; старик поддерживал его своими слабыми руками и, как любовник о своей возлюбленной, проявлял заботу о нем в каждой мелочи. Оба двинулись по тропинке, которая вела от большой дороги до самого места дуэли, и, скрывшись из виду, появились много спустя: они шли медленно.

Четверо свидетелей этой странной сцены почувствовали глубокое волнение при виде Рафаэля, опиравшегося на руку слуги: исхудалый, бледный, он двигался молча, опустив голову и ступая, как подагрик. Можно было подумать, что это два старика, равно разрушенные: один

— временем, другой — мыслью; у первого возраст обозначали седые волосы, у молодого возраста уже не было.

— Милостивый государь, я не спал ночь, — сказал Рафаэль своему противнику.

Холодные слова и страшный взгляд Рафаэля заставили вздрогнуть истинного зачинщика дуэли, в глубине души он уже раскаивался, ему было стыдно за себя.

В том, как держался Рафаэль, в самом звуке его голоса и движениях было нечто странное. Он умолк, и никто не смел нарушить молчания. Тревога и нетерпение достигли предела.

— Еще не поздно принести мне самые обычные извинения, — снова заговорил Рафаэль, — извинитесь же, милостивый государь, не то вы будете убиты. Вы рассчитываете на свою ловкость, вы не отказываетесь от мысли о поединке, ибо уверены в своем превосходстве. Так вот, милостивый государь, я великодушен, я предупреждаю вас, что перевес на моей стороне. Я обладаю грозным могуществом. Стоит мне только пожелать — от вашей ловкости не останется и следа, ваш взор затуманится, рука у вас дрогнет и забьется сердце; этого мало: вы будете убиты. Я не хочу применять свою силу, она мне слишком дорого обходится. Не

для вас одного это будет смертельно. Если, однако, вы откажетесь принести мне извинения, то, хотя убийство — привычное для вас дело, ваша пуля полетит в этот горный поток, а моя, даже без прицела, — попадет прямо вам в сердце.

Глухой ропот прервал Рафаэля. Говоря с противником, он не сводил с него пристального, невыносимо ясного взора; он выпрямился, лицо у него стало бесстрастным, как у опасного безумца.

— Пусть он замолчит, — сказал молодой человек одному из секундантов, — у меня от его голоса все переворачивается внутри!

— Милостивый государь, довольно! Вы зря тратите красноречие! — крикнули Рафаэлю хирург и свидетели.

— Господа, я исполнил свой долг. Не мешало бы молодому человеку объявить свою последнюю волю.

— Довольно! Довольно!

Рафаэль стоял неподвижно, ни на мгновение не теряя из виду своего противника, который, как птичка под взглядом змеи, был скован почти волшебною силою; вынужденный подчиниться убийственному этому взгляду, он отводил глаза, но снова невольно подпадал под его власть.

— Дай мне воды, я хочу пить… — сказал он секунданту.

— Ты боишься?

— Да, — отвечал он. — Глаза у него горят и завораживают меня.

— Хочешь перед ним извиниться?

— Поздно.

Дуэлянтов поставили в пятнадцати шагах друг от друга. У каждого была пара пистолетов, и, согласно условиям этой дуэли, противники должны были выстрелить по два раза, когда им угодно, но только после знака, поданного секундантами.

— Что ты делаешь, Шарль? — крикнул молодой человек, секундант противника Рафаэля. — Ты кладешь пулю, не насыпав пороха!

— Я погиб! — отвечал он шепотом. — Вы поставили меня против солнца…

— Солнце у вас за спиной, — суровым и торжественным тоном сказал Валантен и, не обращая внимания ни на то, что сигнал уже дан, ни на то, как старательно целится в него противник, не спеша зарядил пистолет.

В этой сверхъестественной уверенности было нечто страшное, что почувствовали даже форейторы, которых привело сюда жестокое любопытство.

Играя своим могуществом, а может быть, желая испытать его, Рафаэль разговаривал с Ионафаном и смотрел на него под выстрелом своего врага. Пуля Шарля отломила ветку ивы и рикошетом упала в воду. Рафаэль, выстрелив наудачу, попал противнику в сердце и, не обращая внимания на то, что молодой человек упал, быстро вытащил шагреневую кожу, чтобы проверить, сколько стоила ему жизнь человека. Талисман был не больше дубового листочка.

— Что же вы мешкаете, форейторы? Пора ехать! — сказал Рафаэль.

В тот же вечер он прибыл во Францию и по Овернской дороге выехал на воды в Мон-Дор. Дорогой у него возникла внезапная мысль, одна из тех мыслей, которые западают в душу, как солнце сквозь густые облака роняет свой луч в темную долину. Печальные проблески безжалостной мудрости! Они озаряют уже совершившиеся события, вскрывают наши ошибки, и мы сами тогда ничего не можем простить себе. Он вдруг подумал, что обладание могуществом, как бы ни было оно безгранично, не научает пользоваться им. Скипетр — игрушка для ребенка, для Ришелье — секира, а для Наполеона — рычаг, с помощью которого можно повернуть мир. Власть оставляет

нас такими же, каковы мы по своей природе, и возвеличивает лишь великих. Рафаэль мог все, но не свершил ничего.

На мондорских водах все то же общество удалялось от него с неизменной поспешностью, как животные бросаются прочь от павшего животного, зачуяв издали смертный дух. Эта ненависть была взаимной. Последнее приключение внушило ему глубокую неприязнь к обществу. Поэтому первой заботой Рафаэля было отыскать в окрестностях уединенное убежище. Он инстинктивно ощущал потребность приобщиться к природе, к неподдельным чувствам, к той растительной жизни, которой мы так охотно предаемся среди полей. На другой день по приезде он не без труда взобрался на вершину Санси, осмотрел горные местности, неведомые озера, сельские хижины Мон-Дора, суровый, дикий вид которых начинает ныне соблазнять кисть наших художников. Порою здесь встречаются красивые уголки, полные очарования и свежести, составляющие резкий контраст с мрачным видом этих угрюмых гор. Почти в полумиле от деревни Рафаэль очутился в такой местности, где игривая и веселая, как ребенок, природа, казалось, нарочно таила лучшие свои сокровища. Здесь, в уединенных этих местах,

живописных и милых, он и задумал поселиться. Здесь можно было жить спокойной, растительной жизнью — жизнью плода на дереве.

Представьте себе внутренность опрокинутого гранитного конуса, сильно расширяющуюся кверху, — нечто вроде чаши с причудливо изрезанными краями; здесь — ровная, гладкая, лишенная растительности голубоватая поверхность, по которой, как по зеркалу, скользят солнечные лучи; там — изломы скал, перемежающихся провалами, откуда застывшая лава свисает глыбами, падение которых исподволь подготовляется дождевыми водами, скал, нередко увенчанных низкорослыми деревьями, которые треплет ветер; кое-где темные и прохладные ущелья, где стоят купы высоких, точно кедры, каштанов, где желтоватые склоны изрыты пещерами, открывающими черную и глубокую пасть, поросшую ежевикой, цветами, украшенную полоской зелени. На дне этой чаши, которая когда-то, вероятно, была кратером вулкана, находится небольшое озеро с прозрачной водою, сверкающей, как бриллиант. Вокруг этого глубокого водоема в гранитных берегах, окаймленного ивами, шпажником, ясенями и множеством благоухающих растений, которые в

ту пору цвели, — простирался луг, зеленый, как английский газон; трава его, тонкая и красивая, орошалась водой, струившейся из расщелин в скалах, и удобрялась перегноем растений, которые беспрестанно сносила буря с высоких вершин. Образуя зубчатые очертания, точно оборка на платье, озеро занимало пространство примерно в три арпана. Скалы так близко подходили к воде, что луг, вероятно, был шириною не более двух арпанов, в некоторых местах едва прошла бы корова. Повыше растительность исчезала. На небе вырисовывались гранитные скалы самых причудливых форм, принимавшие неясную окраску, которая придает вершинам гор некоторое сходство с облаками.

Нагие, пустынные скалы противопоставляли мирной прелести долины дикую картину запустения: глыбы, грозящие обвалом, утесы столь прихотливой формы, что один из них назван Капуцином — так он напоминает монаха. Порою луч солнца освещал эти острые иглы, эти дерзко вздыбившиеся каменные громады, эти высокогорные пещеры, и, послушные течению дневного светила и причудам воздуха, они то принимали золотистый оттенок, то окрашивались в пурпур, то становились ярко-розовыми, то серыми,

тусклыми. Выси гор беспрестанно меняли свою окраску, переливаясь радугой, как голубиное горло. Иногда, на рассвете или на закате, яркий луч солнца, проникнув между двумя застывшими волнами гранита, точно разрубленного топором, доставал до дна этой прелестной корзины и играл на водах озера, как играет он, протянувшись золотистой полоской сквозь щель ставня, в испанском доме, тщательно закрытом на время полуденного отдыха. Когда же солнце стояло высоко над старым кратером, наполнившимся водою еще во времена какого-то допотопного переворота, его каменистые берега нагревались, потухший вулкан как будто загорался, от тепла быстрее пробуждались ростки, оплодотворялась растительность, окрашивались цветы и зрели плоды в этом глухом, безвестном уголке.

Когда Рафаэль забрел сюда, он заметил, что на лугу пасутся коровы; пройдя несколько шагов по направлению к озеру, он увидел в том месте, где полоса земли расширялась, скромный дом, сложенный из гранита, с деревянною крышей. Кровля этой необыкновенной хижины, гармонировавшей с самой местностью, заросла мхом, плющом и цветами, изобличая глубокую древность постройки. Тонкая струя дыма, уже

не пугавшая птиц, вилась из полуразрушенной трубы. У двери стояла большая скамья меж двух огромных кустов душистой жимолости, осыпанных розовым цветом. Стен почти не было видно сквозь ветви винограда, сквозь гирлянды роз и жасмина, которые росли на свободе, как придется. Видно, обитатели не обращали внимания на это сельское убранство, совсем за ним не следили и предоставляли природе развиваться в живой и девственной прелести. На солнце сушилось белье, развешанное на смородиновом кусте. Кошка присела на трепалке для конопли, под которой, среди картофельной шелухи, лежал только что вычищенный медный котел. По другую сторону дома Рафаэль заметил изгородь из сухого терновника, поставленную, вероятно, затем, чтобы куры не опустошали сад и огород.

Казалось, мир кончается здесь. Жилище было похоже на те искусно сделанные птичьи гнезда, что лепятся к скалам и носят на себе отпечаток изобретательности, а в то же время небрежности. Это была природа наивная и добрая, подлинно дикая, но поэтичная, ибо она расцветала за тысячу миль от прилизанной нашей поэзии и не повторяла никакого чужого замысла, но зарождалась сама собою, как подлинное торжество

случайности. Когда Рафаэль подходил, солнечные лучи падали справа почти горизонтально, от них сверкала всеми красками растительность, и при этом волшебном свете отчетливо выделялись пятна тени, серовато-желтые скалы, зелень листьев всевозможных оттенков, купы синих, красных, белых цветов, стебли и колокольчики ползучих растений, бархатные мхи, пурпуровые кисти вереска и, особенно, ясная гладь воды, где, как в зеркале, отчетливо отражались гранитные вершины, деревья, дом, небо. На этой прелестной картине все сияло, начиная с блестящей слюды и кончая пучком белесоватой травы, притаившейся в мягкой полутени. Все радовало глаз своей гармонией: и пестрая, с лоснящейся шерстью, корова, и хрупкие водяные цветы, как бахрома, окаймлявшие котловину, над которыми жужжали лазоревые и изумрудные насекомые, и древесные корни, увенчавшие бесформенную груду голышей наподобие русых волос. От благовонного тепла, которым дышали воды, цветы и пещеры уединенного этого приюта, у Рафаэля появилось какое-то сладостное ощущение.

Торжественную тишину, которая царила в этой рощице, по всей вероятности, не попавшей в списки сборщика податей, внезапно нарушил лай

двух собак. Коровы повернули головы ко входу в долину, а затем, показав Рафаэлю свои мокрые морды и, тупо посмотрев на него, продолжали щипать траву. Коза с козленком, точно каким-то волшебством повисшие на скалах, спрыгнули на гранитную площадку неподалеку от Рафаэля и остановились, вопросительно поглядывая на него. На тявканье собак выбежал из дома толстый мальчуган и замер с разинутым ртом, затем появился седой старик среднего роста. Оба эти существа гармонировали с окрестным видом, воздухом, цветами и домом. Здоровье било через край среди этой изобильной природы, старость и детство были здесь прекрасны. Словом, от всех разновидностей живых существ здесь веяло первобытной непосредственностью, привычным счастьем, перед лицом которого обнажалась вся ложь ханжеского нашего философствования и сердце излечивалось от искусственных страстей. Старик, казалось, мог бы служить излюбленной натурой для мужественной кисти Шнетца: загорелое лицо с сетью морщин, вероятно, жестких на ощупь; прямой нос, выдающиеся скулы, все в красных жилках, как старый виноградный лист, резкие черты — все признаки силы, хотя сила уже иссякла; руки, все еще мозолистые, хотя они

уже не работали, были покрыты редким седым волосом; старик держался, как человек воистину свободный, так что можно было вообразить, что в Италии он стал бы разбойником из любви к бесценной свободе. У ребенка, настоящего горца, были черные глаза, которыми он мог смотреть на солнце не щурясь, коричневый цвет лица, темные растрепанные волосы. Он был ловок, решителен, естествен в движениях, как птица; одет он был в лохмотья, и сквозь них просвечивала белая, свежая кожа. Оба молча стояли рядом, с одним и тем же выражением на лице, и взгляд их говорил о совершенной тождественности их одинаково праздной жизни. Старик перенял у ребенка его игры, а ребенок у старика — его прихоти, по особому договору между двумя видами слабости — между силой, уже иссякающей, и силой, еще не развившейся. Немного погодя на пороге появилась женщина лет тридцати. Она на ходу сучила нитку. Это была овернка; у нее были белые зубы, смуглое, веселое и открытое лицо, лицо настоящей овернки, стан овернки, платье и прическа овернки, высокая грудь овернки и овернский выговор, трудолюбие, невежество, бережливость, сердечность — словом, все вместе взятое олицетворяло овернский край.

Она поклонилась Рафаэлю; завязался разговор. Собаки успокоились, старик сел на скамью на солнышке, а ребенок ходил за матерью по пятам, молча прислушивался и во все глаза смотрел на незнакомого человека.

— Вы не боитесь здесь жить, голубушка?

— А чего бояться? Когда загородим вход, кто сюда может войти? Нет, мы ничего не боимся! И то сказать, — добавила она, приглашая маркиза войти в самую большую комнату в доме, — что ворам и взять-то у нас?

Она обвела рукой закопченные стены, единственным украшением которых служили разрисованные голубой, красной и зеленой красками картины: «Смерть Кредита», «Страсти господни» и «Гренадеры императорской гвардии»; да еще была в комнате старая ореховая кровать с колонками, стол на витых ножках, скамьи, квашня, свиное сало, подвешенное к потолку, соль в горшке, печка и на полке очага пожелтевшие раскрашенные гипсовые фигуры. Выйдя из дома, Рафаэль заметил среди скал мужчину с мотыгой в руках, который, нагнувшись, с любопытством посматривал на дом.

— Хозяин, — сказала овернка, и у нее появилась обычная для крестьянки улыбка. — Он там

работает.

— А старик — ваш отец?

— Нет, изволите ли видеть, это дед моего хозяина. От роду ему сто два года. А все же на днях он сводил нашего мальчишку пешком в Клермон! Крепкий был человек, ну, а теперь только спит, пьет да ест. С мальчишкой забавляется, иной раз малыш тащит его в горы, и он ничего, идет.

Валантен сразу же решил поселиться со стариком и ребенком, дышать тем же воздухом, есть тот же хлеб, спать тем же сном, наполнить свои жилы такою же кровью, Причуды умирающего! Стать улиткой, прилепившейся к этим скалам, на несколько лишних дней сберечь свою раковину, заглушить в себе работу смерти стало для него основой поведения, единственной целью бытия, прекрасным идеалом жизни, единственно правильной жизнью, настоящей жизнью.

Глубоко эгоистическая мысль вошла в самое его существо и поглотила для него вселенную. Ему представлялось, что вселенной больше нет, — вселенная сосредоточилась в нем. Для больного мир начинается у изголовья постели и кончается у его ног. Эта долина сделалась постелью Рафаэля.

Кто не следил хоть раз за хлопотливым мура-

вьем, кто не просовывал соломинок в единственное отверстие, через которое дышит белесая улитка? Кто не наблюдал за причудливым полетом хрупкой стрекозы, не любовался множеством жилок, ярко, точно витражи готического собора, выделяющихся на красноватом фоне дубовых листьев? Кто не наслаждался, подолгу любуясь игрою дождя и солнца на темной черепице крыши, не созерцал капель росы, лепестков или разнообразного строения цветочных чашечек? Кто не погружался в такие грезы, как бы слитые с самой природой, беспечные и сосредоточенные, бесцельные и тем не менее приводящие к какой-нибудь мысли? Кто, иными словами, не вел порою жизни ребенка, жизни ленивой, жизни дикаря, если изъять из нее труд?

Так прожил Рафаэль много дней, без забот, без желаний, — он поправил свое здоровье и чувствовал себя необычайно хорошо, и вот усмирились его тревоги, затихли его страдания. Он взбирался на скалы и усаживался где-нибудь на вершине, откуда было видно далеко-далеко. Там он оставался по целым дням, как растение на солнце, как заяц в норе. Или, породнясь с явлениями растительной жизни, с переменами, происходившими в небе, он следил за развитием

всех творений на земле, на воде, в воздухе. Он и сам пытался приобщиться к внутренней жизни природы, как можно полнее проникнуться ее пассивной покорностью, чтобы подпасть под владычество охранительного закона, управляющего инстинктивным бытием. Он хотел освободиться от себя самого. В древние времена преступники, преследуемые правосудием, спасались под сенью храма, — точно так же Рафаэль пытался укрыться в святилище бытия. Он достиг того, что стал составной частью этого необъятного и могучего цветения; он свыкся с переменами погоды, побывал во всех расщелинах скал, изучил нравы и обычаи всех растений, узнал, как зарождаются и как текут воды, свел знакомство с животными; словом, он так полно слился с этой одушевленной землею, что до некоторой степени постиг ее душу и проник в ее тайны.

Бесконечные формы всех царств природы были для него развитием одной и той же сущности, различными сочетаниями одного и того же движения, огромным дыханием одного беспредельного существа, которое действовало, мыслило, двигалось, росло и вместе с которым он сам хотел расти, двигаться, мыслить и действовать. Он, как улитка, слил свою жизнь с жизнью

скалы, он сросся с ней. Благодаря таинственной этой просветленности, мнимому выздоровлению, похожему на то благодетельное забытье, которое природа дарует, как отдых от боли, — Валантен в начале своего пребывания среди этой смеющейся природы наслаждался радостями нового детства. Он мог целый день бродить в поисках какого-нибудь пустяка, начинал тысячу дел и не кончал ни одного, забывая назавтра вчерашние свои планы; не зная забот, он был счастлив и думал, что он спасен.

Однажды он пролежал в постели до полудня, — он был погружен в дремоту, сотканную из яви и сна, которая придает действительности фантастический вид, а грезам — отчетливость действительной жизни; и вдруг, еще даже не сознавая, что проснулся, он впервые услышал отчет о своем здоровье, который хозяйка давала Ионафану, ежедневно приходившему справляться о нем. Овернка, конечно, была уверена, что Валантен еще спит, и говорила во весь свой голос — голос жительницы гор.

— Ни лучше, ни хуже, — сообщила она. — Опять всю ночь кашлял, — того и гляди, думала, богу душу отдаст. Кашляет, харкает добрый наш господин так, что жалость берет. Мы с хозяином

диву даемся, откуда только у него силы берутся так кашлять? Прямо сердце разрывается. И что это за проклятая у него болезнь? Нет, плохо его дело! Всякий раз у меня душа не на месте, как бы не найти его утром в постели мертвым. Бледный он, все равно как восковой Иисус!

Я вижу его, когда он встает, до чего же худ, бедняжка, — как палка! Да уж и дух от него идет тяжелый. А он ничего не замечает. Ему все едино, — тратит силы на беготню, точно у него здоровья на двоих хватит. Очень он бодрится, виду не показывает! А ведь и то сказать: в земле ему лучше было бы, чем на лугу, — мучается он, как господь на кресте! Только мы-то этого не желаем, — какой нам интерес? Даже если б он и не дарил нам столько, мы бы любили его не меньше, мы его не из-за интереса держим. Ах, боже ты мой, — продолжала она, — только у парижан и бывают такие гадкие болезни! Где они их только схватывают? Бедный молодой человек! Уж тут добром не кончится! И как же она его, эта лихорадка, точит, как же она его сушит, как же она его изводит! А он ни о чем не думает, ничего-то не чует. Ничего он не замечает… Только плакать об этом не надо, господин Ионафан! Надо сказать: слава богу! — когда он отмучается. Вам бы девя-

тину в церкви заказать за его здоровье. Я своими глазами видела, как больные выздоравливают от девятины. Я сама бы свечку поставила, только бы спасти такого милого человека, такого доброго, ягненочка пасхального…

Голос у Рафаэля стал настолько слаб, что он не мог крикнуть и был принужден слушать эту ужасную болтовню. И все же он так был раздражен, что поднялся с постели и появился на пороге.

— Старый негодяй! — крикнул он на Ионафана. — Ты что же, хочешь быть моим палачом?

Крестьянка подумала, что это привидение, и убежала.

— Не смей больше никогда справляться о моем здоровье, — продолжал Рафаэль.

— Слушаюсь, господин маркиз, — отвечал старый слуга, отирая слезы.

— И впредь ты прекрасно сделаешь, если не будешь сюда являться без моего приказа.

Ионафан пошел было к дверям, но, прежде чем уйти, бросил на маркиза взгляд, исполненный преданности и сострадания, в котором Рафаэль прочел себе смертный приговор. Теперь он ясно видел истинное положение вещей, и присутствие духа покинуло его; он сел на пороге, скрестил руки на груди и опустил голову. Перепуганный

Ионафан приблизился к своему господину:

— Сударь…

— Прочь! Прочь! — крикнул больной.

На следующее утро Рафаэль, взобравшись на скалу, уселся в поросшей мхом расщелине, откуда была видна тропинка, ведущая от курортного поселка к его жилищу. Внизу он заметил Ионафана, снова беседовавшего с овернкой. Его проницательность, достигшая необычайной силы, коварно подсказала, ему, что означало покачивание головой, жесты безнадежности, весь простодушно-зловещий вид этой женщины, и в тишине ветер донес до него роковые слова. Охваченный ужасом, он укрылся на самых высоких вершинах и пробыл там до вечера, не в силах отогнать мрачные думы, к несчастью для него навеянные ему тем жестоким состраданием, предметом которого он был. Вдруг овернка сама выросла перед ним, как тень в вечернем мраке; поэтическая игра воображения превратила для него ее черное платье с белыми полосками в нечто похожее на иссохшие ребра призрака.

— Уже роса выпала, сударь вы мой, — сказала она. — Коли останетесь, — беды наживете. Пора домой. Вредно дышать сыростью, да и не ели вы ничего с самого утра.

— Проклятье! — крикнул он. — Оставьте меня в покое, старая колдунья, иначе я отсюда уеду! Довольно того, что вы каждое утро роете мне могилу, — хоть бы уж по вечерам-то не копали…

— Могилу, сударь? Рыть вам могилу!.. Где же это она, ваша могила? Да я вам от души желаю, чтобы вы прожили столько, сколько наш дедушка, а вовсе не могилы! Могила! В могилу-то нам никогда не поздно…

— Довольно! — сказал Рафаэль.

— Опирайтесь на мою руку, сударь!

— Нет!

Жалость — чувство, которое всего труднее выносить от других людей, особенно если действительно подаешь повод к жалости. Их ненависть — укрепляющее средство, она придает смысл твоей жизни, она вдохновляет на месть, но сострадание к нам убивает нас, оно еще увеличивает нашу слабость.

Это — вкрадчивое зло, это — презрение под видом нежности или же оскорбительная нежность. Рафаэль видел к себе у столетнего старика сострадание торжествующее, у ребенка — любопытствующее, у женщины — назойливое, у ее мужа — корыстное, но в какой бы форме ни обнаруживалось это чувство, оно всегда возвещало

смерть. Поэт из всего создает поэтическое произведение, мрачное или же веселое, в зависимости от того, какой образ поразил его, восторженная его душа отбрасывает полутона и всегда избирает яркие, резко выделяющиеся краски. Сострадание окружающих создало в сердце Рафаэля ужасную поэму скорби и печали. Пожелав приблизиться к природе, он, вероятно, и не подумал о том, сколь откровенны естественные чувства. Когда он сидел где-нибудь под деревом, как ему казалось — в полном одиночестве, и его бил неотвязный кашель, после которого он всегда чувствовал себя разбитым, он вдруг замечал блестящие, живые глаза мальчика, по-дикарски прятавшегося в траве и следившего за ним с тем детским любопытством, в котором сочетается и удовольствие, и насмешка, и какой-то особый интерес, острый, а вместе с тем бесчувственный. Грозные слова монахов-траппистов «Брат, нужно умереть», казалось, были написаны в глазах крестьян, с которыми жил Рафаэль; он не знал, чего больше боялся — наивных ли слов их, или молчания; все в них стесняло его. Однажды утром он увидел, что какие-то двое в черном бродят вокруг него, выслеживают, поглядывают на него украдкой; затем, прикидываясь, что пришли сюда прогуляться,

они обратились к нему с банальными вопросами, и он кратко на них ответил. Он понял, что это врач и священник с курорта, которых подослал, по всей вероятности, Ионафан или позвали хозяева, а может быть, просто привлек запах близкой смерти. Он уже представил себе собственные свои похороны, слышал пение священников, мог сосчитать свечи, — и тогда красоты роскошной природы, на лоне которой, как ему казалось, он вновь обрел жизнь, виделись ему только сквозь траурный флер. Все, некогда сулившее ему долгую жизнь, теперь пророчило скорый конец.

На другой день, вдоволь наслушавшись скорбных и сочувственно-жалостливых пожеланий, какими его провожали хозяева, он уехал в Париж.

Проспав в пути всю ночь, он проснулся, когда проезжали по одной из самых веселых долин Бурбонне и мимо него, точно смутные образы сна, стремительно проносились поселки и живописные виды. Природа с жестокой игривостью выставляла себя перед ним напоказ. То речка Алье развертывала в прекрасной дали блестящую текучую свою ленту; то деревушки, робко притаившиеся в ущельях средь бурых скал, показывали шпили своих колоколен; то, после

однообразных виноградников, в ложбине внезапно вырастали мельницы, мелькали там и сям красивые замки, лепившаяся по горному склону деревня, дорога, обсаженная величественными тополями; наконец, необозримая, искрящаяся алмазами водная гладь Луары засверкала среди золотистых песков.

Соблазнов — без конца! Природа, возбужденная, живая, как ребенок, еле сдерживая страсть и соки июня, роковым образом привлекала к себе угасающие взоры больного. Он закрыл окна кареты и опять заснул. К вечеру, когда Кон остался уже позади, его разбудила веселая музыка, и перед ним развернулась картина деревенского праздника. Почтовая станция находилась возле самой площади. Пока перепрягали лошадей, он смотрел на веселые сельские танцы, на девушек, убранных цветами, хорошеньких и задорных, на оживленных юношей, на раскрасневшихся, подгулявших стариков. Ребятишки резвились, старухи, посмеиваясь, вели между собой беседу. Вокруг стоял веселый шум, радость словно приукрасила и платья и расставленные столы. У площади и церкви был праздничный вид; казалось, что крыши, окна, двери тоже принарядились. Как всем умирающим, Рафаэлю был

ненавистен малейший шум, он не мог подавить в себе мрачное чувство, ему захотелось, чтобы скрипки умолкли, захотелось остановить движение, заглушить крики, разогнать этот наглый праздник. С сокрушенным сердцем он сел в экипаж. Когда же он снова взглянул на площадь, то увидел, что веселье словно кто-то спугнул, что крестьянки разбегаются, скамьи опустели. На подмостках для оркестра один только слепой музыкант продолжал играть на кларнете визгливую плясовую. В этой музыке без танцоров, в этом стоящем под липой одиноком старике с уродливым профилем, со всклокоченными волосами, одетом в рубище, было как бы фантастически олицетворено пожелание Рафаэля. Лил потоками дождь, настоящий июньский дождь, который внезапно низвергается на землю из насыщенных электричеством туч и так же неожиданно перестает. Это было настолько естественно, что Рафаэль, поглядев, как вихрь несет по небу белесоватые тучи, и не подумал взглянуть на шагреневую кожу. Он пересел в угол кареты, и вскоре она снова покатила по дороге.

На другой день он был уже у себя дома, в своей комнате, возле камина.

Он велел натопить пожарче, его знобило. Иона-

фан принес письма. Все они были от Полины. Он не спеша вскрыл и развернув первое, точно это была обыкновенная повестка сборщика налогов. Он прочитал начало:

«Уехал! Но ведь это бегство, Рафаэль. Как же так?

Никто не может мне сказать, где ты. И если я не знаю, то кто же тогда знает? «

Не пожелав читать дальше, он холодно взял письма и, бросив их в камин, тусклым, безжизненным взглядом стал смотреть, как огонь пробегает по надушенной бумаге, как он скручивает ее, как она отвердевает, изгибается и рассыпается на куски.

На пепле свернулись полуобгоревшие клочки, и на них еще можно было разобрать то начало фразы, то отдельные слова, то какую-нибудь мысль, конец которой был уничтожен огнем, и Рафаэль машинально увлекся этим чтением.

«Рафаэль… сидела у твоей двери… ждала… Каприз… подчиняюсь…

Соперницы… я — нет!.. твоя Полина любит… Полины, значит, больше нет?..

Если бы ты хотел меня бросить, ты бы не исчез так… Вечная любовь…

Умереть… «

От этих слов в нем заговорила совесть — он схватил щипцы и спас от огня последний обрывок письма.

«… Я роптала, — писала Полина, — но я не жаловалась, Рафаэль!

Разлучаясь со мной, ты, без сомнения, хотел уберечь меня от какого-то горя.

Когда-нибудь ты, может быть, убьешь меня, но ты слишком добр, чтобы меня мучить. Больше никогда так не уезжай. Помни: я не боюсь никаких мучений, но только возле тебя. Горе, которое я терпела бы из-за тебя, уже не было бы горем, — в сердце у меня гораздо больше любви, чем это я тебе показывала. Я могу все вынести, только бы не плакать вдали от тебя, только бы знать, что ты… «

Рафаэль положил на камин полуобгоревшие обрывки письма, но затем снова кинул их в огонь. Этот листок был слишком живым образом его любви и роковой его участи.

— Сходи за господином Бьяншоном, — сказал он Ионафану.

Орас застал Рафаэля в постели.

— Друг мой, можешь ли ты составить для меня питье с небольшой дозой опия, чтобы я все время находился в сонном состоянии и чтобы можно

было постоянно употреблять это снадобье, не причиняя себе вреда?

— Ничего не может быть легче, — отвечал молодой доктор, — но только все-таки придется вставать на несколько часов в день, чтобы есть.

— На несколько часов? — прервал его Рафаэль. — Нет, нет! Я не хочу вставать больше, чем на час.

— Какая же у тебя цель? — спросил Бьяншон.

— Спать — это все-таки жить! — отвечал больной. — Вели никого не принимать, даже госпожу Полину де Вичнау, — сказал он Ионафану, пока врач писал рецепт.

— Что же, господин Орас, есть какая-нибудь надежда? — спросил старик слуга у молодого доктора, провожая его до подъезда.

— Может протянуть еще долго, а может умереть и нынче вечером. Шансы жизни и смерти у него равны. Ничего не могу понять, — отвечал врач и с сомнением покачал головой. — Нужно бы ему развлечься.

— Развлечься! Вы его не знаете, сударь. Он както убил человека — и даже не охнул!.. Ничто его не развлечет.

В течение нескольких дней Рафаэль погружен был в искусственный сон.

Благодаря материальной силе опия, воздействующей на нашу нематериальную душу, человек с таким сильным и живым воображением опустился до уровня иных ленивых животных, которые напоминают своею неподвижностью увядшие растения и не сдвинутся с места ради какой-нибудь легкой добычи. Он не впускал к себе даже дневной свет, солнечные лучи больше не проникали к нему. Он вставал около восьми вечера, в полусознательном состоянии утолял свой голод и снова ложился. Холодные, хмурые часы жизни приносили с собой лишь беспорядочные образы, лишь видимости, светотень на черном фоне. Он погрузился в глубокое молчание, жизнь его представляла собою полное отрицание движения и мысли.

Однажды вечером он проснулся гораздо позже обыкновенного, и обед не был подан. Он позвонил Ионафану.

— Можешь убираться из моего дома, — сказал он. — Я тебя обогатил, тебе обеспечена счастливая старость, но я не могу позволить тебе играть моей жизнью… Я же голоден, негодяй! Где обед? Говори!

По лицу Ионафана пробежала довольная улыбка; он взял свечу, которая мерцала в глубоком

мраке огромных покоев, повел своего господина, опять ставшего ко всему безучастным, по широкой галерее и внезапно отворил дверь.

В глаза больному ударил свет; Рафаэль был поражен, ослеплен неслыханным зрелищем. Перед ним были люстры, полные свечей; красиво расставленные редчайшие цветы его теплицы; стол, сверкавший серебром, золотом, перламутром, фарфором; царский обед, от которого, возбуждая аппетит, шел ароматный пар. За столом сидели его друзья и вместе с ними женщины, разодетые, обворожительные, с обнаженной грудью, с открытыми плечами, с цветами в волосах, с блестящими глазами, все по-разному красивые, все соблазнительные в своих роскошных маскарадных нарядах; одна обрисовала свои формы ирландской жакеткой, другая надела дразнящую андалузскую юбку; эта, полунагая, была в костюме Дианы-Охотницы, а та, скромная, дышащая любовью, — в костюме де Лавальер, и все были одинаково пьяны. В каждом взгляде сверкали радость, любовь, наслаждение. Лишь только мертвенно бледное лицо Рафаэля появилось в дверях, раздался дружный хор приветствий, торжествующих, как огни этого импровизированного празднества. Эти голоса, благоухания,

свет, женщины волнующей красоты возбудили его, воскресили в нем чувство жизни. В довершение странной грезы звуки чудной музыки гармоническим потоком хлынули из соседней гостиной, приглушая это упоительное бесчинство. Рафаэль почувствовал, что его руку нежно пожимает женщина, готовая обвить его своими белыми, свежими руками, — то была Акилина. И, внезапно осознав, что все это уже не смутные и фантастические образы его мимолетных туманных снов, он дико вскрикнул, захлопнул дверь и ударил своего старого почтенного слугу по лицу.

— Чудовище! Ты поклялся убить меня! — воскликнул он.

Затем, весь дрожа при мысли об опасности, которой только что подвергся, он нашел в себе силы дойти до спальни, принял сильную дозу снотворного и лег.

«Что за чертовщина! — придя в себя, подумал Ионафан. — Ведь господин Бьяншон непременно велел мне развлечь его».

Было около полуночи. В этот час лицо спящего Рафаэля сияло красотой — один из капризов физиологии; белизну кожи оттенял яркий румянец, приводящий в недоумение и отчаяние медицинскую мысль. От девически нежного лба

веяло гениальностью. Жизнь цвела на его лице, спокойном, безмятежном, как у ребенка, уснувшего под крылышком матери. Он спал здоровым, крепким сном, из алых губ вылетало ровное, чистое дыхание, он улыбался, — верно, ему грезилась какая-то прекрасная жизнь. Быть может, он видел себя столетним старцем, видел своих внуков, желавших ему долгих лет жизни; быть может, снилось ему, что, сидя на простой скамье, под сенью ветвей, освещенный солнцем, он, как пророк с высоты гор, различал в блаженной дали обетованную землю!..

— Наконец-то!

Это слово, произнесенное чьим-то серебристым голосом, рассеяло туманные образы его снов. При свете лампы он увидел, что на постели сидит его Полина, но Полина, ставшая еще красивей за время разлуки и горя. Рафаэля поразила белизна ее лица, светлого, как лепестки водяной лилии, и оттененного длинными черными локонами. Слезы проложили у нее на щеках две блестящих дорожки и остановились, готовые упасть при малейшем движении. Вся в белом, с опущенной головою, такая легкая, что она почти не примяла постели, Полина была точно ангел, сошедший с небес, точно призрак, готовый исчезнуть при

первом мгновении.

— Ах, я все забыла! — воскликнула она, когда Рафаэль открыл глаза. — Я могу сказать тебе только одно: я твоя! Да, сердце мое полно любви. Ах, никогда, ангел жизни моей, ты не был так прекрасен! Глаза твои сверкают…

Но я все поняла, все! Ты искал без меня здоровья, ты меня боялся… Ну что ж…

— Беги, беги! Оставь меня! — глухо проговорил, наконец, Рафаэль. — Иди же! Если ты останешься, я умру. Ты хочешь, чтобы я умер?

— Умер? — переспросила она. — Разве ты можешь умереть без меня?

Умереть? Но ведь ты так молод! Умереть? Но ведь я люблю тебя! Умереть! — еще раз повторила она глубоким, грудным голосом и вне себя схватила его руки. — Холодные! — сказала она. — Или мне только кажется?

Рафаэль вытащил из-под подушки жалкий лоскуток шагреневой кожи, маленький, как лист барвинка, и, показывая его, воскликнул:

— Полина, прекрасный образ прекрасной моей жизни, скажем друг другу: прости!

— Прости?! — повторила она с изумлением.

— Да. Вот талисман, который исполняет мои желания и показывает, как сокращается моя

жизнь. Смотри, сколько мне остается. Взглянешь еще на меня, и я умру.

Полина подумала, что Валантен сошел с ума; она взяла талисман и поднесла поближе лампу. При мерцающем свете, падавшем на Рафаэля и на талисман, она с напряженным вниманием рассматривала и лицо своего возлюбленного и остаток волшебной кожи. Видя, как прекрасна сейчас Полина, охваченная страстной любовью и ужасом, Рафаэль не мог совладать с собою: воспоминания о ласках, о буйных радостях страсти воспрянули в его дремотной душе и разгорелись, как разгорается огонь, тлевший под пеплом в погашенном очаге.

— Полина, иди сюда!.. Полина!

Страшный крик вырвался из груди молодой женщины, глаза ее расширились, страдальчески сдвинутые брови поднялись от ужаса: в глазах Рафаэля она читала яростное желание, которым она гордилась некогда, — но, по мере того как оно возрастало, лоскуток шагреневой кожи, щекоча ей руку, все сжимался и сжимался! Опрометью бросилась Полина в соседнюю гостиную и заперла за собою дверь.

— Полина! Полина! — кричал умирающий, бросаясь за нею. — Я люблю тебя, обожаю тебя,

хочу тебя!.. Прокляну, если не откроешь! Я хочу умереть в твоих объятьях!

С необыкновенной силой — последней вспышкой жизни — он выломал дверь и увидел, что его возлюбленная, полунагая, скорчилась на диване. После тщетной попытки растерзать себе грудь Полина решила удавить себя шалью, только бы скорее умереть.

— Если я умру, он будет жив! — говорила она, силясь затянуть наброшенную на шею петлю.

Волосы у нее растрепались, плечи обнажились, платье расстегнулось, и в этой схватке со смертью, плачущая, с пылающими щеками, извиваясь в мучительном отчаянии, тысячью новых соблазнов она привела в исступление Рафаэля, опьяневшего от страсти; стремительно, как хищная птица, бросился он к ней, разорвал шаль и хотел сдавить ее в объятиях.

Умирающий искал слов, чтобы выразить желание, поглощавшее все его силы, но только сдавленный хрип вырвался у него из груди, в которой дыхание, казалось, уходило все глубже и глубже. Наконец, не в силах больше проронить ни единого звука, он укусил Полину в грудь. Напуганный долетевшими до него воплями, явился Ионафан и попытался оторвать молодую женщи-

ну от трупа, над которым она склонилась в углу.

— Что вам нужно? — сказала она. — Он мой, я его погубила, разве я этого не предсказывала!

ЭПИЛОГ

— А что же сталось с Полиной?

— Ах, с Полиной? Так слушайте. Случалось ли вам тихим зимним вечером, сидя у домашнего камелька, предаваться сладостным воспоминаниям о любви или о юности и смотреть, как огонь исчерчивает дубовое полено? Вон там на горящем дереве вырисовываются красные клеточки шахматной доски, а здесь полено отливает бархатом; на огненном фоне пробегают, играют и скачут синие огоньки. И вот является неведомый живописец, — пользуясь красками этого пламени, с непередаваемым искусством набрасывает он среди лиловых и пурпуровых огоньков женский профиль какой-то сверхъестественной красоты, неслыханной нежности — явление мгновенное, которое никогда больше не повторится; волосы этой женщины развевает ветер, а черты ее дышат дивной страстью, — огонь в огне! Она улыбается, она исчезает, вы больше ее не увидите. Прощай, цветок, расцветший в пламени! Прощай, явление незавершенное, неожиданное, возникшее слишком рано или слишком поздно для того, чтобы

стать прекрасным алмазом!

— А Полина?

— Так вы не поняли? Я начинаю снова. Посторонитесь! Посторонитесь! Вот она, венец мечтаний, женщина, быстролетная, как поцелуй, женщина, живая, как молния, и, как молния, опаляющая, существо неземное, вся — дух, вся — любовь! Она облеклась в какое-то пламенное тело, или же ради нее само пламя на мгновение одухотворилось! Черты ее такой чистоты, какая бывает только у небожителей. Не сияет ли она, как ангел? Не слышите ли вы воздушный шелест ее крыльев? Легче птицы опускается она подле вас, и грозные очи ее чаруют; ее тихое, но могучее дыхание с волшебной силой притягивает к себе ваши уста; она устремляется прочь и увлекает вас за собой, и вы не чувствуете под собою земли. Вы жаждете хоть единый раз исступленным движением руки коснуться этого белоснежного тела, жаждете смять ее золотистые волосы, поцеловать искрящиеся ее глаза. Вас опьяняет туман, вас околдовывает волшебная музыка.

Вы вздрагиваете всем телом, вы весь — желание, весь — сплошная мука. О неизреченное счастье! Вы уже прильнули к устам этой женщины, но вдруг вы пробуждаетесь от страшной

боли! Ах! Вы ударились головой об угол кровати, вы поцеловали темное красное дерево, холодную позолоту, бронзу или же медного амура.

— Ну, а Полина?

— Все еще мало? Так слушайте же. Один молодой человек, выезжая чудесным утром из Тура на пароходе «Город Анжер», держал в своей руке руку красивой женщины. И долго они любовались белой фигурой, которая нежданно возникла в тумане, над широкой гладью Луары, как детище воды и солнца или же как причуда облаков и воздуха. Легкое это создание то ундиной, то сильфидой парило в воздухе, — так слово, которого тщетно ищешь, витает где-то в памяти, но его нельзя поймать; видение блуждало между островами, оно кивало головой, прячась за ветви высоких тополей, потом женщина достигла исполинских размеров, и тогда засверкали бесчисленные складки ее платья, а быть может, то засиял ореол, очерченный солнцем вокруг ее лица; видение парило над деревушками, над холмами, и казалось, что оно не даст пароходу пройти мимо замка Юссе. Можно было подумать, что это призрак Дамы, изображенной Антуаном де ла Саль, хочет защитить свою страну от вторжения современности.

— Хорошо, я понимаю, это о Полине. А Феодора?

— О! Феодора! С нею вы еще встретитесь... Вчера она была в Итальянском театре, сегодня будет в Опере, она везде. Если угодно, она — это общество.

Париж. 1830-1831 гг.